

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 г.

№6 (665) • 2011

«ЮНОСТЬ» © С. Красаускас. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

E-mail: **unost-contact@mail. ru**
http://unost. org

На 1-й стр. обложки использована иллюстрация Т. В. Колюшевой к сказке «Царевна-лягушка»

На 4-й стр. обложки — материалы из книги об А. А. Соколове, предоставленные В. К. Корешковым

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Лев АННИНСКИЙ
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
Валерий ЗОЛОТУХИН
Елена ИСАЕВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Валерий КОЗЛОВ
Владимир КОСТРОВ
Нина КРАСНОВА
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Валентина ЛАНЦЕВА
Евгений ЛЕСИН
Георгий ПРЯХИН
Владимир РАДЧЕНКО
Ольга РЫЧКОВА
Александр СОКОЛОВ
Борис ТАРАСОВ
Елена ТАХО-ГОДИ
Олег ТОЛКАЧЕВ
Игорь ШАЙТАНОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

главный редактор,
заведующий отделом поэзии
Валерий ДУДАРЕВ
главный художник
Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ
заведующая отделом критики
Анна КОЗЛОВА
ответственный секретарь
Ярослав ЛИТВИНЕНКО
заведующий отделом культуры
Александр МАХОВ
заместитель главного редактора,
заведующий отделом прозы
Игорь МИХАЙЛОВ
главный консультант
Эмилия ПРОСКУРНИНА
заведующая отделом
духовного наследия
Марина РЫБАКИНА
заведующая отделом
публицистики
Екатерина САЖНЕВА
консультант главного редактора
Евгений САФРОНОВ
директор по развитию
Светлана ШИПИЦИНА

ПОЭЗИЯ

Лилия ГАЗИЗОВА.....	3
Артем ОСОКИН	17

ПРОЗА

Владимир ЭЙСНЕР РАССКАЗЫ.....	20
Михаил АНОХИН	
КУРНОСЫЙ АНГЕЛ РАССКАЗ.....	36
Наталья ЛАВРЕЦОВА	
ЗЕЛЕНое СОЛНЦЕ Повесть. Окончание.....	52
Ильдар АБУЗЯРОВ	
МУТАБОР Недельный роман. Окончание.....	82

20-Я КОМНАТА / ОТ ПЯТНАДЦАТИ И СТАРШЕ

Галина СТЕПАНОВА	
«XX ВЕК. ШЕСТИДЕСЯТЫЕ...» Читают ли наши дети?	9

РАЗНООБРАЗИЕ СЛОГА

Лев АННИНСКИЙ	
МАЛЬЧИК И КОЛДУНЯ (Гумилев и Ахматова)	11

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Дмитрий БОБЫШЕВ	
УВИЖУ САМ Человекотекст, книга 3. Продолжение	111

ПУТЕШЕСТВИЯ

Феликс ШВЕДОВСКИЙ	
ИНДИЙСКИЙ ДНЕВНИК Продолжение	116

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Ольга НИКИФОРОВА г. Тверь.....	121
Елена ХАНТЕР США — Россия	122
Виктор АФОНИЧЕВ г. Искитим	131

В КОНЦЕ КОНЦОВ

// ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ //	
Валерий ИЛЬИЧЕВ	
ПОХОЖДЕНИЯ «ПОДМИГИВАЮЩЕГО ПРИЗРАКА»	133

// ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ //

Надежда ГЛУШКОВА	
РАЗГОВОР ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ	
«УЛЕТНЫЕ ВЕСТИ» С НАРОДНЫМ ПОЭТОМ ПИСУГИНЫМ	140

// «До ВОСТРЕБОВАНИЯ» //

Галка ГАЛКИНА.....	143
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ СЛЫХАЛ НИ О ТУРГЕНЕВЕ,	
НИ О ТОЛСТОМ	

// VERIORA VERIS //

Шалун ГЕО, человек из-под оркестра.....	144
В ИЮНЕ ВСЕХ САЖАТЬ!	

Заведующая редакцией

Лидия ЗЯБКИНА

Заведующий отделом информации

Игорь РУТКОВСКИЙ

Специальный корреспондент

по Белгородской области

Нила ЛЫЧАК

Редактор-корректор

Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление

Елизавета ГОРЯЧЕНКОВА

Главный бухгалтер

Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа

Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей

Ирина УШАКОВА

Интернет-версия

Наталья СЫСОЕВА

Секретарь-референт

Анастасия АХРОМЕЕВА

Дежурные по редакции

Аврора КОТОВА

Людмила ЛОГАЧЕВА

Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Людмила ГУДКОВА

Администратор

Зинаида ПОТАПОВА

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправок:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: +7 (499) 250-40-60

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Авторы несут ответственность

за достоверность предоставленных

материалов. Мнения автора

и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка

на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в типографии

ФГУП «ПИК ВИНТИ»

140010, Люберцы, Московская обл.,
Октябрьский пр., 403

Тел. +7 (495) 974-69-76

Тираж 6 500 экз.

Формат: 60x84/8

Заказ №



Лилия ГАЗИЗОВА



Лилия Газизова окончила Казанский медицинский институт и Московский литературный институт им. А. М. Горького.

Работала детским врачом. Ныне — руководитель секции русской литературы и художественного перевода Союза писателей Татарстана.

Автор пяти сборников поэзии.

Стихи и проза публиковались в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Юность», «Даугава» (Рига), «Простор» (Алма-Ата), «Татарстан», «Идель», «Казань», в «Литературной газете», альманахах «Истоки», «Аргамак» и др.

Составитель ряда антологий русской и татарской поэзии Татарстана, сборников поэзии Г. Державина и Г. Тукая. Известна и как переводчик татарской поэзии на русский язык.

Член правления Союза писателей Республики Татарстан. Член Союза российских писателей.

Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан.

Лауреат Всероссийской литературной премии им. Г. Державина и всероссийского конкурса им. А. Боровика.

Поэзия — это...

Осознав, что окружающий мир дисгармоничен и не соответствует моим представлениям о нем, я начала писать стихи. Мне было двенадцать лет. Мне захотелось создать гармонию на бумаге. Правда, я еще пыталась бороться с миром и даже навязать ему свою волю, мне это не удалось, как не удавалось ни-

кому. Я проиграла. Теперь принимаю мир и его дисгармонию такими, какие они есть. В этом мой выигрыш. А поэзия стала делом и шуткой, воздухом и ядом, любовью и отчаянием, в общем, тем, посредством чего я по-прежнему хочу удивить и сделать чуть гармоничнее этот безумный мир.

Лилия Газизова

* * *

Жила-была Газизова —
Красивая, капризная.

Вся солнечная, звонкая,
Беспечная и тонкая.

Журнальная картиночка,
На броском глянце фифочка.

Ей больно не бывало —
С улыбочкой страдала.



Писала мелкие стишки,
Копила мелкие грешки.

Любила и была любима...
Но счастье проходило мимо.

Она играла — не жила,
Игра проиграна дотла...

Игра веселая была,
А может, жить начать пора?

* * *

Двойная нагрузка на сердце —
На русском писать языке.
А бабка моя по-татарски молилась,
Сжав четки в усталой руке.

Я часто с ней рядом сидела.
Земные поклоны клала.
И помню я бабкино тело
Стройное, словно стрела.

Татарские, русские мысли —
Вы, в сущности, все об одном.
Хотя никогда не сойдутся
Мой полумесяц с крестом.

Что делать, уж так получилось —
На русском пишу языке.
Но в памяти — все-таки четки,
Те, что в любимой руке.

**НА ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ГАВРИИЛУ ДЕРЖАВИНУ
3 декабря 2003 года в Лядском саду Казани**

*Памятник Г. Р. Державину был воздвигнут в Казани
в 1836 году по указу царя Николая I. Через сто лет
поэзия Державина была признана идеологически
вредной, памятник был разрушен и переплавлен на
шарикоподшипники.*

В огненную бездну окунулся,
В ней помолодев на много лет,
Памятник Державину вернулся...
На Казань взирает вновь поэт.

Так давай условимся заранее:
Чтоб о месте встречи не гадать,
Будем у Державина свиданья
В сумерках друг другу назначать.

Любоваться обликом старинным,
Вспоминать размеренным стихом...
В нашу жизнь войдет несуетливо
Памятник Державину в Лядском.

* * *

Какой старик красивый!
Морщинистый, худой,
Надменно, несчастливо
Глядит перед собой.

В него могла б влюбиться,
Но знаю я, что мы
Из разных книг страницы
На полке синей тьмы.

* * *

Листья падали, падали, падали...

Г. Иванов

Беспросветный из разряда
Серых с грустью вечеров.
За окном отрывок сада
Из нерадостных стихов.

Отвлекаясь на питание,
Нужды тела и на сон,
Мысль моя бредет в скитанье,
Взор уставив в небосклон.

В дебрях слабости и страха
Я нащупываю суть,
Чтобы в хляби полумрака
Проложить надежный путь.

Мне без усталости и спада
Надо сдергивать покров
Серой мглы в глубинах сада
Из нерадостных стихов.



* * *

Сююмбике

Люблю ошибки в словах дочери.
 Когда говорит:
 продавательница,
 а не продавщица.
 Цирковщица,
 а не циркачка.
 Люблю, когда буквы не выговаривает.
 Тоскую я:
 Отучая от ошибок,
 Отучаю от детства.

* * *

Я — татарская княжна.
 Ты — безродный еврей.
 Казанское ханство за мной.
 За тобой — пепел гетто.

Но главное не это...

Пионерами и комсомольцами
 Мы побывали.
 А коммунистами — не довелось.

Но главное — не это...

Я думаю о безвредности нашей
 И неприкаянности.
 Еще о потерянном прошлом
 И настоящем — порою бессмысленном.

Может быть, это главное...

* * *

Рыжеволосой бестией
 Красться
 Вдоль ночных кварталов Казани
 После ночи распутной
 И злой.
 Вглядываться в лица водителей
 Машин,
 Проезжающих мимо.
 На меня они смотрят с любопытством,
 Зачем и откуда бредет
 Эта усталая женщина

В час, когда
Спят и птицы.

Неприлично спать на рассвете,
Точно суслики в норках.
Нужно рыжеволосой бестией
Красться
Вдоль ночных кварталов Казани.

Можно и нужно
Много чего делать
На рассвете.
Только не спать.
Только не спать.
Только не спать.

КАЗАНСКИЕ УЛИЦЫ

1.
Я шла по улице Кирова...
Садик Кировский пересекала,
Больницу ветеринарную стороной обходила.
С тоской открывала дверь музыкальной школы.
Получала свою четверку с минусом по специальности.
Ох и недобрая была временами Полина Семеновна —
Руки мои ей не нравились,
Видите ли, слишком кисти напряжены.
Слишком сильно смычок сжимаю.
Возвращаясь, радовалась жизни
И атлантам, что шар земной держат.

2.
Я шла по улице Тукая...
Там школа была.
Она и сегодня стоит.
Сестра моя младшая в ней училась
Без троек почти.
Болела часто,
Вот родители ее и не ругали.
Я встречала ее из школы.
Правда, нечасто.
По Тукая трамваи ходили,
На остановке мороженое продавали.
Я покупала четыре,
По два себе и сестре.
Шли домой и обсуждали прохожих.
Тогда-то она задала мне вопрос:
«Ты же красивая,
Почему же не все оборачиваются?»



Не помню,
 Что я ответила.
 Приятно было.
 И тут я улыбнулась.
 Удивительно,
 Как в моем городе
 Все связано с Тукаем —
 И детство,
 И юность.
 Когда-то будет и старость.

Галина СТЕПАНОВА



«XX ВЕК. ШЕСТИДЕСЯТЫЕ...»

Читают ли наши дети?

В столице подвели итоги конкурса юных чтецов. А торжественное открытие детско-юношеского конкурса чтецов «XX век. Шестидесятые...» состоялось в Москве в Каминном зале Библиотеки искусств имени А. П. Боголюбова накануне 50-летнего юбилея полета Юрия Гагарина. Знаковое событие романтических шестидесятых годов XX века. Для участников конкурса это уже история. Некоторые из них даже родились в другом веке — самому младшему участнику конкурса едва исполнилось восемь лет.

Авторитетное жюри, в составе которого были режиссеры, актеры, педагоги по сценической речи, во главе с председателем — главным редактором журнала «Юность» Валерием Дударевым прослушало больше ста юных чтецов — учеников музыкальных школ и детских школ искусств. По условиям конкурса участники читали одно произведение отечественной поэзии второй половины XX века и второе — на выбор чтеца и педагога. Организовал и провел конкурс Методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры Департамента культуры города Москвы при содействии Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова, редакции учебно-методической литературы серии «Я вхожу в мир искусств», редакции журнала «Юность».

Поколение шестидесятников, увы, в последнее время стремительно от нас уходит. Почти год назад не стало Андрея Вознесенского, полгода назад — Беллы Ахмадулиной. Совсем недавно скончались блистательные актеры, яркие представители поколения шестидесятых — Людмила Гурченко и Михаил Козаков, великолепный мастер художественного слова, прекрасно знающий мировую прозу и поэзию. Кста-

ти, некоторые юные чтецы рискнули прочитать стихи козаковского любимого поэта — Иосифа Бродского. И что интересно: практически перед смертью Михаил Козаков вдруг вспомнил строки Есенина...

На конкурсе также звучали стихи Бориса Пастернака, Владимира Высоцкого, Николая Рубцова, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Николая Заболоцкого, Юрия Визбора, Новеллы Матвеевой и, конечно, Беллы Ахмадулиной. Младшие участники читали произведения Агнии Барто, Николая Чуковского, Самуила Маршака. Это литература, давно ставшая детской классикой.

Членам жюри пришлось нелегко! Из множества интересных и ярких выступлений нужно было выбрать десять самых достойных. Согласно положению о конкурсе его целью «является формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей на примерах лучших образцов российской поэзии второй половины XX века, а также воспитание у детей и подростков художественного вкуса и культуры речи и выявление одаренных детей». За столь строгой формулировкой — серьезная озабоченность тем, что читают современные дети, а главное — читают ли они вообще.

Как же сделать так, чтобы ребенок с детства любил хорошую литературу? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Но мы надеемся, что участники конкурса такой проблемы не знают. Они не только много читают сами, но и готовы, выйдя на сцену, ярко и артистично поделиться прочитанным с полным зрительным залом. Детская непосредственность, личностная трактовка порой очень



Алевтина Дралкина



Беата Шамшадинова

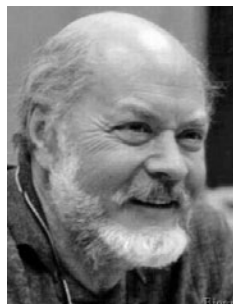
непростых произведений свойственны всем юным чтецам.

Награждение победителей проходило на сцене Московского детского театра эстрады. Кроме дипломов лауреатов награждали ценными подарками — книгами, и все без исключения дети после награждения тут же начинали с интересом их перелистывать.

В фойе этого красивого современного здания — детские фотографии известных актеров, музыкантов, поэтов, среди которых немало и шестидесятников, — это Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Микаэл Таривердиев. Может быть, среди лауреатов конкурса тоже отыщутся будущие яркие звездочки отечественной культуры. Давайте назовем наших юных победителей! Вдруг кто-то спустя годы вновь откроет журнал, прочитает свое имя и вспомнит московскую весну 2011 года...

Дипломами победителя детско-юношеского конкурса чтецов «XX век. Шестидесятые...» были награждены Глеб Шевченко (МДМШ им. Гнесиных, преподаватель Л. И. Савченко), Коля Каплин (ДШИ № 7, преподаватель А. А. Смиранин), Катя Муругова (ДШИ «Надежда», преподаватель М. В. Евсеева), Ксения Шитова (ДШИ «Надежда», преподаватель М. В. Евсеева), Ринат Гусманов (МГТК им. Л. А. Филатова), Алевтина Дралкина (ДШИ № 7, преподаватель С. Б. Шадрин), Ирина Обручкова (ДШИ «Надежда», преподаватель М. А. Кашинская), Аня Лаптева (ДШИ «Надежда», преподаватель М. В. Евсеева), Александра Бондарчук (ДМШ № 18, преподаватели С. Б. Медведев, И. Ф. Скицан), Юлия Солдатенко (ДМШ № 18, преподаватели С. Б. Медведев, И. Ф. Скицан), Алан Плиев (ДМШ им. Е. Ф. Светланова, преподаватель Т. В. Васюкова).

Лев АННИНСКИЙ



Из цикла «Эвтерпа в лапах Гименея»

МАЛЬЧИК И КОЛДУНЯ

(Гумилев и Ахматова)

Их номинальное знакомство детально описано мемуаристами и любовно расцеловано биографами, но оно ровно ни о чем не говорит: девочки-гимназисты пошли докупить елочных игрушек (Сочельник, декабрь 1903 года); встретили знакомых мальчиков-гимназистов; Аня и Коля знакомы еще не были; познакомились, разошлись.

Дело было в Царском Селе, и дел (развлечений) у гимназистов хватало.

Что смутно возникший взаимный интерес оказался упрятан от досужих глаз, легко объяснить возрастом (ей пятнадцать, ему семнадцать), если не знать позднейшего обыкновения Ахматовой «шифровать» события. Но тою же весной укрытые от глаз приятельски-случайные (неслучайные?) встречи (невстречи?) увенчались эпизодом providentialным.

Вот эта providentialная точка. Анна Горенко возвращается домой из гимназии — тайной дальней дорогой, не столько специально прячась от докучливых собеседников, сколько наслаждаясь тишиной и одиночеством. О мальчиках Гумилевых она вообще не думает, видеть их не очень хочет; их налаженный домашний быт («пирог-соленья, пышки-варенья») ей чужд. И тут неожиданно... из кустов...

Далее я цитирую описание этой сцены из лучшей, на мой взгляд, биографии Ахматовой, имеющейся на сей день¹: «Гумилев ее все-таки выследил, подкараулил в парке, выскочил из кустов, как бог из машины, оживленный, веселый, и говорил, гово-

рил... О Париже, в который поедет, как только кончит гимназию. Об Африке. О сборнике стихов, для которого уже и название придумал — “Путь конквистадоров”. А деньги на издание дает мать.

И вдруг сделался прежним — чопорным и торжественным, взял за руку, повел к *своему вечному дубу* и... сделал старорежимное, словно героине семейного романа, предложение: “Я прошу вас, Анна...”

И тут уж она заговорила. Его женой? Да как он смеет? У него и так есть все: и свой дом, и отец, и у него никогда никто не умирал! Париж? Африка? Какая Африка, когда столько горя? Стреляют, вешают, бросают бомбы... Путешествовать хорошо, если в душе — тишина, а когда взрывают, следует сидеть на месте, забиться в угол и замереть. Чтобы все забыли, что ты — есть.

Он повернулся и ушел. И не сказал ни единого слова.

Мгновение назад она ненавидела его: сопляк, начитавшийся Ницше! А сейчас ненавидела себя: черная, злая, вздорная. И если бы он обернулся...

Он не обернулся.

Что это? Чувство, вспыхнувшее под покровом стеснительности? Или свидание двух монархов, двух небожителей, двух повелителей Вселенной, не желающих смотреть друг на друга?

У Гумилева это объяснено рыцарским достоинством, снисходящим лишь к той, «чьи взоры непреклонны», — у мальчика, бредящего конквистадорами, это вполне естественно.

Но естественно ли у девочки, мгновенно разыгравшей «непреклонность»? Речь даже не о тех

¹ Марченко А. Ахматова: жизнь. — М., 2009. — С. 60–61.



Анна Ахматова-Горенко

«международных проблемах», которые нависли в 1904 году (они и столетие спустя нависают, так что гимназистка 2011 года может отшить ухажера, сославшись на то, сколько горя теперь в Африке, в Азии, в Европе, частью которой неизбежно остается Россия). Так отчитать нахального мальчика могла бы тогда любая начитанная гимназистка...

Но тут врывается в сознание неизбывный, неотвратимо нависающий над Ахматовой рок черного предчувствия. Встреча — это не встреча. Счастье — это несчастье. Жизнь — это смерть. Любовь...

Была ли любовь в этом длившемся полтора десятка лет странствии замужества? Со стороны Гумилева — да, была. Любовь мерцающая, полная ответного яда, смеха, подначек, не чуждая измен, — о любовных похождениях лихого конквистадора знал «весь свет» и охотно о них сплетничал...

А жена, выслушивавшая эти сплетни?

Жена констатировала:

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенью, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой.

Жена имела не просто связи на стороне, но еще и странное обыкновение, о котором с легким удивлением сообщает Алла Марченко, — докладывать о них мужу. На взгляд исследовательницы, Ахматова от природы была щедро наделена даром дружества, но не даром любви... в отличие от Гумилева, у которого был переизбыток именно этого дара.

Расходясь и разводясь, они сохраняли дружеские отношения, сына — воспитывали (сын — будущий великий историк — рос на два дома); и там и тут были попытки сложить новые семьи (у нее — мало-

удачные, у него — оборванные в 1921 году чекистской пулей).

За считанные дни до ареста он получил «Белую стаю» с надписью: «Моему милому другу Н. Гумилеву с любовью. А. Ахматова».

С любовью?! Конечно. С той отвердевшей любовью памяти, которая тлела, жгла, грела Ахматову после страшного 1921 года — до самой ее смерти в преклонном возрасте и в не испытанном ранее благополучии.

А в 1907 году, при начале сюжета, когда после неоднократных предложений руки и сердца (и отказов, и согласий, взятых обратно) она наконец решается на брак... Вот откровение из написанного тогда письма: «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба быть его женой...»

Он — любит. А она?

У нее это — любовь? Или судьба?

А если «непреклонность» юной дамы, от которой отвел обиженные взоры пылкий ухажер, — лишь умное желание проверить его чувства? Так ли прочны они у мальчика, примерившего железо конквистадора? Повернет ли он взоры?

Повернул!

И наткнулся вовсе не на непреклонность, чудившуюся ему из-под его рыцарского забрала, а на такую темную, такую необъяснимую, такую загадочно-лунную бездну, в которую не пробивались солнечные лучи, отлетающие от розоватых манжет его капитанов!

«Капитанов» Ахматова, кажется, только и запомнила из преподнесенной ей первой книги мальчика, из «Пути конквистадора».

Стихи, действительно, лучшие в книге.

Но отделим историю любви-нелюбви от истории стихосложения; это сделать нелегко, ибо перед нами два блестяще одаренных стихотворца, постепенно открывающие друг другу свой талант. Был момент, когда Гумилев с приятным удивлением узнал, что его Анечка пишет стихи, был период, когда он профессионально поощрял ее в этом деле, было время, когда он упорно продвигал ее тексты в журналы, где его признавали мэтром (он даже втянул ее в выстраиваемый им в противовес символизму — акмеизм).

Но бездна, которую судьба предложила им измерить в этом любовно-нелюбовном диалоге, оказалась за гранью мыслимого. Мыслимого — им, но не ею. У нее грань была не по той ватерлинии. Однажды она это почувствовала почти на ощупь. Во время очередной гумилевской экспедиции возвращение его из Африки затянулось. Поползли слухи о катастрофе. О буре, разбившей суда. И вот, как-то

листая размеченный Гумилевым том по судоходству, Ахматова наткнулась на восхитивший его портрет шхуны, сплошь покрытой железом. И подумала: вот он защищен, как та шхуна, сверху донизу, и воображает, что неуязвим, а на самом деле открыт беде. А она — вся вроде бы уязвимая, открытая, и внешность у нее «русалочья»... это если смотреть на верхнюю палубу шхуны, но подводная, невидимая часть — окована железом по-настоящему.

Гумилев чувствовал: характер его избранницы, как и полагается, оказывается зеркальным (то есть отрицательным) отражением того сокровенного самоощущения, которое у него самого прикрито железом конквистадора.

Но как было нащупать подлинный этот характер за прихотливым мельтешением масок, принятых в литературном кругу? То богомолка, то блудница (эту пару масок в свой час подложили товарищу Жданову осведомленные референты для сокрушительного доклада). Но сама смена масок — реальность? Гибкая гимнастка с лицом послушницы... Дикая приморская девочка-провинциалка, мгновенно осваивающая парижскую моду...

Но ведь не девочка ответила Всевышнему, когда Тот, испытывая ее, голосом Анрепа позвал оставить Россию навсегда. Это голос великой поэтессы, а не капризной жены.

А кто же достался Гумилеву в жены?

Какой он сам-то увидел свою избранницу?

Конечно, меж взмахами мечей Ахилла и Кухулина, среди силуэтов и пейзажей от Данта до Лаванта, в петлях Одиссеевых странствий и злодейств маркиза Карабаса, под смех краснощеких афинских парней нужно еще ухитриться различить фигуру невесты-жены, но Ахматова это разглядела сразу и впоследствии, размечая гумилевское наследие, точно отметила стихи, посвященные ей, и там, где это не было указано, не говоря уже о тех, где прямо описывалась «одна, желавшая напева или печальная жена, или обманутая дева».

Это «или» вводит героя в ситуацию нескончаемых вопросов, ответы на которые упираются в немислимость ответов, то есть в невозможность объяснить что-либо, хотя более всего мальчик происхождения хочет объяснить:

Кто объяснит нам, почему
У той жены всегда печальной
Глаза являют полутьму,
Хотя и кроют отблеск дальний?

Глаза меняют цвет то ли от внешнего освещения, то ли от внутреннего одушевления... Свет неотличим от тьмы.



Амедео Модильяни. Анна Ахматова, сидящая. 1911

Зачем высокое чело
Дрожит морщинами сомненья
И меж бровями залегло
Веков тяжелое томленье?

Высокое — тяжелое. Тяжелое — зыбкое. Мечта — загадка. Чтобы было — но чтобы не было.

И улыбаются уста
Зачем загадочно и зыбко?
И страстно требует мечта,
Чтоб этой не было улыбки?

Что заложено в этой зыбкости, в этой очарованности? Огонь? Тьма кошмарная?

И если в очах, то ли огненных, то ли черных, заложена все-таки правда, то какая?

Зачем в ней столько тихих чар?
Зачем в очах огонь пожара?
Она для нас больной кошмар,
Иль правда, горестней кошмара.

А вот еще один портрет возлюбленной, вложенный в уста героя, который пытается сохранить высоту сознания, пока оно не рухнуло в безумие:

Там, на высях сознания, — безумье и снег...
Но восторг мой прожог голубой небосклон,
Я на выси сознания направил свой бег
И увидел там деву, больную, как сон.



Т. М. Скворикова. Двойной портрет. Анна Ахматова и Николай Гумилев. 1926

Вопросы и ответы опять сплетаются в неразрешимость. Или разбрасываются в безнадежность. Солнце отступает — из полутьмы прорисовывается Лунная Дева.

Ее голос был тихим дрожаньем струны,
В ее взорах сплетались ответ и вопрос,
И я отдал кольцо этой деве Луны
За неверный оттенок разбросанных кос.

Биографически удостоверено: до пятнадцати лет Аня Горенко страдала приступами лунатизма. Этот медицинский факт мог бы объяснить кое-что в ее облике. Но объяснять — смешно и бессмысленно.

И, смеясь надо мной, презирая меня,
Мои взоры одел Люцифер в полутьму,
Люцифер подарил мне шестого коня,
И Отчаянье было название ему.

Отчаянье — это что-то невысказанное в облике юного конкистадора, прикрывшегося железом в ожидании боя.

Но именно отчаянье подступает в одном из самых сильных стихотворений первой книги Гумилева, отчаянье, сливающееся с предчувствием накатывающегося не календарного, а настоящего Двадцатого века. Век сулил торжество Разума, а накатывается — безумие.

Созидающий башню сорвется,
Будет страшен стремительный лет,
И на дне мирового колодца
Он безумье свое проклянет.

Созидатели и разрушители равно обречены в этой катастрофе; мука суждена тем и этим; Бог, о котором бредит Русь, оставит всех пребывать в бреду.

Разрушающий будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит,
И, Всевидящим Богом оставлен,
Он о муке своей возопит.

А уйдя от этого бреда в пустыню, в глухие дебри,
в тихие пещеры — можно ли спастись?

А ушедший в ночные пещеры
Или к заводам тихой реки
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас зрачки.

Найдена личина ужаса! Кошка! Огромная, свирепая, черная. Не приручить... А если приручить — в комнатном, домашнем варианте? Все равно: будет гулять сама по себе, излучая и пряча загадочное знание-незнание. А вокруг будут сыпаться обломки.

Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право —
Самому выбирать свою смерть.

Стихи эти обрели второе дыхание, когда Александр Солженицын процитировал их в своем запретном романе — там они прозвенели как набат, как погребальный реквием, как удар железа в битве. Но у Гумилева — страшнее. Не звоном доспехов озвучивается кровавая доля, а хлюпающей хлябью неведомых зарослей, где бродят кошки. И еще страшнее: этот вариант гибели то ли предreshен, то ли нет. Выберешь сам!

И звучит, наконец, в финале самоубийственного предчувствия роковое слово «выбор».

Выбор гибели. Слово, найденное Лунной Девой, будет подхвачено ею же — в посмертном прощании с «глупым мальчиком» — через сорок лет после его гибели.

А тогда?

«Знаешь, на кого ты сейчас похожа? На дикую, затравленную, помоечную кошку».

Сказано в сердцах (когда обнаружилась в бумагах Анечки записка от Модильяни). Сказано грубо. Но, как ни странно, не обидело (она вообще на дружеские клички редко обижалась, и только «хохлушечка» приводила ее в ярость). А остальное — пожалуйста.

«Змея» ползает там же, где гуляет «кошка». С полным правом. Недаром же стихотворение «Любовь», открывшее первый после ждановского запрета одномомник («сурковский», в большой «Библиотеке поэта»), начинается строчкой о «змейке», что «свернувшись клубком у самого сердца, колдует».

Не перекликается ли эта «змейка» с обликом «мальчика», описанного мемуаристками так: «бледный, мрачное лицо, шепелявый говор», в руках — «голубая змейка из голубого бисера»? Поэзия мыслит мотивами, «змеиное» в ней запросто переплетается с «кошачьим». И у него, и у нее.

«Раз у дикой затравленной кошки я такие заметил глаза...» «И мне кажется, вдруг замячишь, изгибаясь на грязном полу...»

Эти черточки добываются из повременных стихов, не выходящих на авансцену поэзии из семейных закоулков, но один раз Гумилев все-таки вывел фигуру Ахматовой на авансцену своей лирики, найдя ей, наконец, самое емкое определение: колдунья!

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал — забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, — и хочет топиться.

Что потрясает в этом портрете: смертный ответ. Может, от колдуньи-то и заразился мальчик готовностью к гибели? Да такую ли гибель искал?

Но было — запредельное, черное, ведовское знание, которое она прятала на дне своих неуловимых глаз. Это было предчувствие беды, заклинание беды. Гасившееся иногда черным юмором. Даже в последней их встрече (а кто знал, что последняя?). Девятого июля 1921 года, когда Гумилев навестил ее во втором этаже на Сергиевской и, уходя, стал спускаться по крутой темной винтовой лестнице, Ахматова проводила его словами:

— По такой лестнице только на казнь и идти...

О казни она узнала из газеты, расклеенной в вокзале на широкой, в два обхвата, тумбе, стоя среди толпы...

Дальше оставалось — запоминать сны, в которых он являлся ей... и записывать, шлифуя подробности, сдвигая и затемняя даты, сдваивая силуэты, — чтоб со стороны не дознались, о ком, и чтобы душой не сломаться.

О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу,
И каждому завидую, кто плачет,



Николай Гумилев, Лев Гумилев, Анна Ахматова

Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

Написано в 1938 году, конкретно — о Пильняке. Но и о том общем «дне оврага», где только змея могла спрятаться, откуда только кошка — выкарабкаться и где только колдунья — свести смертные концы... и где все это, так или иначе, о Гумилеве.

В его стихах Смерть — изначально. Естественна. И даже радостна. В радостном полете Любовь и Смерть неразделимы. Если кровь — то она будет смыта. Если секира палача — то секире улыбнуться. Да как! Лениво. Словно исполняя давно затверженный обет. Настоящая Жизнь — это игра со Смертью. Как в кости. Выигрываешь не Жизнь — выигрываешь лучшую Смерть. Ясную и простую, единственно достойную «под пулями в рвах спокойных» (покуривая и не пряча папироски? — хочется переспросить).

По ходу исторических событий Смерть лишается конкистадорских доспехов, и смертельную пулю мальчику отливает пожилой рабочий, не знающий, кого она убьет. Но колокол звонит, не умолкая, и глаза вперяются в окрестный мрак, ища «давно знакомые виденья» и не узнавая их... или узнавая — с легкой грустью:

Когда же Смерть, грустя немного,
Скользя по роковой меже,
Войдет и станет у порога,
Мы скажем Смерти: «Как, уже?»

Срок, который он сам себе наметил, — сорок четыре года. Если отсчитать от дня рождения в 1896 году — это, наверное, 1939-й. Нельзя не отдать должное интуитивной проницательности мальчика — это роковой год истории. Не истории Руси — к нам гибель подступила в 1941-м, — а в истории Европы, то есть тогдашнего «цивилизованного мира». Мюнхенские иллюзии испарились — Гитлер разорвал старую карту мира. Именно тогда оборвала свой диалог с Историей Марина Цветаева. И именно тогда, видя лоскуты карты 1939 года, Ахматова вспомнила лоскуты карты 1914-го: «Окопы, окопы — заблудишься тут! От старой Европы остался лоскут».

Время настоящего реквиема наступает не в 1921 году, когда миф о Таганцевском заговоре одевается в железо и исполнители гадают, какого лешего вставший под расстрел отличный мужик связался с конторой, — финальное прощание как раз и происходит на излете 30-х годов¹.

Тогда-то и наступает последнее поэтическое прощанье, и в «Поэме без героя» герой переступает рубежи Войны Империалистической и встает на порог своего мистически предсказанного рокового возраста: вроде бы речь о Князеве, но просвечивает Гумилев:

...Он увидел — рухнули зданья,
И в ответ обрывок рыданья:
«Ты Голубка, солнце, сестра!
Я оставлю тебя живою,
Но ты будешь моей вдовою,
А теперь...
Прощаться пора!..»

И дальше — несколько строк, гениальных в своей простоте и загадочных в своей ясности:

Сколько гибелей шло к поэту,
Глупый мальчик: он выбрал эту,
Первых он не стерпел обид,
Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид...

Неужели простодушного читателя смутит эпитет «глупый»? В устах верной жены или неверной невесты он впрямь может показаться обидным. Но в устах доброй защитницы, мудрой пифии, любящей колдуньи он дышит нежностью и тревогой.

Гибель неизбежна. Та или эта...

Так та? Или эта?

История дала возможность выбора. Кажется, что мальчик выбирал наудачу. Выбрал *эту* — и погиб. А если бы выбрал — *ту*?

Какую — «ту»? «Сколько гибелей шло к поэту...»

До самой смерти своей Анна Андреевна мысленно взвешивала другие варианты. А что, если бы дипломатические поручения задержали Гумилева в 1917 году во Франции или в Англии и он не вернулся бы в Советскую Россию, куда так рвался — не в Советскую Россию, понятно, а в Россию, «бредившую Богом»? А что, если вдвоем с ней они оказались бы на Западе и разделили бы судьбу всех тогдашних эмигрантов?

Уцелеть в Большой войне у такого конквистадора, как Гумилев, шансов не было.

Но поэтом он бы наверняка оставался до последнего вздоха. Поэтом великих творческих возможностей, которые реализовались бы именно в те двадцать лет, которые выкрали у него таганцевские исполнители. Он был создан природой как великий поэт и высказался бы в полную силу, оставь ему судьба запрошенные им еще двадцать лет.

Под каким знаменем?

Под любым — русским. И чем драматичнее был бы выбор знамени, тем ярче, отчаяннее был бы взлет великой поэзии.

Знамя пронесли — другие великие поэты. В советское время они не решались еще произносить открыто имя своего учителя, своего мэтра, или, как он сам любил себя называть, — своего синдика.

В новом веке — перестроились, переименовались, сменили идеологические пароли, сменили флаг — и имя вернулось в общенародное сознание.

Колдунья покинула сей мир в полном сознании исполненного предназначенья.

Мальчик занял достойное место среди великих поэтов Руси и мира, в котором Русь продолжает бредить Богом и ловить следы ангельских крыльев сквозь дым незабываемых и неотвратимых сражений.

¹ Впрочем, и 1921 год оказывается выбран не вслепую (как мне сначала казалось); Алла Марченко убедила меня, что немалочисленные поездки Гумилева по российским городам в советское время вряд ли были предприняты на скудные его средства, — на какие же средства он ездил? На «таганцевские»? И с какой целью? С течением времени этот вопрос теряет остроту, ибо острие уходит в канун Второй мировой войны, когда гибель уж точно была неизбежна, и «вид дороги» не показался бы таким уж «глупым».



Артем ОСОКИН



Я родился в 1993 году в селе Северское Коломенского района, однако почти всю свою сознательную жизнь провел в Москве. В годы моего детства моим родителям приходилось часто переезжать, и до третьего класса я был вынужден каждый год менять школу. В конце концов нам удалось на некоторое время усмирить череду этих сумбурных переездов. С третьего класса я начал учиться в московской школе № 1738, и в одиннадцать лет мне и одноклассникам выпало счастье стать учениками Ирины Викторовны Подколзиной. Эта учительница, будучи нашей классной руководительницей, привила многим из нас любовь и уважение к русской литературе, непринужденно и по-дружески расставляя по полочкам невыразимое и непостижимое. Стихи я начал писать в четырнадцать лет. Достойные стали рождаться в последние два года, и я очень благодарен своим родителям, девушке, друзьям и всем, кто в меня верит, за вдохновение и поддержку. Среди любимых поэтов и писателей хочу выделить польского фантаста Анджея Сапковского и таких гениев русской литературы, как Александр Пушкин, Сергей Есенин, Леонид Андреев, Игорь Северянин, Николай Гумилев и Борис Пастернак.

К сожалению, среди моих знакомых крайне мало тех, для кого поэзия означает нечто большее, чем вынужденная часть школьной программы. Иной

раз я задумываюсь, а нужно ли кому-нибудь то, что я делаю? Не пытаюсь ли я навязать людям то, без чего они прекрасно обходятся?

Вопреки всему этому я понимаю, что мой труд не безнадежен. Он нужен прежде всего мне самому. Удивительно всякий раз наблюдать, как из отдельных образов, связанных единым впечатлением, возникает нечто целостное и бьющее по чувствам. Сформировавшееся где-то в глубине нашего разума стихотворение подобно заблудившемуся среди штормовых волн кораблю. Стихия не щадит его, и вполне возможно, что море бросит на мель лишь деревянный скелет. Точно так же добывается стихотворение из вдохновенного сердца на листок бумаги. Сможем ли мы восстановить стих, вернуть ему тот вид, в каком он путешествовал в нашем подсознании, или же свету явится что-то совершенно новое, неожиданное, еще более притягательное? Все зависит от того, хватит ли у нас терпения и умения подобрать нужные слова, залатать бреши, спилить и отшлифовать все неровности, приладить к каркасу Красоту и Ясность, чтобы впредь нашему творению не был страшен никакой шторм. Всякий раз, когда инструменты стихосложения даются моим рукам, я понимаю, какими бессмысленными становятся мои вопросы и какой неполной стала бы жизнь без вдохновения.

Артем Осокин

Другу

Резвясь ягнятами, в пороках не горевшими,
Среди пиров, где нас не ждали и не ждут,
Мы примеряли на себя личины грешников —
Велик был страх, что нас, беззлых, не поймут...



Мы жрали пададь из корытца золоченого,
Зубами лязгали на самых дорогих
И, безотчетно в чьи-то сети вовлеченные,
Гасили искорки намерений благих.

Мой милый друг, мы бесконечно молоды!
Мы просто брошены на чей-то произвол:
В моих ушах звучат расчетливые доводы
Колосья юности отправить на помол.

Таков исход: пусть стали мы жестокими,
Нас не возвысят ни злословие, ни лесть...
И будем дальше лишь ягнятами безрогими,
Хоть волчьи шкуры вьелись в ласковую шерсть.

Малиновая молодость

Едва лишь трепетными ласками
Коснется солнышко мансард,
Рассвет малиновыми красками
Покроет утренний штандарт.

Он понесет его над городом,
От детской робости дрожа,
А после, гордостью расколотый,
Запляшет искрой в витражах.

Он снов ночных прервет течение,
Плотиной ляжет на их бег,
Лишит волшебный бред значения,
А наше тело — сонных нег.

Беспечной и незрячей юностью
Играя в пальцах озорных,
Он восхищает милой глупостью
Скупую серость мостовых.

Он поднимается над крышами
Воздушной тропкой хрусталя,
Светясь рубиновыми вишнями
В своем наряде короля.

Теряя ветреную молодость,
Он заменяет крови цвет
На скучный блеск немного золота
В фальшивой стати эполет.

Рассвет, прекрасный пробуждением!
Очарованья не теряй!
И свое нежное цветение
На злое пламя не меняй!

Не отдавай огню грядущего
Той опрометчивой отваги,
Храня от старости удушливой
Волшебной молодости стяги!

ЭТА СКАЗКА СЛУЧИТСЯ СО МНОЮ

Эта сказка случится со мною.
Мне расскажет сгорающий день,
Как звенящей вечерней порою
Обвенчаются пекло и тень.

Позовет меня август крылатый
Пить, не морщась, забористый зной,
А прозрачные ленты заката
Будут резать воздушный прибой.

Блики солнца задорно и бойко
Заскользят между бархатных пней,
И лоскутья лучистого шелка
Загорятся в пуху тополей.

Плавно ляжет в зеленые лапы
Розоватых небес полотно...
Будет сложно под ним не заплакать,
Так светло и прекрасно оно!

Не ищи волшебства в безразличном
И безумно далеком раю.
Чудо дремлет под небом привычным.
Там услышишь ты сказку мою.



Владимир Эйснер родился в 1947 году. В 1966 году окончил немецкое отделение Иссиль-Кульского педучилища Омской области, в 1976 году — испанский факультет Пятигорского пединститута.

Работал учителем, грузчиком, монтажником, метеорологом на мысе Челюскин, охотником-промысловиком на о. Диксон, сопровождал иностранные экспедиции на Северный полюс. Пятикратный участник (как переводчик и проводник) интернациональной экспедиции Mammutus на Таймыре и Новосибирских островах.

Печатался в журналах «Северное сияние», «Северные просторы», «Сибирский промысел», «Дальний Восток», «День и ночь», «Сибирские огни», «Литературная учеба», «Дон», «Южная звезда», «Дом Ростовых», «Луч», «Российский колокол», «Палеомир», «Сила притяжения», «Аманат», «Крещатик», «Подвиг», «XXI век», *Edita Gelsen, Literaturblätter der Deutschen aus Russland, Worber man sich lustig macht, Florida* и др. Член Литературного общества немцев из России (*Lieteratublaetter der Deutschen aus Russland*).

Автор книг: *Links vom Polarstern* (Германия, 2008), «Макарова Рассоха» (Германия, 2009).

Лауреат премий им. Ю. С. Рытхэу, им. А. П. Чехова.

Прозаик. Пишет на русском и немецком языках.

Живет в Германии.

РАССКАЗЫ

ОБОРОТЕНЬ

1.

На острове Диксон до самого «ельцинского порушения» многие охотники-промысловики ездили на собаках.

Как ни зайдешь к деду Бугаеву — тепло да уютно. Лампа на столе, чайник на печи, собака у ног. И всегда дело в руках, а в тот раз, смотрю, — упряжь собачью починяет.

— Дайть-кошь помогу, Маркел Мелентьич.

— А сможешь?

— Да что там хитрого — алыки¹ сшить!

— Ну, тама в сенцах ремни всяки разны висят, неси-кошь.

Я взял фонарь, принес ремни. Перебираю, какой пошире-крепче. И глянулся мне один. Не лахтакчий², а настоящий, бычьей кожи.

Спереди, на ладонь от пряжки, кольцо вшито косяное грубой работы, к нему ремешок нерпичий³ привязан. К ремешку опять же косяной крючок, и тоже грубо опилен, только сам сгиб внутри гладкий-прегладкий, будто его наждачной шкуркой-нулевой вылизали.

— Зачем, — говорю деду, — крючок-то?

— Тот пояс не трог. Память он с давешних лет. Другой бери.

Ну я давай про давешние годы спрашивать, а дед:

— Расскажу, коль сам догадашь, зачем крючок на ремне.

Уж я по-всякому гадал — не вышло. Дед и говорит:

— Эта — штоб арбалет натягивать!

— Арбалет? В наше время? Я и в руках не держал!

¹ Алык — шлея собачьей упряжки.

² Лахтак, или морской заяц, — крупный, весом до 300 кг, тюлень.

³ Нерпа — небольшой, живущий в прибрежных бухтах, тюлень.

— А я нерпей им стрелял мальчишком тринадцати лет. Тугой был: спроста не натянешь. Приходилось его в землю упереть, ногами на лук встать, когтем этим тетиву зацепить и так спиной-ногами тянуть, пока тетива на защелку западет. А рукам — не в силу.

— А где тот арбалет сейчас?

— Стырил ктой-сь бессовестной ще давно.

— Туристы?

— Туристы!.. Тогда и слова такого не знали... Нет, ктой-то с наших. Искпедиции всяки были, народ разной. Ины жулики — страмота!

— А давно это было?

— Што давно-то, как украли?

— Нет, как вам пояс этот в руки попал.

— Давно, Максимко. Году в тридцать четвертом ли, пятом, сразу после, как Кирова убили... Почин тогда был от правительства: «Даешь пушнину, морзверя, рыбу! Заселим Артику и переселим!» Везде крупно пропечатано. Оно ж после «Челюскина»-парохода народ толпами на севера кинулся. Давай по всем островам промысловы точки строить. Через каждые, почитай, тридцать-сорок верст — зимовье. Штоб, значит, если нужда застигнет, сосед рядом.

Набирали-вербовали народ, и люди ходко ишли. Так и отец мой с матушкой, с братом, да мне четырнадцатой год, в Артику попали. Лето здесь коротко. А навигация и вовсе. Где месяц, где меньше.

Тогда так делали: избы в Архангельске рубили, потом разбирали — на пароход, и здесь ставили всей командой. И быстро — за неделю. Так в одно лето несколько промысловых точек открывали. И мы так наше зимовье. Да пристройку, баню, катух собачий.

Стали участок обиходить да путики¹ на песца в тундру тянуть. Били моржа, лахтака, нерпу. Ворвань² в бочки закатывали. На «босого»³ отдельной план был. Для себя оленя били, мясо совсем другое. «Босого» ли, нерпу как ни готовь — все ворвань, все рыбой пахнет. Варишь шти — оно уха! Я мальчишком то и в рот взять не мог, уж потом привык...

2.

Дед Маркел вздохнул и продолжил:

— Было то в начале ноября. Длинна ночь⁴ тока началась. Солнца, сам знашь, уже нету, а рассвету — часов пять, хватат по ближнему путику прой-

ти. В тот день ще тихо было, да луна на всю. Идем вдвоем с братом старшим шестериком-упряжкой. Открывам капканы-пасти. Ввеселе, в охотку, рады: тятя похвалит!

Возвртаемся довольные. Собаки наддали. А тут, гля, у самого порога сбились в кучу, скулят и хвосты жмут. Что т-такое?

Когда гляжу — Господи Сусе Христе! Волк агро-мадный у стены и в окошко заглядат! А там маманя белей снега. Ну, брат — карабин. А палец придержал: у волка колесо на спине!

Тут собаки накинудись. Враз алыки спутали. Кто на волке висит, кто на друг друге — куча мала! А зверь в угол жметя. В лапе палка навроде пики, а на спине уже не колесо — половинка. У меня — мураши по телу.

И что делат? Вожака да второго у нас на глазах кончил.

Остатни псы отскочили. Лают, заходятся, аж звон в ушах. Смотрю — приподнялся, прыгнуть вроде. Шас остатних собак переколет!

Тут я, должно, заорал. Распрямылся под луной. Не зверь. И не человек. Не лицо вообще. Оборотень! Я пуще ору, а брат нажал навскидку...

Не сразу и опомнились, уж когда маманя фортку открыла:

— Савва, Савва, не стреляй — человек!

Ну уж поздно: упал... Подошли мы. И она с фонарем. Посветили.

У меня колени подогнулись. Никак убил!

Левая половина лица — человек, правая — нет. Все кривь-кось изорвано, сине да бугристо, вместо глаза — яма. Жуть! И не колесо на спине, а лук, на доску приделанный. Арбалет!

Может, думаю, не убил братан, ведь не целил. Давай мы его в дом перетаскивать. Рослый, крупный мущина. Весь зарос буйным волосом и весь седой. Уложили на пол у печи.

Одежа на ем — шкурье. Шуба волчья. Нахлобучка на голову с волчиной же головы пошита. Хрящ с ушей не вынут, засохли, торчат, как всамделишны. Сдала — ну волк и волк... На ногах бахилы⁵ со шкуры «босого».

Мы давай мужика раздевать да сердце слушать. А чуть слышно его. Пуля — посередь грудя...

Два фонаря поставили. Давай его мыть-перевязывать. Спрашивать, кто такой, откуда? А он дышит тяжко. Кровь с половиц матушка тряпкой собират... У нас слезы сами текут. Видать, в беде человек. Видать, давно.

Длинна ночь, мороз да зверь. К людям вышел — а тут пуля!

¹ Путик — охотничья тропа, вдоль которой стоят капканы.

² Ворвань — жир морских животных. Обладает сильным специфическим запахом.

³ «Босой» — здесь: белый медведь.

⁴ «Длинна» ночь — полярная ночь.

⁵ Бахилы — меховые сапоги без каблука.



©Дудякова Анна, 2011г.

— Прости, мил человек, — Савва ему кричит, — прости за ради Бога! Нечаянно я, прости. Не умирай, не умирай — живи!

Он смотрит одним глазом, и в глазу том, не поверишь, радось!

— Кто такой, — кричу ему, — кто такой, откуда, говори!

А у него тока кадык ходит. А потом руку на ранку — и пальцем на печи написал...

Дед Маркел обмакнул корявый палец в кружку с остывшим чаем и вывел на столе мокрым: NORCE.

Помедлил чуток и приделал к предпоследней букве крючок-уголок. Получилось: NORGE.

— Да, вот так, по буковке.

Красным по белому.

И все. Глаз закрыл, дышать — тише, к утру отошел...

Мы с братом чуть не рехнулись тама: такой грех на душу!

3.

В другой день отец подъехал с длинного путику. У нас-то язык не ворочается, матушка рассказала.

«Ладно, — ей говорит, — грей воду, обмыть-хоронить», — на нас и не смотрит...

Как стали мужика раздевать — за гленищем у него нож настоящий, кованой. А человеческой одежи и ниточки нету. Сподники — и те с пыжи-

ка¹. Когда раздели навсю — не тока лицо, вся грудь покарябана и вместо правой ступни — культия багрова.

А лицо, как «босой» ударил, глаз выбил да кожу сорвал, видать, сам шил. Все кривь-кось заросло, смотреть страшно. А скока лет — не угадать, седой весь, белый... И тощей: кожа-кости.

Но мастеровой: под ступню у него протез самодельной. В правом бахиле по бокам досточки вшиты и подошва крепка, чтоб без костылей, значит.

Где хоронить? Тут, на бережку, скала да галька. В мороз не взять.

Отвезли подале в тундру на песчано место. Костер запалили.

Отогрем, раскидам головни, талое выберем — и по новой. Там и положили. Тятя «Отче наш» прочел — и засыпали мерзлым, да бревен сверху навалили от зверя.

Мы, все четверо, грамотны. Я дак вовсе три класса кончил, пока старшим в подмогу пошел. Ясно — не наши буквы на печи писаны. А что это: корабль, имя ли, фамилие — уже не спросишь.

Начальству заявить — раций не было. На собаках двести да полсотни верст до поселку. И стока ж обратно. Да в длинну трехмесячну ночь семью бросить?

Остался тятя. Нам молчать велел. Мертвого не подымешь, а люди разнесут, как сороки; объясняй потом товарищам: нечаянно, мол.

¹ Пыжик — новорожденный олененок.

И Савве крепко наказал: «В голову не бери и дурного не задумывай: мать погубишь. Бог правду видит, а мы молиться будем за душу невинную».

Я же думал: «Как молиться, когда он без креста на шее? Может, и не крещеной навсе?» Ни даже у него кольца на пальце или серьги в ушах, как бывают у моряков.

Ну — делали, как отец велел. Да все поначалу втихаря за Саввой приглядывали, не сотворил бы чего над собой.

Работы в ту зиму было неупротор: песец шел — мы не успевали снимать, матушка — шкурки мездрить. И «босого» за двадцать взяли, а ты и одну-то шкуру выскобли — руки отпадут. Да дрова пилить — каждодневна каторга. Тут не до глупостей. Вечером чуть живы на лежанки падали, с утра — по новой вперед.

А в лето, как мерзлоту отпустило, поехали мы с отцом на могилку, все в аккурат заровняли и дерен-мох настелили — тундра.

4.

Про торбу-то я тебе ще не сказал. При ем была на поясе.

В мешочке том чуть мяса сушеного оленьего и нерпячьего да в чехле берестяном две иглы. Костяна и железна. А железна из проволоки без ушка, просто загнут конец нитяной. Ще нож из обруча, как море, бывает, бочку выкатит... Мякко железо, негодно, об камень точено. Тока жир с нерпы срезать да шкуры скоблить.

И стрел несколько. Тяжелы и легки стрелы. Арбалет же хитро сработан: три досточки лиственничны друг на дружку наложены, жилкой прошиты, а зацепа для тетивы передвижна. На малу натяжку и на большу.

Тогда и поняли, зачем тот крючок на ремне.

На малую — руками можно натянуть, еслив ногами на лук стать. А чуть зацепу к себе передвинешь — тока крючком поясным. И крепко бьет: на двадцать шагов доску прошибат. От удара и наконечник ко-стяной, и стрела — вдребезги!

Я с того малого натягу наловчился утей да нерпей бить — наши диву давались. Летом ведь тонет нерпа, еслив с карабина. Наскрозь голову шьет. Кровь — дугой, и булькотит на дно... А с арбалету, вишь ты, нет. Стрела в ране застрелит, крови мало, успеваешь подгрести, на гарпун задеть.

Ще с ружья-то шум. Раз стрельнул, всех распугал. А с арбалету — тихо. Я в то лето не меньше взял, как отец с братом.

На равных стал им связчик-зверобой¹. Гордой был: они мне стрелы готовили. Самы ловки тятя делал. Точно ишли, не ломались, по стока-ту раз одну пушал.

А в другой год возможность стала на Моржовую переехать. Тут до поселка, до почты, до радио тока сорок верст. В один ход собакам. Зажили мы как люди, а потом война...

Дед Маркел воткнул шило в столешницу и спросил тихо:

— Ты ведь грамотной, что такое NORGE, не знаешь?

— Знаю. — Мне стало не по себе от пристального взгляда старика.

— И што жа?

— Так свою родину называют... норвежцы.

5.

Снежно-белая глыба дедовой головы качнулась над столом:

— Пора, паря, чай пить!

За чаем разговор пошел о другом. Когда собрался я уходить, Маркел Мелентьич поднялся тоже:

— Пойдем-кося, покажу чего.

Мы поднялись на горку за домом, оттуда поселок как на ладони, видно сбегающие в бухту огни, да крупно мигает маяк.

— Вишь Большого Никифора? — Дед указал на памятник Бегичеву², ярко освещенный прожекторами.

— В двадцать втором годе Бегич тут, на бережку, скелет нашел. Видать, недавней: ще волосы на голове целы. Километра три до поселку не дошел человек.

А уже известно было, что в девятнадцатом годе два норвега с Челюскина ишли, да пропали. Собрал Бегич людей, стали искать кругом. И нашли мешок с поштой да лыжи на речке Зелеевой, это верст семьдесят отсюда.

¹ Связчик — напарник.

² Бегичев Никифор Алексеевич (1874–1927) — русский моряк, полярный путешественник.

В 1900–1902 гг. участвовал в полярной экспедиции барона Э. В. Толля. В 1903–1904 гг. вместе с лейтенантом А. В. Колчаком, будущим «верховным правителем» России, искал пропавшего Э. В. Толля и его товарищей. В 1922–1923 г. участвовал в поиске пропавших норвежцев, Тессема и Кнудсена, участников экспедиции Р. Амундсена на корабле «Мод» (Maud). Занимался пушным промыслом и много ездил по Таймыру. В 1908 г. открыл два острова в Хатангском заливе, названных его именем. В 1927 г. умер от цинги на мысе Входной в устье реки Пясины. В поселке Диксон в 1964 г. установлен памятник Н. А. Бегичеву. Никифор Алексеевич, мужчина рослый и сильный, был известен на Таймыре под прозвищем «Большой Никифор» или «Улахан Анцыфор», как называли его кочевники тундры: долганы, эвенки и ненцы.



Прописали в газетах: главный ихней экспедиции, Амунсен ему фамилие, двоих с мыса Челюскина отправил на собаках в середине октября. Пошту везли, да и метео-радиво уж тут с пятнадцатого году стояло.

А пути тока по карте восемьсот верст. Всамделе на собаках-то ще сто накинъ. Ну, один пропал, второй не дошел. По догадке Бегича — уж огни увидал, заспешил, подскользнулся и — затылком об камень... Не судьба...

Норвега этого тут и похоронили на берегу, где нашли, и камень большой поставили, имя написали. Видал, небось?

— Знаю, как же. «ТЕССЕМ» — написано на памятнике.

— Во-во... А второго искать правительство ихнее ще тогда Бегича снарядило. Долго искал. Вдоль всего нашего берегу, устье Пясины обошел и острова дальни. Ну, не нашел — Артика...

— А может, Маркел Мелентьич, ТОТ и был второй-то?

— Я, как узнал ту историю, тоже так думал, а потом — все же нет. Пятнадцать ли, семнадцать годов с той экспедиции прошло. Да ты одну зиму проживи без топора, без избы, без ружья! Да что зиму! Скока раз бывало: провалился, не обсушился — к утру заляк.... Не можно так долго одному по северам, тут чтой-сь другое...

— Но ведь факт...

— Да. И как заноза с те поры... Одежа волчья, а волк — зверь сторожкой, возьми-ка... Мясо в ме-

шочке двух родов, сподники с пыжику. Олень на острова редко заходит, знатко гдес на материковой части приткнулси. По всему видать, двое их было, трое. Одному не выжить. Без ноги избы не поставишь, а без печи пропадешь.

— Слышал я, что в революцию и в двадцатые годы норвежцы тут браконьерили.

— И мне тогдашни промышленны люди сказывали: шкуну видели в белое крашену. Как привидение, гряд, ишла и как привидение пропала. А норвеги — народ лихой, сдавна зверобой, морозом-ветром не взять, тока людей они не бросают...

6.

Прошло с полгода. Контора нашего рыбзавода переезжала в новое здание, и мы помогали перевозить причиндалы, мебели да архив. Стал я перебирать старые папки.

Раньше, оказывается, не было рыбзавода, а была ПОС — пушно-охотничья станция. Записи — с августа 1928 года.

И вот в папке за 35-й год нашел я семью Бугаевых. Мелентий Спиридонович, Аграфена Васильевна. В папке за 38-й год прибавляется Маркел Мелентьич Бугаев. Раньше шестнадцати лет не заводили на работников трудовые книжки, справки давали.

Никакого Саввы Мелентьича нету в списках-приказах ПОС. Думается, «брата Саввы» и не было никогда.

ТУМБАЛАЛАЙКА

1. «...Покажи парубку чего»

В двадцатых числах декабря, в самую глухую поллярную ночь, мое зимовье осиял луч с неба: знакомые пилоты «тормознули» у избушки.

Со свистом и грохотом вертолет завис в полуметре от земли, рывком открылась дверь, и механик махнул рукой:

— Давай!

Я передал ему карабин и рюкзак с пушниной, запрыгнул сам и втащил испуганного пса.

В поселке сразу же побежал на склад сдавать пушнину.

— Показывай!

Оценщица, Людмила Сахно, не отличалась многословием. Она осмотрела лишь верхние шкурки и брезгливо поморщилась:

— Остальные такие же?

— Да.

— Неправильно обработано! Можешь сдать, но я тридцать процентов срежу на доводку. Надо оно тебе?

Мне оно было не надо.

— Тогда вот что...

Она черкнула пару строк в блокноте и вырвала листок:

— На теплом складе найдешь Розу Соломоновну Грушевскую. Она покажет, как по ГОСТу сделать. Будешь готов — приноси, выпишу государственную квитанцию.

Записка была краткой и выразительной: «Роза покажи парубку чего».

2. Сапожник и пастух

Заинтригованный, пошел я на теплый (отапливаемый) склад. Нечасто встретишь женщину с таким редким именем и отчеством. Грушевскую я никогда не видел, знал лишь по слухам, что первого мужа она убила, за что немалый срок «оттянула», а второй, с которым много лет прожила, года три как пропал в тундре полярной ночью.

«Теплый склад» оказался длинным холодным помещением с инеем на потолке. Я пристегнул поводок собачьего ошейника к едва живой батарее отопления («Ждать, Таймыр!») и открыл дверь первой от входа комнаты. Там сидели несколько женщин с повязками на лицах. Перед каждой стояла на широкой электроплитке железная оцинкованная ванна с отрубями. В помещении висел густой запах горячей пшеницы и бензина. Женщины руками в толстых перчатках натирали песцовые шкурки горячими отрубями, старательно удаляя с них кровь и грязь, а зажиренные места чистили бензином.

— Здравствуйте! Где можно видеть Розу Соломоновну?

Ближайшая закутанная фигура указала претолстым пальцем на внутреннюю дверь.

В следующем помещении висели под потолком песцовые тушки, как стреляные, так и с перебитыми капканами лапками, — оттаивали. Местами кровь на тушках засохла, местами нет, и капала на пол. Безрадостное зрелище.

У широкого столика с сильной лампой на нем сидела женщина с высоко подколотыми черными волосами и снимала с песца шкурку.

Снимала через рот. Правая рука ее, оголенная до плеча, ловко двигалась внутри песцовой «шубы», левая придерживала тушку за шею. «Голая», блестящая от жира и крови голова песца скалила зубы, как «Веселый Роджер» на пиратском флаге. Ах, если бы эту картину видели одетые в меха модницы из глянцевого журналов!

Я снимал шкурки с добытых песцов с огузка и такому способу очень удивился. Поставил карабин в угол и подошел.

— Вы Роза Соломоновна? Вам записка.

— Подожди чудок, я щас.

Пока Роза Соломоновна медленно, как малограмотная, читала записку, я внимательно эту амазонку разглядывал.

Стройная, одного со мной роста (а во мне 176 см), кареглазая, с правильными чертами лица и девичьим румянцем на щеках, которого не мог скрыть и желтоватый искусственный свет.

Пытаясь определить ее возраст, я задержался взглядом на высокой, молочного цвета шее. И с тру-

дом отвел глаза. К этой нежной, светящейся коже хотелось прижаться губами и ощутить биение крови в тонких голубых жилках.

Стало жарко, я отодвинулся.

Но и Роза Соломоновна наблюдала за мной.

— Так это ты тот новенький, который в такую даль согласился? На х... бы они упали, те шхеры Минина, когда по Енисею две зимовки пустуют?! И рыба там, и дрова, и олень круглый год держится. Пароходы мимо — торгуй, не зевай!

Ругательство само собой сорвалось с ее пухлых губ. Так ребенок скажет иногда ненароком грубое слово, не понимая его значения.

— Откуда же было знать? Начальство направило.

— Какое на х... начальство? Когда тебя на работу принимали, Кольчугин в отпуске был!

— Меня исполняющий обязанности принимал. Главный инженер по промыслу, Николай Николаевич.

— Ах, Николаша! Нет, он не и. о., он — иа. Осел, каких мало!

Ну и ну! Я только руками развел.

— Люда звонила за тебя. Вытряхай на х... свой рюкзак, поглядим.

Она быстро просмотрела весь мой «пух». К некоторым шкуркам приняла, выворачивала их наизнанку и бесцеремонно совала мне под нос. От плохо обезжиренной пушнины исходил неприятный запах.

— Н-ну, я думала, хуже будет. Вовремя принес. Еще день-два в тепле — и завоняют к е... матери. Срочно спинки вымездить, хвосты обезжирить, лапки разрезать, коготки подогнуть, а то половину заработка потеряешь.

Она показала мне, как марлей снимать со шкурок тонкую пленку мездры, как выдавливать жир ножом и промокать его хлопковой тряпочкой.

Я принялся за свою работу, она вернулась к своей. Пораженный грубостью этой красивой женщины, я молчал, она тоже не делала попыток продолжить разговор.

Под моими неумелыми руками одна из шкурок порвалась, и я невольно вскрикнул.

— Что т-такое?

— Порвал...

Она посмотрела.

— Малая дыра — не беда. Смочи края водой, чтоб дальше не лезло, и зашей, тогда ни х... не будет. Цена та же. «Елочкой» шить умеешь?

— Че ж нет? Умею.

— Уме-е-ешь? А наши мужики — нет. Как попалось зашивают. А кто понаглей — к нам. «Помогите, бабочки, у меня пальцы толстые!» — она негромко, беззлобно рассмеялась. — Ну-к, дай гляну!



© Дудякова Анна, 2011 г.

Посмотрела, как я шью, и осталась довольна:

— Иголку тонкую взял. Пра-а-вильно... Стежки бы меньше, а так ниче. Где учился-то?

— Нигде, я деревенский.

— Ну так что же — деревенский! Не каждый и деревенский знает. Тут был у нас один х... моржовый — побежал еловую иголочку искать. Это в тундре-то! — она опять рассмеялась и откинулась к стене всем телом. — Ф-фу, притомилась! Так где, говоришь?

— Нигде. Отец показал.

— Он сапожник?

— Нет. На колхозной ферме работал. Зимой — скотник, летом — пастух.

— Пастухи — да, умеют по коже.

— Конечно. Кнут сплести, седло зашить, сапоги залатать, а зимой валенки подшивали.

— Валенки? Иглой или крючком.

— И так, и так можно. Но я люблю крючком — ловчее.

Она вдруг резко встала, подняла ногу на подоконник, нимало не смущаясь тем, что юбка задралась выше колена, и сдернула с ноги подшитый валенок с кожаным запятником на нем.

— Иглой или крючком?

Я осмотрел валенок. Подцепил концом ножа дратву стежка и потянул. Показался узелок, каких не бывает при работе иглой.

— Подошва — крючком. И недавно. Узелки не стерлись. Запятник иглой пришит. Наверное, даже двумя иглами одновременно, так быстрее. Хорошая работа, аккуратная.

— Это дядь Яша Фишман из Дома быта. Спец. Эх, какой мой папаня был мастер! Все начальство в его сапогах щеголяло. Для сук энкавэдэшных такие «лодочки» шил — закачаешься! Но и пил, как сапожник... Иди-к сюда!

Она достала из-под стола початую бутылку коньяка, из шкафчика на стене — два стакана, плеснула на ладони синей жидкостью из пузырька, вытерла руки марлей.

— Рукомойник замерз. Х... бы им в глотку, алкашне кочегарной! Протри руки тройнушкой, а то бывает, больной пес попадет.

Я тоже протер руки одеколоном.

— Вот, шоколадку отломи. «На ферме работал». Что, отец умер уже?

— Да. И мама. Недавно.

— И мои... Царствие им небесное. Помянем.

Мы выпили, не чокаясь. Долго молчали, думая каждый о своем.

— Теперь — за знакомство. На «вы» не говори, я не барыня.

Она опять плеснула в стаканы на палец коньяку.

Но выпить мы не успели. Открылась дверь, и закутанная фигура указала на меня пальцем:

— Новенький! К телефону. В коридоре на стене.

Грушевская вышла следом.

3. Сейф

Некий сержант Будьласка (да что они тут, все с Украины?) из районного отделения милиции требовал, чтобы я немедленно сдал карабин на склад. Я глянул на часы: семь вечера. Оружейный склад до пяти. Бегать по поселку, искать кладовище? Нельзя ли завтра утром?

Но Будьласка был неласков:

— Никаких завтра. Раз в общежитии прописан — сдать немедленно. Уже было такое: напьются, постреляются, а похмелье наше.

— Дай-ка! — Роза Соломоновна мягко, но решительно взяла у меня трубку. — Василь Петрович, это я, Роза. У Гали дите грудное. Не пойдет она щас

на склад, имей понятию, тридцатник с ветром, а ну — грудь застудит? Что? Да контролирую я, контролирую, вот те крест, затвор выну и в сейф положу. Под мою ответственность, Петрович, ты же знаешь меня! — и она быстро прижала трубку к моему уху.

— Сдайте утром и отзвонитесь! — Гудки отбоя.

Мы вернулись на рабочее место и выпили по второй. Я пошарил глазами по комнате, но никакого сейфа, кроме посудного шкафчика на стене, не нашел. Так и сказал Розе.

Она рассмеялась:

— А ты не знаешь, где у бабы сейф? Уморил, парубок! — и повернулась ко мне пышной грудью. Я вспомнил, где наши деревенские женщины держат деньги, чтобы не украли на базаре, и тоже стало весело.

4. Золотые люди

— Ну вот что: время семь вечера. Мы — до восьми. Собирай-ка свою трахомудию обратно в рюкзак и в камору на мороз. Завтра доделаешь. А щас доставай пса с крюка и мне одного дай, покажу, как правильно снимать и на ходу обезжиривать.

Я снял две тушки с гвоздей на потолочной балке, одну отдал Розе, вторую взял сам.

— Вот смотри: начинаешь ножницами. Жировую подушку с лапки срезаешь и — на х... на рогожку! Потом ножом чуть подрезать шкурку и кругом от косточки освободить. Коготки подцепить ножницами, потянуть, обрезать у крайнего сустава. Теперь по суставу лапки ножом чикнуть, обрезать и тоже на х... на рогожку! И так — все четыре. Лапки удалишь — легче дальше работать.

— Роза, ты почему такая матерщинница?

— Н-ну? А ты че, идейный?

— Нет. Просто неприятно: красивая женщина, красивые губки — и грязь.

— Красивая? Ты меня молодой не видел. Щас вот столько не осталось!

— Осталось, Роза, поверь мужику, осталось!

— А сколько мне, думаешь, лет?

— Если бы не лапки у глаз, — не больше двадцати. А так, думаю, — годки.

— Сколько тебе?

— Тридцать четыре.

— М-м-м — «годки»! Сорок два не хошь?

— Не верится....

— Не верится? У меня сын в десятом классе, дочь в седьмом. Вот и считай.

Она отложила нож в сторону и взяла скальпель.



— Теперь смотри внимательно: губы подрезать и помаленьку всю голову освободить. Глаза и уши аккуратно обойти, хрящи из ушек вырвать — не нужны. Чуть было не сказала «на х... на рогожку», но не буду, раз тебе неприятно.

— Так ведь сказала уже!

— Но тихим голосом и глазки вниз. Вишь, я хорошая тетечка!

В глазах ее прыгали искорки, я рассмеялся.

— А теперь кажи руки, охотничек!

Недоумевая, протянул я обе руки вперед.

Она поочередно притронулась к большим пальцам моих рук и легонько потрясла их.

— Чтобы быстро снять-обезжирить, надо нокоть отрастить. Большой, как у меня. Вишь?

— Ну.

— Если правша — на правом, левша — на левом.

— Не пойму...

— Вот смотри: нокотем цепляешь пленку на шее и давишь. Нокоть — не нож, шкурка не рвется. Потихонечку шкурку кругом отделяешь, пеньки лапок, вишь, сами выскакивают? И пошла, пошла шкурка вниз. А пленки и жир на тушке остались! И обезжиривать не надо. Время-силы экономишь. Я за день двадцать пять делаю. Под настроение и больше. Потом надо жир-кровь бензином снять, стальной расческой пух вычесать, прутиком хлопать, пыль выбить. Тогда станет красивая, пушистая, мягкая и в Питер поедет на пушной ау — аукцион. Международнй. За золото. Понял, мы какие? Золотые для государства люди!

5. Любовь, кровь и балалайка

Но я плохо слушал. Я смотрел на оголенные до плеч руки этой женщины. На правой руке выше запястья были белые скобы и полосы. На широком шраме у локтя — точки от ниток. Левую ладонь пересекала грубая красная черта. За нож хваталась.

Роза выпрямилась на стуле:

— Во работенка! Спина, как чужая. А руки, хоть смотри, не смотри, — память мне за любовь... Семнадцати замуж вышла, через год уже срок тянула. Прихожу с ночной, а он с бабой! Да ладно бы где, простила бы. Нет — на постели нашей! Ну, я в кухню и нож! И он — свой складник. Бились — поле Куликово. А стерва ушла! Я за ней с тубареткой по улице гонялась, пока не упала.

Роза Соломоновна положила на стол нож и ножницы и стала легонько раскачиваться из стороны в сторону. Тихая песня на языке, так похожем на мой родной, зазвучала в забрызганной звериной кровью комнате.

Libe ken brennen un nit ofjheren,
Herze ken vejen,vejen on trenen.

Tumbala, tumbala, tumbalalajka,

Tumbala, tumbala, tumbalala...

(Только любовь лишь горит, не сгорая,

Сердце без слез безутешно рыдает.

Тумбала, тумбала, тумбалайка,

Тумбала, тумбала, тумбалала...)

Открылась дверь, четыре женщины из соседнего помещения вошли в комнату. Откинули повязки с лиц и подхватили припев:

Тум, балалайка, шпил, балалайка,

Тум, балалайка, тумбалала...

Сероглазая женщина среднего роста постучала пальцем по браслету часов:

— Завязывай, Соломонна, шас сторож придет.

Она сняла с балки двух последних песцов, одного отдала Розе, второго стала обрабатывать сама. Женщины принялись наводить порядок и убирать ободранные тушки в мешки.

Я выносил мешки на улицу и вытряхивал содержимое в большой ящик на тракторных санях у дверей. Многим ли отличается судьба человека от судьбы песка? Так же ждет тебя капкан болезни, случайности, старости. Шкуру, правда, не сдирают, но зато пух с тебя вычесывают всю жизнь.

Холодно. Наверное, за тридцать. Морозная дымка окутала высокую луну и огни фонарей на той стороне пролива. Громада атомного ледокола угадывалась у пирса. Я с трудом разглядел прожектор на крыше своего общежития. Пора домой. Сначала позвонить, чтобы парни белье взяли и пару одеял лишних. На скорую руку построена общага. Щелястая. Дует.

Когда я вернулся в помещение, радостно-теплое с мороза, обнаружилось, что Таймыру моему постелена оленья шкура и он грызет кость с хорошим шматком мяса на ней.

В «обдирочной» включили верхний свет. На столе была постелена скатерть, стоял чайный прибор, в корзинке — печенье и шоколад.

— Садись с нами, — сероглазая хлопнула по свободному стулу рядом с ней.

— Спасибо, девушки. Мне еще на ту сторону бежать.

— Пережди. Последняя вахтовка в десять.

— Зачем? Я напрямик.

— Не советую. Вчера ледокол прошел.

— А мне пилоты говорили: позавчера. Уже прихватило канал при ветре таком.

— Тогда вот что. — Роза встала и принесла из соседней комнаты небольшой железный ящик, в ка-

ких механики держат инструменты. Вынула из него напильник на деревянной ручке. Уложила напильник на цементный пол и резко ударила молотком. Сталь раскололась посередине, образовав острые, рваные края. Половинку с ручкой на ней Роза протянула мне.

— Держи. Если вдруг провалишься, этим когтем себя вытянешь.

— У меня нож.

— Руки порежешь. Да и соскальзывает, ломается, неужели не ясно?

— Ясно, Роза. Мне приходилось.

— Вот! Не фраерись!

— Спасибо.

— Будь ласка. А теперь не дури и садись за стол. Горячее в мороз не лишне.

6. Сватовство «майора»

В общежитии строителей, где я был прописан, ужидали двое мужчин. Бутылка питьевого спирта стояла на столе. Мужики были уже «тепленькие», но стопка белья и два одеяла лежали на моей кровати. В этот поздний час кто-то сбегал к кастелянше на дом.

— Спасибо, парни. А где остальные?

— Суббота. По бабам! — объяснил старший из мужчин, каменщик Савелий Костыркин. — Вертак в пять сел. Где пропал-то?

Костыркин раньше работал охотником. Но потом бросил «эту собачью жизнь» и перешел на работу в ПМК.

— На складе. Пушнину дорабатывал.

— Розку-то видел? Тама она?

— Какую Розку? — Мне и раньше был неприятен этот рослый кривоногий мужик с криминальным прошлым, а тут прямо закипело внутри.

— Ну, еврейка эта. Симпотная такая. Мужик у ей в тундре три зимы как пропал. Санька Грушевский. Шкаф был метр девяносто на сто двадцать кило. Собаки вернулись, а нарты пустые!

— И что, не нашли?

— Так ночь. Где искать? Не искали. Уже в феврале менты на вертаке прошлись низенько, дак если и был труп, задуло давно. Как снег сошел, она еще раз вертак выпросила. Обрато ниче не нашли. Дако она с милиции не слазила, пока ей мента в помощь не дали, пешком значит. И с сыном. Два месяца в тундре. Все путики протопали, овраги смотрели. А че смотреть? Еслив «босой» на лед утащил, то тью-тью!

— Так она что же, одна на зимовке?

— В путину¹ бригада у ей рыбацкая. И дети. А зимой че ж — одна.

— Так ведь ночь три месяца!

— На собаках. Они и в пургу домой привезут.

— А волки-медведи?

— Карабин у ей, ты че?

Боже мой! Я вспомнил себя самого под зеленым светом сияний по восемь, по десять часов в тундре. Когда и больше, как погода. Минус тридцать — это в радость. Терпимо. Возвращаешься — изба выставла. Не до чаю. Дров в печку — и спать. Если вдруг метель и не надо на путик, то праздник. Отпуск.

На вездеходе кабина. А собачья упряжка — это на ветру.

— Что же она сейчас-то в поселке?

— Дако еврейка ж. Хитрая. Как самая ночь, середина декабря — посередь января, так она сюда ныряет. Вроде как пушнину сдать. Дети, праздники, халам-балам. Начальство — как не видит, не знает. Ранше дело заводили, еслив участок бросишь. А щас, при Горбаче, послабуха пошла, никто ниче не боится. А в этот год она по делу. Песца много. Любители сдают — завал. Обдирать некому, желающих приглашают. Дако че я говорю — ты же знашь приказ-то?

— Знаю.

— Розка, говорят, по сорок штук в день делат, как орехи щелкат. Две сотни в карман. За день. Это на материке-то месячна зарплата. Инженерная. Ловка! К ей многие клеились по вдовьему делу. Всем — шиш! Я — друг ведь Сашкин. Рядом стояли. Тоже в прошлом годе зашел к ей. Мол, так и так. Не-е-е. Че ты-и! Как кошка — спину дугой и кш-ш-ш! Не порти, грит, памяти, иди с богом!

Савелий набулькал себе полстакана разведенного спирта, выпил залпом, схватил кусок мяса с тарелки, стал жевать.

— Бушь?

— Нет, с утра работы много.

— Ну, как знашь. Нам больше останется.

Я принял душ и постелил постель. Сходил на кухню, включил чайник. Савелий, уже пьяный в грязь, все сидел за столом, уронив голову на руки, и бормотал про себя:

— Ну-ну, поживи, поживи одна... плох я тебе, плох? Походи, походи одна... год походи, два походи... а нет — туда же пойдешь... туда же пойдешь... туда... не вернешь...

Я все ворочался на постели. Костыркин, думалось мне, знает больше о пропавшем без вести охотнике, чем вдова и милиция. И приснился мне затвор от карабина. Лежал он, холодная кривая железка, в уютном «сейфе» Розы Соломоновны, и я все пытался скинуть его рукой, все пытался стряхнуть его, выбросить, негоже железяке в таком нежном месте. И проснулся с зажатым в руке углом подушки.

¹ Путина — сезон рыбной ловли.



7. Коготь

Почти месяц пробыл я тогда в поселке, а в середине января вернулся попутным бортом на свою зимовку.

Вскоре услышал по радиации новость: Роза Соломоновна замуж вышла. И пишется теперь Петерс. Юриса Петерса, высокого светлоглазого латыша, я знал. Раньше Юрис работал у геологов механиком. Был он спокойным, рассудительным человеком, и я мысленно пожелал этой паре здоровья и долголетия.

В середине марта я вернулся в поселок и сдал пушнину, на этот раз нормальную.

Многие охотники уже работали на припае: добывали нерпу. Присоединился к ним и я.

В нашу группу направили на практику студента-охотоведа из Иркутска. Звали его Андрей, и он не столько учился охотничьему ремеслу, сколько бегал с фотоаппаратом. И приспичило ему заснять нерпу в момент, когда она выныривает для вдоха и расталкивает носом тонкий свежий ледок.

Видя его неопытность на льду, я отдал ему «коготь» Розы Соломоновны. А через два дня, когда мы спокойно обедали в избушке, Андрей ввалился в дверь из последних сил. Одежда на нем была покрыта ледяной корой и грохотала, как жестяная.

Мы раздели его. Растерли полотенцем докрасна. Кто свитер с себя снял, кто рубаху, кто штаны, одели в теплое, чаю налили: рассказывай! А он только клацает зубами по стакану, ни говорить, ни пить не может. Когда чуток отошел, объяснил, как из трещины выбрался. Обломок напильника раз за разом впереди себя на льду втыкал и подтягивался.

— Спасибо вам, — усталим он в меня благодарный взгляд, — без этого «когтя» я бы... — и заплакал.

— Не мне спасибо, — и я рассказал собравшимся, при каких обстоятельствах этот «коготь» получил и кто его в одну минуту изготовил.

8. Второй коготь

Через пару дней я встретил Розу Соломоновну на выходе из магазина.

— Здравствуй, Роза, и поздравляю! Юрис — хороший мужик. Дай-ка сумки!

— Возьми, а то набила доверху — руки отпадут. Здравствуй и ты!

— Совет да любовь!

— Спасибо на добром слове! А то знаешь, разное говорят. Он ведь много моложе. Захмутила «мальчишку», закогтила, под каблук загнала. Н-ну, бабы! Лишь бы языки почесать.

— Надо оно тебе, Роза? Потрещат и забудут.

— И то. Знаешь, у него руки на месте. Вездеход собирает. Решили — собак в резерв. Будем на технике в тундре. И еще хочет такой, на колесах дутых, сделать летний тундровой мотоцикл. Поедем Сашу искать. Чует сердце, нет его в живых, а не успокоюсь, пока косточки не похороню.

9. Египтяне в Арктике

Слезы звучали в ее голосе, и я поспешил поменять тему:

— Роза, а ведь ты изменилась!

— Да ну?

— Правда. В лучшую сторону.

— Это как?

— А вот смотри! — я поставил сумки на снег и постучал по часам. — Уже мы с тобой три минуты и двадцать семь с половиной секунд в разговоре, а ты еще и не ругнулась ни разу!

— Двадцать семь с половиной? Швыцар¹ ты, паря, прям жулик!

— Не я — часы! Не веришь — сама посмотри.

— Так че, уж и ругнуться нельзя?

— Вот когда молотком по пальцу звезданешь, так облегчи душу. Или, бывает, контекст того требует, а так, через слово, просто грязь.

— Что за конь-текст такой?

— Н-ну, это такой древний египтянин из Австралии. Грамотный! Но без ушей и во-от с такой попой! На базаре его сразу видно.

Роза рассмеялась и взяла меня под руку.

— А я тоже учиться хотела. Так на врача учиться хотела — прям страсть. Приходили бы ко мне. А я в белом халате, и всех смотрю, и рецепты. Уважение от людей и родителям почет. А жизнь вон как пошла. После школы — замуж, потом там шесть лет, потом снова замуж. Дети, пеленки, тундра, интернат. И вот сорок два — как не жила на свете.

— Роза, и сейчас еще не поздно на медсестру выучиться. Заочно. Ты потянула бы. Зачем тебе тундра? Не женское ведь дело, не в подъем.

— Оно так. А присохла, прилипла к природе этой, как бабка присушила. Ведь что получается: зимой три месяца ночь, летом — туман. Солнышко в праздник! Ни деревца, ни кустика, лишь жидкая травка по ручьям. Мы щас в отпуск едем. В Житомир свой. Абрикоса щас цветет, алыча, сирень. Потом яблоня-груша пойдет, дуреешь от запаха. И родни там полно, друзей. Че ж не жить? Живи! Но пройдет недели две — и заскучаю так, что злая делаюсь. Назад хочу — во сне бегу: гуси идут надо льдом.

¹ Швыцар — трепач, хвастун, балаболка (идиш).

Все: «Роза, останься!» А я не могу. Я там уже, я здесь уже, на бережку. На скале сижу, на волну гляжу, нерпей и чаек примечаю, караван идет, моржи плывут. И так мне хорошо, что тут бы и померла разаз.

Ни одного отпуска до конца не отгуляла. Когда и думаю: в себе ли ты, девка, не рехнулась ли? У меня мама полуцыганка-полухохлушка. Может, это во мне кровь цыганская бродит, житья не дает? Нет — у нас многие так. После отпуска соберемся, над собой посмеемся и — дальше жить, лямку тянуть. А почему Север так забирает человека, никто не знает. Может, ты?

— Нет, Роза. Я сам такой «забранный».

— А давно в Арктике?

— Шесть лет.

— Так беги, пока не поздно, ты учился, по разговору видно. Зачем оно нужно: охотник-рыбак? То руки в крови, то чушуя на пузе. Что тебе, чистой работы не найдется?

— Найдется, Роза, и работал. Только я люблю один. Чтобы сам себе шеф. Чтобы и работу, и день свой самому строить. Может, потому и здесь, не знаю...

— Вот. Не врешь. И хороший ты мужик, а ростоком не вышел.

Я удивился такой внезапной перемене темы:

— Нормальный рост. Средний. Не комплексую.

— Так-то нормальный, конечно. А на мой глаз — мелковат. Я люблю на мужика чуть вверх смотреть. Знаю, что дура, что малорослых мужиков сколько хочешь домовитых и сильных. И ругалась в голове своей, и стыдила себя. А потом поняла — в крови оно. Пусть. И Сашке была, и Юрису теперь — как раз до плеча. Знаю, что обижаются на меня мужики наши, мол, злая. А что злая-то? Пить им не даю в артели на путине, это так. Но ты ж глянь — в другой год опять ко мне придут: Роза, возьми в артель! И семьи не против: зарплата не пропита у мужика, домой принес.

А ведь я — домашняя баба! Все бы дома сидела, в окошко глядела, детишек намывала, его поджидала. Сашка выедет на путик, а я в окошко гляжу. А что смотреть — ночь и ночь. Так нет — смотрю, как шальная, будто приедет быстрее. Через часов шесть-семь фонарь ему выставлю на крышу и слушать хожу. Когда и дети со мной выскочат: скоро ли там папка, чего привезет?

Собаки свет увидят, сдалека залают. И слышать, аж звенит. А в небе ворожба световая. Сияет — иголку видно. Как такое забудешь? Никак не забудешь.

А приедет — у меня горячее на столе. Пока он моется, собак накормлю, в катух закрою. Умаялись собачки, в комок собьются, заснут. Саша не всегда и поест. Устал, потом. Не в обиду — разогрею. И ля-

жет на спину, руки-ноги раскинет — спит. А я одежку его просмотрю. Где пуговка оторвалась, где рубаху зашью, где че. И детям: «Ш-ш-ш — не шуметь!» А сама рада: и муж, и дети, и дом — мое это все, внутри у меня, душа полная вся. И, не поверишь, стала забывать те шесть лет, и сказки вспомнила.

Конечно, как стали дети в интернат, так мы скушали сильно. Но и тесней меж собой. Зато в каникулы дети с нами. Летом в тундре курорт. И другие детишки артельные целой шарой кругом. Не заскучаешь. Костры — их забота. И дрова, и все. Старшие девочки варят, мальчики отцам помогают рыбу с весов носилками в ледник. Всем работа. И едят — за ушами трещит. Так и стала я тундровая. Восемнадцать лет как один день.

А пропал он — пришла мне ночь. Хуже полярной ночь. Если б не дети, и сама бы ушла. А так — кормежку им надо, одежку, книжку. И стала, как он, путик на собаках смотреть, да подработаю где для детей.

А теперь шестеро нас. У Юры — тоже двое. Жена у него в прошлом году погибла на «материке». Свели мы молодежь до кучки, стали жить. Мои-то постарше — шефство взяли! Н-ну, умрешь с них, как говорят! А я опять белка, опять кручусь.

А как попрекнул ты меня под Новый год на пушнине, как со стороны себя увидела. Матерщина эта, пакость такая, еще там прилипла. И стало мне стыдно: крестик ношу, а свинья такая! Потихе, ты, Роза, поймей совесть. А ты-то че за себя-то молчишь, почему без семьи живешь?

— Разведенный я, Роза, и давно.

— Щас каждый второй разведенный. Женись опять, нельзя без семьи. Поверь старой бабе: нельзя. С семьей ты мужчина, без семьи ты йолд¹.

— Ладно, «старая баба», подумаю.

— Вот, слушай, какую причту мне бабуля моя рассказала. Как раз для вас, мужиков.

«Когда кончится время человека, предстанет он перед судом Всевышнего. И спросит Господь у мужчины:

— Сын Адама, где твоя семья?

И ответит мужчина:

— Много раз я пробовал, Господи! С первой женой меня теща развела, со второй характерами не сошлись, третья мне изменяла, четвертой я изменял, у пятой — злая родня, шестую не любил, седьмая храпела — так и остался бобылем. Прости меня, Всевышний, нет у меня семьи.

И скажет ему Господь:

— Отойди от меня, сын Адама, я не знаю тебя!»

¹ Йолд — недалекий человек, недотепа, балда (идиш).



— Ну вот и пришли! Спасибо, а то бы руки оттянула. Зайдешь?

— В другой раз, Роза. Не серчай.

— Ну, и я пошла. Сам через час придет. Как раз успею.

Двое мальчишек, один постарше, другой помладше, сбежали с крыльца, взяли у матери сумки из рук. И вспомнил я своих детей, и стало мне тоскливо.

10. Вторая половина

На обратном пути пришла мне на память вторая половина притчи о семье.

«Когда кончится время человека, предстанет он перед судом Всевышнего. И спросит Господь у женщины:

— Дочь Евы, где твои дети?

И ответит ему женщина:

— Господи! Ты же знаешь, сколько трудов с маленьким ребенком. Мы с мужем решили сначала для себя пожить. Дети — это успеется. А затем учеба пошла и работа, стала я должности занимать, стала занята весь день, минутки нет, не то что дети. Избавлялась я от беременностей своих. И прошли мои годы, и стало поздно.

— Детей, которых я тебе положил, ты убила, дочь Евы. Но что же не взяла ребенка из приюта?

— Разве можно полюбить чужого, как своего? Прости меня, Господи, нет у меня детей.

И скажет ей Господь:

— Не та мать, что родила, а та, что воспитала. Отойди от меня, дочь Евы, я не знаю тебя!»

А день был какой! А день был апрельский, солнечный, теплый. Минус пятнадцать, говорили утром по радио, и ветер всего пять метров. При минус пятнадцати начинают в Арктике валуны обтаивать и скалы на берегу. И плачут ледяные морковки по карнизам крыш.

Я зашел в контору, написал заявление на отпуск и в конце мая, когда уже появились над поселком первые острожные гуси-разведчики, вылетел на «материк».

И две недели пробыл с детьми.

11. На Севере

На Север. Зачем все бегут на Север? Гуси, утки, кулички и чайки, крачки, лебеди, орлы и совы — все летят на Север. Олени, волки, лемминги, песцы — все бегут на Север. Люди, однажды побывав, тоже спешат на Север.

Почему?

Может, виной тому необычная природа, работающая враздрай с предыдущим жизненным опытом человека, природа, на которую никогда не перестанешь удивляться?

Может, это «черная» работа изо дня в день, от которой жилы рвутся и без которой уже не мыслишь себя?

Может, это лезвие бритвы? Сегодня жив, завтра — кто его знает. И к этому, увы, привыкаешь, и это будни?

Может, это тишина? Великая, всеобъемлющая, изначальная, в подкорке отозвалась, в кровь вернулась, где и была, где и возникла еще до деревень и городов?

Может, это повышенная напряженность магнитного поля, которым пронизана всякая живая плоть? Не она ли причина ностальгии по северу? Этой непонятной, колдовской, проклятой, рвущей жизни, семьи и судьбы тоски по другому миру, по идеалу, по чистоте, по правде, по раю, может быть?

В середине июня я вернулся на свою «точку». Уже вытаяли каменные гребни, и в тундре гулькали чистой воды ручьи. Потом потянулись перелетные птицы, и гуси пошли надо льдом.

И от волшебного гогота гусяного, от древнего разговора птичьего загустела во мне разбавленная цивилизацией кровь, испарились ненужные знания, сошла одежда из ниток и пропал карабин.

И вот я на берегу моря в настоящей одежде. Из меха. В руке у меня — лук и стрелы, у ноги — собака.

И идут, идут над торосами, над тундрой тающей, над хребтом сверкающим несметные гусиные стаи.

И эхо от них, как в лесу.

И тени, как от облаков.

И я стреляю из лука. Попадаю и промахиваюсь. Подранков настигает верный пес, перекусывает им шеи и приносит к моим ногам.

И я отрезаю сердоликовым ножом голову гуся, с хорошим куском шеи отрезаю, и даю собаке: ешь, помощник, ты заслужил!

И приношу добычу домой. Жена встречает меня у чума и дети бегут навстречу.

И соседи выходят смотреть, отдаю ли по обычаю старикам и вдовам часть добычи я.

Чтобы утолить первый голод, мы тут же одного гуся съедаем. Просто макаем кусочки жира и сырого мяса в солоноватую воду от осколков двухлетнего тороса¹. Это сытно и вкусно. И я ложусь спиной на свое ложе из оленьих шкур, раскидываю руки-ноги в стороны — я так люблю — и засыпаю. И слышу

¹ Двухлетний торос — вода от двухлетней льдины. Слабосоленая, она часто используется как «макало».

еще, как жена говорит детям: «Ч-ш-ш, не шумите, на улицу бегите, дайте отцу отдохнуть».

Видение это было таким ярким, что я опомнился лишь, когда осознал, что держу карабин, как лук, и даже «тетиву» оттянул до уха...

Огромные стаи чернозобых казарок стали опускаться на галечниковые проплешины заболоченной равнины в километре от зимовья. Казарки — не очень осторожные гуси, к ним можно подкрасться даже на открытом месте. Мы с Таймыром так и делали: сначала подбирались, прикрываясь большими валунами, а затем ползли. Метров за двести от стаи я отпускал дрожавшую от возбуждения собаку, и она мчалась на гусей.

Как хлопья саж, поднимались в небо черные птицы, ни разу не удалось Таймыру настигнуть и зажать гуся. Но этого и не надо было: мы охотились за яйцами. В большой стае всегда есть гусыни «на сносях», испуганные, они оставляют яйца где попало. Всегда найдешь два-три, иногда и четыре-пять еще теплых голубоватых яиц.

Целую неделю мы с Таймыром жировали. Яичница — неплохой «способ существования белковых тел». Если Фридрих Энгельс имел в виду весенний перелет гусей, то он, разумеется, был прав. В середине июля побежали по тундре крохотные и прелестные детишки куличков. Семьи куропаток стали прятаться в скалах, а утиные, гусиные — на дальних островах.

«... И спросит Господь у мужчины: “Сын Адама, где твоя семья?”»

12. Третий коготь Розы

Прошло несколько лет. Я уже работал в другом районе и как-то встретил в норильском аэропорту Ивана Демидова, охотника-рыбака с Диксона. Он рассказал, что Роза с Юрисом нашли у последнего капкана, там, где некогда сходились путики Грушевского и Костыркина, две гильзы от «девятки», крупнокалиберного охотничьего карабина. По этим гильзам милиция разыскала карабин, по карабину вышла на Костыркина.

— И сколько ему дали?

— А нисколько. До суда не дожил. Цирроз. На карте овраг показал — и все. Менты подняли косточки, передали Розе с Юрисом. Щас у них на зимовке памятник стоит.

Мы с Иваном помянули убитого и разошлись по своим рейсам. Я прилип к иллюминатору: ни следа присутствия человеческого, ни избы, ни села, ни дороги. Только горы и реки, только окна озер без числа. Бескрайняя, бесконечная, безлесная тундра от Норвегии до Аляски.

Матушка и кормилица из века в век.

По ту сторону деяний и стремлений человеческих.

По ту сторону добра и зла.

Когда кончится мое время, «я, как в воду, войду в природу, и она сомкнется надо мной»¹.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Сыну посвящается

Засвистели лопасти, завывли турбины, пригнулись к земле кусты. Качнулись вниз вершины лиственниц, косо поплыли крыши, минута — и вертолет завис над рекой. По спокойной воде и кускам островов пошла его четкая тень.

Открылась дверь пилотской кабины, и дядя Федя, давний Димкин знакомый, поманил его к себе.

*И одно дыхание у всех.
Книга Екклесиаста (3:19)*

— Проходи к нам, садись, — прокричал он Димке на ухо, — тундра сегодня особая, примечай!

Смотреть и впрямь было на что. Снег выпал с неделю назад, вдоль берегов уже змеились зигзаги закраин первого льда, но крепких морозов все не было, и река все так же катила свои живые волны, то синие, то красные от низкого солнца.

¹ Из стихотворения Е. Винокурова.



По всей тундре, остывая, «дымились» озера. Багровый туман сползал в ложбины и стоял там длинными серыми лентами.

Сквозь багровые клочья и серые ленты текли на юг олени. От великого множества животных склоны окрестных сопок казались посыпанными черным перцем.

— Дикаря-то¹ сколь в тундре! — восхитился Димка. — Понизу идешь — не так видно...

— А большая отцу лицензия?

— Пятьдесят дали план. Мать утром говорила с ним по рации. Почти выбрал, — с гордостью ответил паренек.

Его отец, Иван Семенович, работал охотником-промысловиком. Этой весной и семью перевез в тундру. Три недели, по весне, пока шла рыба, всей семьей работали на путине. Затем мать с сестрой Ириной улетели попутным бортом в поселок, а Димка остался с отцом в тундре.

Починили сети, заново перекрыли крышу, отремонтировали и отладили снегоход «Буран».

В начале августа прилетел из поселка папин начальник — инженер по промыслу. Привез продукты, бензин, патроны, почту, аккумуляторы для рации, мамины пирожки, а также лицензии на отстрел оленя и план-задание по рыбе и пушнине.

На другой день отец с сыном надели рюкзаки и ушли на ремонт путиков. Почти месяц провели они в тундре, пройдя за это время около четырехсот километров.

Несколько раз выходили на стада оленей, уже начавших свой ежегодный путь с севера на юг. Димка все порывался стрелнуть, но охотник не разрешал.

— Куда столько мяса в теплынь такую? Мух кормить? Вот подойдем к зимовью, если там рядом будут — «распечатаем» лицензию, а так — не дам животину зря губить.

На обратном пути на пологом берегу речной протоки натолкнулись на восемь шкур, восемь голов и пять зловонных, облепленных мухами туш, лежавших в речной осоке. Головы с еще не полностью окостеневшими рогами — от больших сильных быков.

— Па, а чего они так... Камус² взяли, языки вырезали, а мясо, пять туш, так и бросили... жалко же столько мяса...

— Вон следы. Двое. Одна лодка. Больше трех туш не увезешь. Быки тяжелые... — охотник остановился возле голов и медленно, с горечью, добавил: — Жадность человеческая... На красивого да сильного мушка сама ложится...



©Дудякова Анна, 2011г.

Подошел конец августа. На вертолет — и в школу! Уже в десятый класс!

Вдали показались черный кубик балка на речной излучине и красная капелька снегохода на склоне сопки. Это па, слышит вертак, спешит навстречу.

Крепко обнялись. Затем Димка помогал грузить темно-красные остывшие туши, рогатые головы, мешки с камусом. Пилоты улетели, обещав вернуться завтра к вечеру, и отец с сыном остались одни.

Пили чай. Димка то и дело запускал руку в пакет с ирисками, отец расспрашивал о школе, о матери, о сестре.

— Скажешь, к середине ноября подъеду на своем «коне», если погода позволит. Тут я матери корешки собрал, от спины ей заваривать. Иди, сейчас положи в рюкзак, потом догрызешь свои сладости.

Димка незаметно перевел разговор на тему о прелестьях настоящей мужской жизни на природе, в тундре. О том, что и он после школы пошел бы работать охотником.

¹ Дикарь — дикий северный олень.

² Камус — шкура, снятая с ног оленя.

— Например, напарником к тебе, па?

Семен Иванович, однако, не выразил восхищения планами сына. У каждой профессии есть обратная сторона. Негоже молодость в тундре губить. Не то, мол, время.

Димка обиделся и замолчал. Другие родители радуются, если сын «по стопам», и в газетах так пишут, а этот странный какой-то папка...

А утром! А утром, едва выйдя во двор, Димка увидел на пригорке группку оленей. Та-ак! У отца еще не вся лицензия выбрана!

— Па! Рогали! Можно карабин?

— Можно. И запасную обойму возьми. Да быков не бей. Гон. Пахнут.

— Зна-аю! — Димка уже завязывал тесемки маск-халата.

Около часа скрадывал он оленей, но подойти ближе трехсот метров не удалось: забеспокоилась важенка. Вот-вот сорвется все стадо. Димка выцелил ближайшего небольшого оленя и выстрелил. Животные рванули с места в карьер. Еще стрелял в угон и, выйдя на след, увидел кровь.

Подранок уходил вверх по склону, обильно пытая снег. Поднявшись на вершину холма, Димка увидел за небольшим плоским камнем ветвистые рожки. В бинокле — настороженно поднятые уши и полные страха черные глаза. Но едва парень сделал попытку подойти, как олень резво побежал вниз по склону, а затем снова вверх, на следующий увал. Со стороны и не скажешь, что подранок. М-да-а... Азарт стал заметно спадать. К тому же потянул ветерок. Ямки от следов и красные капли стало заносить...

Подъехал на «Буране» отец.

— Дай-ка. Сколько осталось?

— Один. А запасную, па, я забыл...

— Хватит мне... Зря ты, парень, подранка стронул. Будет теперь бежать, пока не сдохнет. И мясо у зверя измученного невкусное. Варишь — пенится, как падаль... Дуй домой, прозябнешь, ветер. Печкой займись. Я — мигом.

Печка уже давно гудела и чайник шипел, когда за окном, наконец, зарокотал «Буран». Вошел отец, коротко бросил:

— В воду кинулся. Стрелял с лодки. А волна. Проманул... Одевайся, едем!

По озеру гуляли волны с белыми барашками, зеленые у берега и синие на глубине. В бинокль видно было выходившего из воды на том берегу оленя. Подъехали вплотную.

— Добирай¹, — охотник отдал карабин. — Да вдругорядь не мажь, не мучь животину.

Двухгодовалый бычок стоял в серой пене, двух шагов не дойдя до берега. Увидев людей, он вскинул светлую голову с темными рожками и сделал попытку шагнуть назад, в воду, но копыта ушли в песок. Дернулся и замер бессильно. Под брюхом, по мокрой шерсти, стекала розовая вода, красное капало с губ, ветер срывал парок дыхания.

Дрогнула Димкина рука. Пуля щелкнула в гальку и запела, уйдя рикошетом. Еще раз... Олень подогнул колени и осел в воду. Семен Иванович за рога вытащил тушу на берег и ножом проткнул горло. Зашипела, забулькала кровь, протаивая дорожку в ледяном песке. Димка некстати глянул в черные, уже присыпанные пеплом смерти глаза и отошел в сторону. Охотник внимательно посмотрел на ссутулившегося сына, но не окликнул его.

Споро и ловко его руки делали привычную работу: снял камус и шкуру, выпустил внутренности, промыл тушу в воде, уложил на чистый брезент в саях и притянул веревкой.

— Садись, поехали!

— Не, пап, я пройдуся... — парнишка сглотнул ком.

Охотник выпрямился за рулем:

— Пройдись, сынок, пройдись... Ремесло мое не веселое... Не опоздай к вертолету...

Отец уехал, а Димка смахнул слезу и пошел вдоль пустынного берега. Сзади осталось темное пятно, вокруг которого хлопотали чайки: клевали внутренности, торопливо сглатывали кровь. Кромкой берега крался песец. Закарркал ворон, приглашая на пирр сорродичей, черными крыльями пррошурршал поморник².

По озеру все так же гуляли волны с барашками на гребнях. Одна за другой накатывались на заледелый песок.

¹ Добрать — добить подранка.

² Поморник — черная чайка.



Я — Михаил Иванович Анохин, 1938 года рождения, педиатр, доктор медицинских наук, профессор. До пятидесяти лет следовал завету Льва Толстого «если можете не писать — не пишите», и писать начал по двум причинам. Первая: в конце 80-х осознал, что одним из плодов перестройки станет то, что наша наука «прикажет долго жить», и потому творческий потенциал следует реализовывать в ином направлении. Вторая причина физиологическая: по ходу возрастной урологической операции мне перевязали семенные канатики. Такая стерилизация, вазэктомия, популярная на западе у мужчин за сорок, нередко приводит к подъему физических и интеллектуальных сил, что счастливо возымело действие в моем случае. Я омолодился настолько, что стал читателем замечательного журнала «Юность» и, как теперь оказалось, даже его автором. Кроме того, издательство «Художественная литература» в июне публикует мой роман «Ассирийский гороскоп». Из предыдущих публикаций отмечу две статьи в «Литературной газете» (2009), посвященные реабилитации Т. Д. Лысенко, которого у нас возненавидели по причине евразийской русофобии, презирающей все свое, оригинальное, и самих себя.

Этот национальный порок мне, очевидно, свойственен, поскольку я не читаю нашу современную литературу, не смотрю телевизор, не хожу в театры и в кино, зато регулярно просматриваю в Российской государственной библиотеке новые книги по истории и медицине, в которой продолжаю работать. А еще, когда удастся, слушаю по радио мастера разговорного жанра Сергея Доренко и заимствую для своих рассказов его сочные метафоры. Среди близких знакомых имею десяток верных читателей (читательниц), и круг их благодаря «Юности», надеюсь, расширится.

КУРНОСЫЙ АНГЕЛ

РАССКАЗ

Не каждый профессор потерпит возле себя хирурга, оперирующего лучше его самого, да еще молодого, подающего надежды и закончившего докторскую диссертацию. А меня терпели, так что мне грех жаловаться. Еще перед началом работы над диссертацией я стал отправлять больных за расчетом к шефу. Тот мне часть гонорара возвращал, но теперь, когда он откладывал мою защиту, я свою долю старался не брать в качестве молчаливого протеста, бунта на коленях.

Вообще, я последний любимый ученик Долецкого. По окончании аспирантуры соревновался с ним на скорость при аппендэктомии (операции при ап-

пендиците) и отставал не намного. Хотя ловкость рук в нашем деле — не главное: куда важнее, например, знать, когда не надо оперировать. Эту клиническую часть хирургии мой шеф, профессор и член-корреспондент Академии медицинских наук, знал неплохо, но из-за преклонного возраста оперировал неважно и оттого держал при себе меня. Говорят, в американских госпиталях установлен возрастной предел, по достижении которого запрещено оперировать, подобно запрету на работу шофером у VIP-персон. Так ли это, не знаю, но мой шеф свой верхний порог уже переступил. Во время операций у него дрожали руки и от возраста, и от выпитых де-

калитров, количество которых едва ли не пропорционально скорости, с которой происходит карьерный рост в мужских профессиях.

Шеф уверял, что подаренные благодарными пациентами бутылки спускает в мусоропровод, но я уверен, что большая часть тех марочных коньяков прошла через его желудок и печень, оставив там след в виде гастрита и начинающегося цирроза. В печени, конечно же, снизилась активность фермента, перерабатывающего алкоголь в уксусную кислоту, отчего (с уменьшением содержания в крови этой кислоты уменьшается синдром похмелья) и так повышается переносимость спиртного. Зато, я думаю, у шефа окончательно истощилось то, чем гордится молодежь перед стариками. А ухудшение памяти привело однажды к анекдотической ситуации, когда профессор собрался дважды взять гонорар, забыв, что за больного уже расплатились. Я был свидетелем конфуза. «Вы знаете, сколько стоит такая операция в США?» — начал он и замолчал, потому что жена пациента вместо того, чтобы изобразить угодливо-благодарную готовность, растерянно произнесла: «Мы же вам уже...» Профессор вспомнил о полученном конверте, махнул рукой и ушел. Раскошелить пациента так, чтобы тот ощутил при этом свое ничтожество из-за того, что мало заплатил и недостойн общения со светилом, — этим мастерством владеют в высшей степени только выпускники Первого московского медицинского института. По крайней мере, таково мое мнение.

Шеф доверял мне самые сложные случаи и брал в качестве ассистента, когда самому приходилось оперировать. Нередко тогда оперировал я, а помогал он, но операция записывалась за профессором. Ну и конечно, ценил мою работу с ординаторами и аспирантами. Существует поговорка «учиться — у профессора, лечиться — у врача». Я же, получается, и профессор, и врач. Тем не менее (или именно поэтому) защита моя откладывалась.

Я взбунтовался, уже «приподнявшись с колен», когда возник подходящий повод: мне пришлось имитировать операцию! Случай был из ряда вон. В терапевтической клинике умирал знаменитый вор в законе. Харизматическая личность! О нем фильм показывали по телевидению! В палате его охраняли два бандита с автоматами, а навещали даже известные политики. Бандиты объявили медперсоналу, что если их патрон умрет, то всех тут перестреляют. Знаменитость же быстро угасала, и врачи приняли решение: перед самой кончиной перевести больного в хирургию. Когда он через несколько суток там умрет, медицину не в чем будет упрекнуть, так как в хирургической клинике пациент полечится совсем недолго.

Шеф постарался, чтобы «ценный больной» умер у нас. Насколько перевод его к нам был необходим, должно было показать оперативное вмешательство. Одновременно оно бы ускорило расставание многогрешной души с ее изношенной оболочкой, синей от татуировок и гипоксии и исколотой наркотиками и лекарствами. Как и предполагалось, больной через трое суток скончался, после чего улицу загромоздили иномарки, милиция поддерживала порядок вокруг клиники, а потом сдерживала толпу почитателей на Ваганьковском кладбище. Средства массовой информации сообщили о таком событии, а также о последовавших вскоре бандитских разборках. Операцию (ее имитацию) провел я, и мне же пришлось трое суток находиться у постели больного. Наконец аппарат искусственного дыхания отключили, я спустился в вестибюль клиники, где у нас проводятся встречи с родственниками и друзьями больных, и объявил о печальном исходе. Тут же ко мне подошел верзила с мощным телом и маленькой головой — «контрабас», да и только. Я струхнул, а он сунул мне в карман халата толстый конверт и пожал руку, едва не переломав пальцы. Конверт я отдал шефу. Профессор открыл конверт и удовлетворенно кивнул. Этими деньгами он одарил всех участников эпопеи и, я думаю, с полным правом половину забрал себе. Его заслугой было, во-первых, заполучить богатого клиента, а во-вторых, подготовить быстрый финал.

От своей доли гонорара я отказался дерзким образом:

— Бандитские деньги я брать не буду, — заявил я шефу.

— Хорошие деньги всегда плохого происхождения, — возразил он.

— Но операции же не было.

— А «врач» этимологически происходит от слова «врать». И с тем больным была «ложь во спасение». Но ты волен поступать как знаешь. Хочешь так самоутверждаться? Имеешь право. — Затем он засмеялся: — Сергей меня вчера насмешил... (Сергей — наш ответственный по хозяйственной части, хозассистент.) Он сказал, что древняя поговорка «деньги не пахнут» в новых условиях переделана так, что, напротив, «деньги пахнут, и очень хорошо». Ты, надеюсь, не намерен отказываться лечить богатых? Нет? Прецеденты такому имеются. Писатель Вересаев был врачом, а его отец тоже врачевал в Туле. У Льва Толстого заболел ребенок, и Толстой поехал к отцу будущего писателя. И вот тот врач, известный в Туле, отказал в помощи Льву Толстому со словами: «Я детей графа не лечу!» С такого радикализма все у нас началось и никак не закончится.

— Лев Толстой был не только граф, но и великий писатель, — сказал я.



— Без сомнений. Но стал бы он так знаменит, если бы не выступал против самодержавия и православия? Ленин его называл протобольшевиком.

Если деньги пахнут, то ими пропах, провонял мой профессор. Притом он большой эрудит, поскольку в отрочестве окончил еще старую школу, по уровню приближенную к дореволюционной гимназии. Хорошо, что плодами того образования старики готовы делиться с молодежью вроде меня, тянущейся к знаниям.

Мы с шефом совершили поездку в Душанбе. Предстояло оперировать местного начальника; пригласил нас тамошний заведующий кафедрой местного мединститута, хороший знакомый моего шефа. Замечу, что на Востоке нередко первоклассные хирурги, потому что разделка мяса там — традиционное искусство. Зажаренную тушу хозяин дома аккуратно разрезает под прибаутки:

— Кусок бедра мы даем нашему старшему сыну, чтобы он шел по жизни так же уверенно, как скакала эта замечательная кобылица... А вкусную лопатку, крыло, дадим нашему гостю, он прилетел к нам из Москвы...

И так до кульминации, когда нижнюю челюсть вручают самому уважаемому участнику застолья.

Согласно «Ясе» Чингисхана, сборнику законов, подавившегося пищей тут же приговаривали к смертной казни: арканом, стянув голову к ногам, ломали позвоночник. Возможно, что вследствие возвышенно-бережного отношения к приему пищи жители великой империи реже болели желудочно-кишечными заболеваниями. К примеру, древние греки столь же благоговейно относились к дыханию. «Пневма» отождествлялась у них с душой, и считалось, что при дыхании происходит соединение с космосом. Не потому ли Гиппократ не описал бронхиальную астму: ею тогда не болели? Поскольку на Востоке любят накормить гостя так, чтобы гость обязательно рыгнул, я готов предположить, что такой признак переполнения желудка у скотоводов соответствует «пневме» античных греков.

Потомки древних азиатских народов превосходят европейцев в способности к рукоделию, они искусно попадают иглой в мелкие вены и в рефлексогенные точки, хорошо оперируют, зато анестезиология на Востоке отстает. Причина в том, что боль можно «заговорить», и это легче удастся с восточным человеком. По такой причине на Востоке эффективнее рефлексотерапия и разные приемы психологического воздействия. В медицинских кругах у нас раньше шутили, что китайцу достаточно воткнуть иглку, под нос поднести цитатник Мао Цзэдуна, и можно оперировать на сердце. Эта осо-

бенность азиатов помогла справиться со сложной ситуацией на операционном столе, о чем пойдет речь в конце рассказа.

Началось же все с поездки в Душанбе. На аэровокзале во Внуково толпилась кучка обшарпанных таджикских рабочих, возвращавшихся домой, и их независимая республика представилась мне вроде жалкой африканской страны. Несчастные гастарбайтеры везли своим семьям деньги, заработанные ценой тяжкого труда и бесправия. В Москве они жили в мусоросборных камерах жилых домов (те, что рядом со входом в подъезд) или спали вповалку на кухне у какой-нибудь старухи-пенсионерки, и та их пускала в крохотное помещение, провонявшее мужским потом, с десяти вечера до восьми утра. Один гастарбайтер хвастал, как ему повезло: вместе с десятком соотечественников он занимал целую однокомнатную квартиру с кухней и ванной. Сдал им ее алкоголик, который переселился в коридор рядом с лифтом, а в туалет ходил к соседке. Но для всех этих людей важнее условий проживания было одно: чтобы не обманули с деньгами. Ведь известны случаи, когда вместо зарплаты сгорает вагончик вместе со строителями.

Насмотревшись на униженных и оскорбленных, я был готов к худшему, однако прилетели мы в чистый, уютный город, окруженный горами, шумит река Душанбинка («душанбе» означает «понедельник»), большинство жителей одето по-московски, автомобильные пробки тоже как в Москве, и иномарок столько же, слышна русская речь, реклама — на русском языке. Заведующий кафедрой хирургии местного медицинского института обнял моего профессора, мне пожал руку и на своем черном «ниссане» с личным шофером повез к себе домой. Поселились мы в его огромной квартире: каждому по комнате, увешанной коврами и уставленной огромными кожаными креслами; в сервантах блестит золоченая посуда и сувениры, у стены — телевизор с большим экраном, на стене — разукрашенные часы с маятником (новодел под XVIII век), с потолка свисает хрустальная люстра, гудит кондиционер. В комнате моего шефа то же самое, но еще стоит холодильник с вкусными закусками и напитками. Все похоже на обстановку подмосковного коттеджа у какого-нибудь магната, только здесь ковры, а не иконы вперемешку с картинами в золоченых рамах, и нет обязательного камина.

Местного заведующего зовут Эмомали, так же как президента Таджикистана Эмомали Рахмона. С моим шефом таджикский профессор схож по комплекции: оба приземистые, крепко сбитые, но мой совершенно седой, а у черноволосого аксакала седина блестит больше на висках; кожа у москвича

розовая, а таджик смугл. Мой профессор подвижен, а его друг степенен, оба не улыбочивые, но глаза у моего профессора — светлые, водянистые, а у таджика — темно-коричневые. Московского профессора, членкора, здесь называют «академиком», его друг — тоже академик, причем настоящий, но местной академии. Сходство друзей, даже внешнее, объясняется тем, что молодые годы, время учебы в Первом московском медицинском институте, они прожили вместе. Тогда страна была на подъеме, и образование они получили лучше, чем то, что сегодня предлагают аналогичные заведения, переименованные не по уму в университеты и академии.

Два профессора опять обнимаются. Мой замечает:

— Ты потел и потемнел.

— Пополнел — да. Но и ты тоже, — отвечает таджикский коллега. — А потемнел от грехов. Как Черный камень Каабы. Его во времена Ибрахима (Авраама) принес с неба архангел Гавриил. И был Камень сияющим небесным гиацинтом, но от прикосновений грешников почернел, как козий помет.

— Из партии — в мусульманство? — не без иронии сказал мой профессор.

Таджикский профессор вздохнул. Его лицо еще больше потемнело, смуглые кисти с чуткими пальцами хирурга сжались. Он мог бы ответить, что стремительная трансформация пошла из центра одной шестой части земного шара. Затем, подумав, посоветовал, что даже у дикарей в джунглях существуют понятия чести и справедливости, которые теперь повсеместно стали редкостью. Его грустные размышления мой профессор заключил шуткой:

— Папуаса спросили, как он относится к каннибализму. Папуас подумал и ответил: «Когда меня едят — это плохо, а когда я ем — это хорошо».

Посмеялись.

— Такая мораль теперь у всех нас. Поэтому — Коран, — сказал таджик, поднял глаза к потолку, где вращался мотор кондиционера, и прошептал что-то, вероятно: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Его».

Предстояла резекция желудка по поводу осложненной язвы. Пациент, местный начальник, явно не следовал «Ясе» великого властителя Евразии, и его наказала собственная природа. Местные хирурги соперничали б не хуже нас, но начальство больше доверяет московским врачам. Мой профессор вспомнил, что в предыдущий приезд его в Душанбе к нему приставляли охрану, чтобы не досаждали больные, желающие полечиться у «московского академика», как все его здесь называют. На этот раз обошлось без охраны, и нас не тревожили, потому

что мы были практически инкогнито, не гуляли по жарким улицам и находились либо в доме профессора, либо в клинике.

Операция прошла без проблем. Ассистировали я и таджикский профессор. Мы с ним раздвигали ткани, пережимали и перевязывали кровоточащие сосуды, наконец наложили кожные швы. Таджикский профессор не мог не обратить внимания на мою ловкость рук. У операционного стола я неподвижен, у меня двигаются только кисти или даже только пальцы. Хотя я был сконцентрирован только на работе, однако заметил, что таджикский профессор несколько раз одобрительно наклонял голову, когда я быстро и аккуратно, не травмируя ткани, пережимал мелкие артерии и, угадывая ход операции, вовремя открывал нужные участки операционного поля.

После я услышал их обмен мнениями обо мне. Эмомали уважительно сказал:

— Помощник у тебя...

— Да. Шустрый парень. Докторскую закончил, — ответил мой шеф. Но по его тону собеседник мог догадаться, что я претендую занять место «академика».

— Шустрит, значит?.. Нам надо друг другу помогать. «Чтоб не пропасть поодиночке», — заключил таджикский друг словами из песни Окуджавы, кумира 60-х годов, времени их учебы в Москве.

Во время той операции я отметил неумение местного анестезиолога. У больного падало давление и урежался пульс, то есть была передозировка наркоза, и под ним больной оставался слишком долго, тогда как в идеале надо стремиться к тому, чтобы больной просыпался с наложением последнего шва. Я не удержался, чтобы не сказать об этом.

Эмомали улыбнулся:

— Но девочка симпатичная? Которая давала наркоз.

Он наклонился к уху шефа. О чем прошептал, можно было догадаться, потому что вслух пояснил:

— Я не стал знакомить до операции...

«Благодарности всегда после. А симпатичная анестезиолог, значит, дает не только наркоз. При солидной клинике держать «девушку для гостя» — вот оно, восточное гостеприимство!» — домыслил я.

Больше, чем неопытность анестезиолога, меня встревожило пренебрежение стерильностью. Одно-разовые шприцы здесь используются многократно, и вроде бы их даже кипятят! Об этом я тоже сказал, но таджикский профессор ответил, что с внутрибольничной инфекцией они не сталкиваются и послеоперационный период, как правило, протекает без осложнений.

— Микробы поддерживают иммунитет, — сказал мой профессор (хотя, конечно, тоже обратил внима-



ние на грязь в послеоперационной палате). — А наркотов передозировали, наверное, потому что часто попадают наркоманы?

— Бывает, — согласился таджик.

«А как иначе? Таджикистан — перевалочная база для афганских наркотиков. С приходом американцев производство их там возросло чуть не в пятьдесят раз. Из Москвы гастарбайтеры везут доллары, а в Москву — героин», — подумал я.

Мой профессор порассуждал о пользе хронической гнойной инфекции:

— Еще сто лет тому назад специально создавали гнойник на ноге: называлось «поставить фонтанель». Для этого в глубокий надрез вставляли горошину. Или делали два параллельных надреза на коже и между ними пропускали тряпочку, которую передергивали из стороны в сторону; называлось «заволока». Тогда слова «иммунитет» не знали и говорили, что это «полирует кровь». Типичный аристократ XVIII века прихрамывает и опирается на трость, потому что у него на ноге «фонтанель». Про доктора Гааза говорили: «Уложит в постель, укутает во фланель, пропишет каломель, поставит фонтанель». Такое бесплатное лечение «святого доктора».

Слово «бесплатное» он выделил интонацией. Таджикский профессор задумался, затем сказал, что и в жизни проблемы стимулируют, без них не прожить, да и было б скучно.

Мы сидим в его квартире, погрузившись в мягкие кресла; за окном жара, а в гостиной приятно прохладно. Перед нами на низком лакированном столике выставлены разнообразные закуски, фрукты и напитки. В числе закусок — черная икра: блестящей глыбой, паюсная. Тарелки и соусники — японского фарфора, вилки — серебряные с гравировкой, салфетки — с вышивкой. Только вот дотягиваться до всего этого великолепия из кресла, в котором потонул, довольно неудобно.

Хозяин объясняет, что икра привезена из Ирана. Она настоящая «золотая» (золотистого оттенка), то есть белужья, а не осетровая. («Таджикистан не имеет границы с Ираном, — значит, контрабанда идет через две страны», — соображаю я.)

— Мы, таджики, — те же персы, арийцы по крови, как европейцы. Иран нам помогает в экономическом и культурном отношении. Ибн Сина (Авиценна), Фирдоуси, Низами — наши общие великие предки. Хотя на Авиценну претендуют узбеки, потому что он жил в Бухаре, на Низами — азербайджанцы, потому что Гянджа сегодня находится на их территории, но в те времена турки здесь только появились. Сегодня среди нас живут даже семьи, которые считают себя греками, потомками воинов Александра Македонского.

Профессор Эмомали рассказал об этом преимущественно мне, поскольку его московскому другу те исторические факты, конечно, известны. Однако икра первоклассная! Вкус такой икры я давно забыл или не знал.

Для гостей красуется коньяк в хрустальном графине.

— Рабочие с завода выносят для себя, — поясняет хозяин происхождение запретного для мусульман на напиток.

Продегустировав его, мой профессор начал рассуждать о достоинствах наших и французских коньяков, обращая преимущественно ко мне (он меня и в поездку взял, кажется, для моего воспитания как будущего профессора):

— У французских коньяков сложный вкус. Их следует пить маленькими рюмочками, потому что послевкусие таково, что хочется подумать, оценить букет. У наших марочных, будь то грузинские, армянские или этот ваш тоже, — вкус проще, но...

— В каждом месте надо пить свое, — подсказал Эмомали.

В этих словах проскользнула легкая насмешка непьющего над пьющими, но мой шеф сначала пропустил ее мимо ушей и сказал:

— Да. Пусть свое кондово, но такова наша природа.

На «нашей природе» он сделал ударение, очевидно, имея в виду всех русских. Но затем решил ответить на насмешку:

— Помнишь лозунг парижских студентов 60-х годов? «Прекратите пить спиртное, когда есть ЛСД!»

Хозяин дома улыбнулся и объяснил, почему он с нами не пьет:

— Пророк запретил вино. Зато в древности, в доисламский период, персы пили не меньше, чем сегодня русские. Шах обсуждал трудные вопросы в состоянии подпития. Трон украшали литые из золота гроздья винограда. Пророк положил конец пьянству, иначе Восток бы погиб. Конечно, грешники идут на ухищрения, отчего камень Каабы все чернеет. Пьянствуют в лодке на воде: вроде как пить запрещено на земле. Коньяк наливают в чайник... «Скрываются от людей, но ведь не скрыться от Аллаха. Он ближе к человеку, чем яремная вена».

Это он цитировал Коран.

— Где же твоя половина? Жена. Или у тебя гарем, в который никого не пускаешь? — спросил мой профессор. — Но врачам-то можно.

— Что врачам можно везде — ты прав, — усмехнулся Эмомали. — Например, шейх Абу Али ибн Сино... Шейхом, князем, его называли, потому что он был «князем врачей»; в Европе тоже его так называли. Так вот, он сидел с эмиром в его «хариме» — в гареме, по-вашему, — куда не смел проникнуть ни

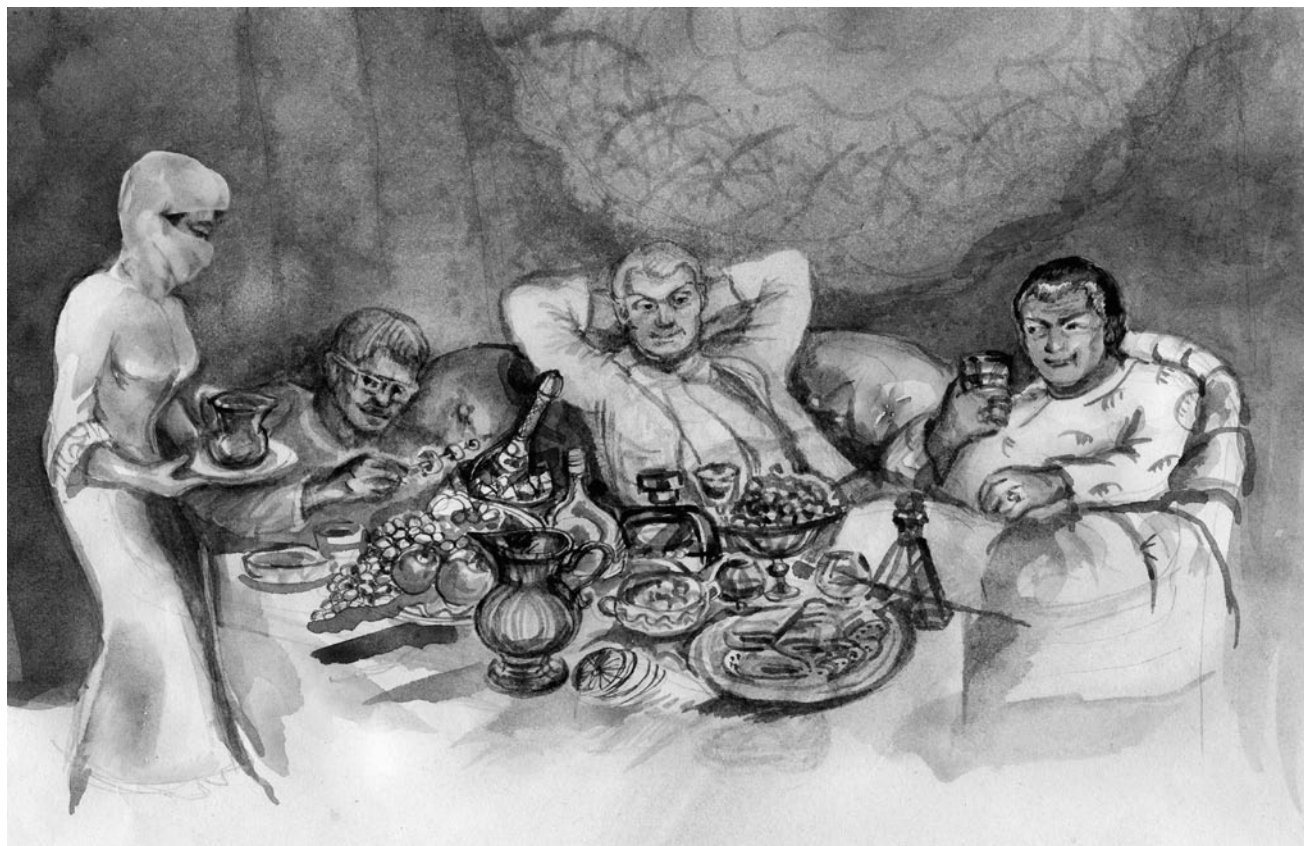


Рисунок Антонины Решетниковой

один мужчина. Жена принесла еду, сняла поднос с головы, согнулась, поставила поднос на пол, хотела распрямиться и не смогла. Возможно, от испуга, что увидела чужого мужчину. Эмир приказал излечить ее тут же любым способом. Что же придумал шейх врачей? Велел, чтобы с женщины сняли шальвары! Ей стало невыносимо стыдно, в сердце, как пишут, возник сильный жар и распрямил женщину.

Во время разговора входила и выходила, переменяя закуски и тарелки, безмолвная служанка с закрытым лицом, явно не жена, потому что хозяин ее нам не представил.

Про свою жену Эмомали ничего не объяснил. Действительно, что ли, у него где-то «харим»? Зато рассказал, что сын работает в США. Хотя там не доверяют персам, так как Иран противостоит Америке и ее сателлитам, к которым причисляется также Россия. «Америка — большой Сатана, Россия — малый Сатана».

Больше, чем сын и жена Эмомали, мое воображение было занято «девушкой для гостя». Гостеприимный хозяин подливал нам в хрустальные рюмки ароматный коньяк. Я закосел, в глазах двоилось, я потерял нить разговора и очнулся только, когда таджикский профессор убеждал московского друга забрать к себе ту анестезиологиню:

— Рабочее место ей найдешь. Поучится у вас. Конечно, проблема — с квартирой в Москве...

— Ты как султан, дарящий гостю наложницу, — ответил мой профессор, а я подумал: «Вот это контрабанда, покруче персидской икры!»

— Самое дорогое. Праведник готов продать себя в рабство, чтобы хорошо накормить гостя, — усмехнулся таджик.

«Хочет от нее избавиться? Скомпрометировала?» — соображаю я.

— «Нет тайной беседы троих, при которой Аллах бы не был четвертым. Он ведает скрытое и явное», — Эмомали опять процитировал Коран и посмотрел на меня.

«Скрытое и явное» — намек на девушку-анестезиолога?»

Чтобы польстить хозяину, мой шеф похвалил мусульманское искусство, в котором отсутствует фигуративность и одухотворенность достигается исключительно формальным путем. «Против абстрактной красоты орнаментов и каллиграфии даже Рафаэль пошловат». На что таджик сказал, что так же формально абстрактен Коран: «В священной книге главное — между строк, то есть дух». Затем профессора подняли животрепещущую тему перемен последних десятилетий. Обсудили киргизские погромы, когда



сожгли университет. Мой шеф, уже достаточно пьяный, заявил, что Средняя Азия с легкостью рассталась с цивилизацией, которую ей принесла Россия.

— Но и в Москве упало образование. Не говоря уже о науке, — сказал таджик.

— Да. Теперь всем нам прежняя система кажется почти идеальной, — согласился москвич. — Оттого она разрушилась. Гиппократ не зря писал, что совершенное здоровье нежелательно, потому что оно обязательно ухудшится.

— Из чего следовал циничный вывод, что больного надо недолечить, — усмехнувшись, подхватил таджикский профессор, вспомнив студенческие шутки.

— А сегодня в России построили какую-то колониально-феодальную систему, которой нужны лишь триста тысяч нефтяников и миллион охранников.

Хозяину откровенность гостя не могла не понравиться. Он на минуту задумался, затем высказался:

— Мне сын пишет из Нью-Йорка, что у них там тоже свой феодализм. Международные корпорации — вроде средневековых орденов со своими правилами и тайнами. Компания «Кока-Кола» — чем не тевтонский орден? Но в конце концов всегда побеждает Восток. Разве Сталин не азиат? Сегодня арабы и турки захватывают Европу. А кто будет населять Москву через десять-двадцать лет?

— Мы пропили свою страну, — опять согласился собеседник, опрокинув очередную рюмку, и еще себе налил. — Когда самолет сел в Душанбе, мы с ним вышли...

Он показал на меня, клюющего носом из-за слабой адаптации к спиртному.

— ...кругом чужая речь, русская — редко, и я подумал: «Я не доживу, а он доживет, когда такой же будет Москва». Приходишь к выводу, что ислам... На нем как бы благодать свыше.

— Именно так, — закивал головой таджик. — Ислам ближе природе человека и вообще к природе. Например, милосердие у нас и тайное, и открытое, а в христианстве требуется, «чтобы левая рука не знала, что делает правая». Христианство — не от мира сего: «кесарю — кесарево». Хотя то, что у нас принято пять раз в день молиться, кому-то тяжело, и не пить водку тоже.

— Еще пост «Рамадан»: целый день ни есть, ни пить, а ночью обжираться. Вот уж вред для здоровья! А если пост приходится на июль: не пить в жару...

Из-за провалов памяти он забыл, как только что хвалил ислам. Мусульманин же нашел аргумент для возражения:

— Ты рассказал, как «полировали кровь». А это «полировка душ». Каждый день беречь рану на ноге — малоприятно, но, говоришь, полезно? Вообще,

разве без проблем что-нибудь бывает в жизни? Сколько мы оба перетерпели, чтобы занять достойное положение?

Меня не познакомили с симпатичной анестезиологиней, очевидно, более опытной в профессии древнее, чем анестезиология. Я видел ее лишь закрытой с головы до ног, как положено в операционной, так что видны были только темные глаза с накрашенными ресницами. Ее встреча наедине с «московским академиком» состоялась, но нужна ли она была ему?

В тот вечер я в своей комнате смотрел телевизор, и у меня вновь возникла мысль о сходстве Таджикистана с какой-нибудь африканской страной. Из передачи, которая шла на русском языке, следовало, что половину национального дохода приносят гастарбайтеры (те, что живут в Москве в мусоросборных камерах) и что главной проблемой остается нехватка продовольствия. Власти рекомендуют каждой семье создавать двухгодичный запас продуктов, но торговцы мукой закрывают свои ларьки, чтобы не продавать муку по заниженным ценам. Для борьбы с бедностью приняты законы, запрещающие излишние расходы на праздничные семейные мероприятия, но при этом мэрия Душанбе призывает население перечислять деньги на празднование юбилея независимости страны. Затем обсуждалась актуальная тема: необходимо ввести точное определение понятия «пытка», поскольку милиция нередко обращается с нарушителями не лучшим образом. По другой программе красивая и стройная восемнадцатилетняя дочь президента страны Эмомали Рахмона читала новости на английском языке (она учится в Англии).

От телевизора меня отвлек стук в дверь: вошел мой «академик» и некоторое время стоя слушал английский язык, который знает плохо. Потом он окинул взглядом роскошь обстановки и задумчиво произнес:

— Так живет хороший врач...

Затем он ушел в свою комнату и вернулся с графином коньяка и стопкой бутербродов на разрезанном блюде.

— Поддержи учителя. Хотя ты своим учителем считаешь Долецкого... Зато у учу тебя жизни.

Он поставил графин и блюдо на стол, достал из серванта два фужера, а также салфетки, чтобы вытирать руки, налил в фужеры коньяк и опустился в кресло.

— Может быть, позвать Эмомали? — предложил я. — А в Москве у него было такое же имя?

— Думаешь, поменял, чтобы сделаться тезкой президенту? Хотя в наших «новых демократиях» все

возможно. Власть передают по наследству — или ее захватывает новый клан в результате переворота, который назовут революцией. Вероятно, такая система для них естественная. Аристотель наставлял Александра Македонского: греками управляй как просвещенный царь, а варварами — как деспот.

— Так позовем варвара?

Шеф приложил палец к губам, чтобы я остерегся в выражениях. Вдруг под каким-нибудь ковром спрятана прослушка? В его комнате она более вероятно и потому он пришел поговорить ко мне?

— Он, небось, на даче. Где у него «харим», — говорит профессор, тоже позволив себе неосторожность. — Меня привез его шофер. Да черт с ними со всеми!

Мы сидели возле низкого столика перед включенным телевизором, по которому блистала собой и оксфордским произношением молодая дочь президента страны. Мы несколько раз приложились к коньяку и съели почти все бутерброды с копченой осетриной, когда в дверь постучал и вошел Эмомали. Ничего не объяснив, он забрал моего профессора, и они вдвоем ушли в его комнату по соседству с моей. Мне ничего не объяснили, что было невежливо. Поэтому я с полным правом выключил свой телевизор, нашел место в стене, не прикрытое ковром, и приложил ухо, чтобы подслушать разговор. Очевидно, этот участок стены с другой стороны тоже не был прикрыт, потому что удалось кое-что услышать в моменты телевизионных пауз в той комнате.

— Поздравляю! — в полный голос произнес Эмомали.

— Ну да. «Половой атлет», — скептически возразил мой профессор.

Или это тоже сказал таджик? У друзей даже голоса схожи. Я с трудом различал, кто что говорит.

— А у нас все от вас. Что вне нормы. Наша норма нам прописана с седьмого века, а все новое — ваше. Необязательно, что оно хорошо... Измотала вконец или проявила такт? Стонала она по-таджикски? — такое уже точно произнес Эмомали. И он же цитировал пророка: — «Жены — ваша пашня. Приходите ее вспахивать, когда хотите и как хотите».

Для моего старика тема представляла, как я думаю, преимущественно теоретический интерес, он больше молчал и не возражал, чтобы не разочаровать гостеприимного хозяина. Наконец разговор закончился, стукнула дверь — хозяин ушел, после чего ко мне вернулся мой профессор с дополнительной порцией бутербродов и с блюдом сочных персиков.

— Подслушивал? — спросил он. — Я ж тебя вижу насквозь...

Не дождавшись моих возражений, он приложил ухо к тому же месту на стене, не прикрытому ковром, и удовлетворенно заключил:

— Телевизор слышно.

Потом засмеялся:

— Девочка с перспективой. Возьмем ее в Москву.

Он выпил залпом полный фужер в соответствии с собственной теорией о том, как надо пить наши коньяки, и разговорился:

— Здесь не исключена ситуация вроде киргизской. Эмомали не зря учит Коран. Хотя у него сын в Америке. Но туда же не эвакуируешь весь «харим». На Эмомали сто человек висит, если вместе с кафедрой, клиником и взаимонужными пациентами. Он говорит, что мы затянули их назад в яму. Хотя она у них с богатой историей, и дно ее, тысячелетнее начало, вроде бы светлей, чем то, что теперь наверху. Обвиняет Россию. Сослался на мусульманский закон, по которому муж должен обеспечивать жену физически, материально и морально. Так же Россия должна была «удовлетворять» свои республики. Материально — понятно, хотя, как и женщине, в этом полностью никогда не угодишь. Морали было сколько угодно: интернационализм, дружба народов, молодым — везде у нас дорога, старикам — везде у нас почет. А вот физически недодали, тогда как Восток уважает силу... А вот занятное: при гинекологическом осмотре обязательно присутствует старшая жена, свекровь или, на худой конец, муж, которому как бы принадлежат детородные органы жены. Тогда он сидит настороже в углу кабинета за ширмой. — Профессор засмеялся и продолжал: — Грузил меня Кораном. Сказал, что священную книгу нельзя понять и нужно только толковать. Привел оригинальное сравнение: «Тайна этой книги подобна женщине под покрывалом. Когда кто-то решится приподнять его, она говорит: “Я не то, что ты ищешь”».

Из длинных рассуждений своего шефа я сделал вывод, что с симпатичной анестезиологиней он лишь попил чаю, и «девушке для гостя» старичок показался представителем того строгого поколения, в котором coitus осуществляли едва ли не через простыню с отверстием. Однако «перспективная девочка» пустила слух о «половом атлете». Или такое придумал гостеприимный Эмомали? А может быть, профессора снабдили фаллоимитатором?

— Ну что? Возьмем к себе девочку? — спросил профессор, хотя уже сказал, что надо взять.

— Я ее так и не разглядел.

— Симпатичная.

— Вам видней.

— Так берем?

— Вы же решили.

— А я тебя спрашиваю. Хочу, чтобы ты сказал.

— Меня? Ну возьмем.

— Ага! Будем считать, что ты меня уговорил, — хмыкнул он. — Тебе потом расхлебывать.



Намекает на то, что я стану его преемником?

А он уточнил:

— С ней будешь на операциях.

Потом спросил:

— В отношении гонорара будешь самоутверждаться? Возьмешь только то, что по договору как ассистенту?.. Ты у нас врач-бессребреник, Косьма и Демьян. Были такие в раннем христианстве.

Ее звали Рукан, что означает «устойчивая», а известна поговорка — «как корабль назовут, так он и поплывет». Вот этот «непотопляемый корабль» к нам «приплыл» в Москву. «Корабль» походил на парусник под парусами, когда появился весь закрытый в белое, как положено в операционной. Удивительно, но для женского обаяния достаточно пары пугливых глаз плюс угадываемая под обтягивающим медицинским халатом вибрация женских форм. Однако без маски внешность разочаровывала: пухлое, скуластое личико, толстые губки, курносый нос — все вместе создает глуповатое впечатление, рост ниже среднего. Привлекали только темно-карие задумчивые глаза, устремленные поверх собеседника: к небу, что ли? По-русски говорила правильно, но неуверенно, с неопределенной, незавершенной интонацией, медленно подбирая слова.

Стала работать анестезиологом-реаниматологом, хотя больше училась. Давала наркоз на моих операциях и меня злила: или передозирует (чаще), или недодозировала. Из-за нее произошли две остановки сердца, больных еле спасли. Медицинская наука не помещалась в женской головке, хотя научиться давать наркоз относительно несложно. Для этого не обязательно штудировать книги. Как при обучении игре на аккордеоне: кратчайший путь — «с пальца», а не по самоучителю. Примерно то же говорят о плавании: те, кто учился у инструктора, плавают стилем, но плохо, а которых просто бросали в воду, плавают потом «пособачьи», но хорошо. Я сильно преувеличиваю, но мне рассказывали о неплохих анестезиологах, которые не оканчивали институт, а купили диплом в переходах московского метро и набрались опыта, постояв на операциях рядом с опытным анестезиологом. За границей наркоз дают медсестры, а не врачи. Реаниматология и лечение больных в послеоперационном периоде — несравненно сложнее анестезиологии. Не говоря о хирургии. Хотя шутят, что «хирург ничего не знает». Я имею в виду шуточную классификацию медицинских профессий: «терапевт много знает, мало делает, невропатолог и психиатр все знают, ничего не делают, а хирург ничего не знает, но все делает».

Таджичка оказалась на редкость тупой, профессор свалил ее обучение на меня и на мои жалобы отговаривался вроде того, что «если у женщины не

убегает кофе, то она не женщина» и «пусть молодежь узнает, что приводит к остановке сердца и как из нее выводить».

Во время операции я принимаю отрешенный вид, работают только пальцы, но я слежу за происходящим вокруг операционного стола. В подражание мне Рукан тоже становилась будто загипнотизированной, хотя работа наркотизатора проста: следи за сердечной деятельностью, за газами крови (CO_2 и O_2) и за рефлексам. Интеллектуальный больной впадает в бессознательное состояние резко, то есть он или еще не спит, или сразу полностью отключился. Некоторые же погружаются в наркоз постепенно с потерей самоконтроля. Наши ребята-анестезиологи любят пошутить с такими пациентками, задавая им нескромные вопросы: «Расскажи, как мужу изменяла!» Женщина рассказывает — хохот на всю операционную. Вот и Рукан, поглощенная работой и надыхавшаяся снотворным газом, иногда тоже на заданный вопрос могла дать странный ответ, над которым потом потешались.

Опасно, глупо проявила себя в послеоперационной палате. Больному с трахеостомой, когда тот дышит через отверстие в трахее, вставила катетер, по которому подается кислород, — в нос! Но больной же не дышал носом! И остроумный дежурный в наезд на таджичку катетер отклеил от носа и вставил в ухо... Ужасный случай произошел, когда она лечила больного с отравлением и внутривенно влила лошадиную дозу метиленовой синьки. Больной посинел, как небо над Таджикистаном, и умер. Происшествие с трудом замяли. Зато в клинику поехали оперироваться богатые пациенты из Средней Азии, после чего наши врачи смирились с малограмотной «чуркой». Та хорошо устроилась с квартирой — не как большинство ее соотечественников-гастарбайтеров, — так что приезжавшие толстосумы иногда жили у нее (она тогда переселялась к подруге). От одного из тех приезжих я узнал, что на родине Рукан приобрела известность: «Как же! Работает в Москве, у академика!» По ее почину в московские медучреждения понемногу потянулись врачи из Средней Азии. Как им удавалось получать гражданство? Потомки Ибн Сины показали себя вполне способными составить конкуренцию дагестанцам и другим выходцам с юга России (у них, как принято считать, у каждого третьего диплом купленный).

Я допускаю, что приезжие вскоре закроют все вакансии не только на рынке неквалифицированного труда. Сегодня ведь нередки объявления типа «Требуются рабочие-немосквичи». Потому что москвичам нужен нормированный рабочий день, оплата больничных листов, а также перекуры, и, хуже того, им свойственна вредная привычка с последующими

прогулами. Выходцы же из Средней Азии послушно работают за нищенскую зарплату и не претендуют на пережитки социальной политики «развитого социализма». Такова феодализация, которую обсуждали мои профессора. От нее лучшим врачам придется уезжать на Запад (и, возможно, лечить там наших толстосумов). А куда деваться среднестатистической серости?

Рукан начала участвовать в наших разговорах. Ее спросили, зачем персидским кошкам теплая длинная шерсть. Сибирским кошкам — понятно... Ответа мы не услышали. Зато узнали, что кошки хорошо чувствуют то, что китайцы называют «фэн-шуй», и там, где кот спит, — лучшее место в доме. Они даже лечат: ложатся на больное место, пригреют — и больному становится легче. Но из-за неопределенной интонации произношения таджички было неясно, насколько она сама верит своему рассказу.

В связи с кошачьим фэн-шуй я рассказал про древнегреческую «пневму» и про восточный обычай накормить гостя за рамки приличий. Последнее Рукан не смутило. Так же она не поняла юмора, когда кто-то рассказал, как к старому фельдшеру, лежавшему на смертном одре, пришел проститься коллега, стал щупать пульс, а умиравший медик скептически ответил: «Мы же с тобой знаем, что пульс не прощупывается...» На это Рукан вспомнила историю про то, как Ибн Сина по пульсу ставил диагнозы.

— С помощью современных приборов по пульсу действительно можно оценить артериальное давление, тонус вегетативной нервной системы (по изменчивости сердечного ритма) и всякое другое, — заметил я, но таджичка на такую научную новость только шмыгнула курносым носом.

За глаза ее прозвали Рахат-Лукум, но мужским домогательствам она давала отпор. Незаконно-рожденная дочь или племянница Эмомали? Или его верная наложница и также нашего профессора? К ней было клеился хозассистент Сергей. Он наш «первый парень на деревне», или, как теперь называют, «секс-символ». От него пахнет феромонами (которые подмешивают в одеколон для привлечения противоположного пола), или, вернее, натуральным тестостероном, и он бреется по-модному, как дирижер Гергиев, оставляя следы трехдневной щетины, подчеркивающей мужское естество. Однако Рукан объяснила (на этот раз твердо), что в Душанбе проститутки — только русские. Потому что в исламе проституция запрещена. Правда, запрет обходят через временный брак по контракту; можно даже на несколько часов.

— Ну и... — сказал нахальный ловелас.

— И муж должен обеспечить жену физически, материально и морально.

По впечатлениям поездки в Душанбе я рассказал, что гастарбайтеры в Москву едут поездом, а возвращаются домой самолетом. Билет недешев, зато не ограбят, как случается в поездах. В Москву же едут поездом, но сесть в вагон на проходной станции не просто. Бывает, что едут на крыше, а если обладаешь билетом на этот поезд в этот вагон, то имеешь моральное право бритвой разрезать брезент между вагонами и прыгнуть вниз вместе с вещами («а в вещах не героин ли?»). В вагоне же качай права, требуй себе законное место, обозначенное в билете, хотя точно такой билет может оказаться на руках у другого пассажира.

История не понравилась Рукан. Она ответила тем, что в Таджикистане из русских остались только алкоголики, которых крестьяне-дехкане держат как рабов.

— А разве таджикские рабочие в Москве — не на таком же положении? — спросил я.

Вместо ответа она подняла глаза кверху и сосредоточилась. Молилась, что ли, за них?

Она старательно закрывала волосы: на улице платком или другим каким-нибудь головным убором, а в клинике, естественно, медицинской шапочкой.

— В отношении волос русские женщины — правые, верные только в операционной, — пошутил я. — Там все мы и особенно те, кто лежит на операционном столе, ближе к Богу.

— К Аллаху, — поправила меня Рукан.

Через нее и ее среднеазиатскую клиентуру наша клиника приобрела восточный колорит. Благодарные пациенты подарили на окна занавески, расшитые арабесками. По безналичному расчету нам купили кое-какую медицинскую аппаратуру и во всех палатах установили кондиционеры.

Рукан, как и Эмомали в Душанбе, к месту и не к месту цитировала Коран. Это мне напомнило обязательные ссылки на «классиков марксизма-ленинизма» в советских изданиях 50-х годов, а наши сотрудники все объясняли крылатой фразой из любимого кинофильма «Белое солнце пустыни»: «Восток — дело тонкое, Петруха».

Она благоговела перед Эмомали. Рассказала маловероятную историю про то, как он вылечил богатого олигарха, а тот в награду пустил его в свою сокровищницу и сказал: «Бери золота, сколько хочешь!» Но академик ответил, что он получил, сколько положено за операцию, а больше ему не надо.

Присутствующий при разговоре Сергей подмигнул и серьезнейшим тоном произнес одно из изречений, которые слышал от Рукан:

— «Аллах не меняет судьбу людей, если они сами не стремятся к этому и сами не меняются».



Таджичка захлопала покрашенными ресницами и не знала, как реагировать.

Мы обсуждали ее между собой, и в наших разговорах звучали экстремистские заявления вроде того, что «не следует ожидать от “чурок” благодарности»:

— Мы их научили подтираться, а они теперь в своих независимых республиках отмечают День советской и русской оккупации.

На это возражали, тоже впадая в крайности, что, например, «вытирать задницу» те умели за тысячу с лишним лет раньше русских, и если Израиль получает с Германии компенсацию за ущерб, то и бывшие наши республики имеют на это право. Мы должны заплатить за то, что когда-то их к себе за толкали пинками, и за то, что теперь выгнали тоже пинками.

— А русский народ что с этого имел? Кому предъявить счет за погибших в войнах на окраинах империи? Мы убивали басмачей, но и они нас тоже! И лучше бы было, если бы вместо России туда пришли турки или англичане? Если русских считать колонизаторами, то русские — единственные в мире колонизаторы в ущерб себе. После развала Союза выяснилось, что не они нас кормили, а мы их. Один Азербайджан сам себя содержал.

В отношении же неблагодарности был приведен пример подобного с нашей стороны:

— Ломоносов учился в Германии, а немецкую профессию в Петербургской академии наук оскорблял рукоприкладством и «весьма неприличным образом делал руками крайне поносный знак».

Рукан рассказала известную мне историю о том, как «шейх врачей» вылечил женщину от приступа радикулита, неожиданно сняв с нее шаровары.

— С женщинами так и надо, не дожидаясь радикулита, — сострил Сергей. Хотел было засмеяться, кадык на его небритой шее дернулся, но Рукан вспыхнула и вышла из ординаторской.

После мы поинтересовались у нее, неужели при многоженстве жены не ссорятся друг с другом?

— Бывает, что ссорятся. Но благодаря многоженству мужья не ходят на сторону.

В ее тоне звучала некоторая неопределенность. Затем прибавила уже уверенно:

— У академика Эмомали три жены. Старшая жена занимается детьми, это самое ответственное. Вторая жена ведет хозяйство. А третья — самая молодая...

— С ней профессор-академик спит, — подсказал Сергей.

Таджичка смутилась, но продолжила объяснение:

— Муж должен любить всех жен и спать с ними по очереди. Нелюбимая жена, если муж ею прене-

брегает больше шести месяцев, может потребовать развод. Самая молодая, третья жена, конечно, находится в лучшем положении. За это ей завидуют, но она должна всех слушаться и всем помогать. У третьей жены иногда прозвище «токат». По-нашему и по-узбекски — «терпение». «Я вам, что ли, “токкат”»? — так и я могу сказать, когда меня будут высмеивать.

При последних словах ее темные глаза затуманились и пухлые губы дрогнули.

— У нас на кафедре похоже, — сказал Сергей. — Ты у нас старшая жена, — он показал на меня, — воспитываешь молодежь. Я на хозяйстве...

То, что Рукан — вроде «токат» для шефа и для всех нас, он поосторожничал произнести. Зато рассказал, какой должна быть идеальная жена:

— «А» — чтобы она не была «Б». «В» — чтобы не была «Г». Про «Д» и «Е» я воздержусь при дамах...

Сергей посмотрел на них, и одна из наших остро словниц (она и хирург неплохой) приняла его подачу:

— Из области морали «Д» теперь переходит в область малой хирургии, — сказала она под общие смешки.

Другая прибавила:

— Священника спросили: «Приходилось ли вам венчать девственных?» — «Не припомню, не припомню. Вот крестить приходилось».

— Но самое главное — «Ж», — завершил Сергей про идеальную жену. — Хотя это не то, что вы подумали, а жилплощадь. Но если имеется то, что вы подумали первый раз, тоже неплохо.

Рукан оглядела присутствующих и засмеялась, притом покраснев, и лоб покрылся бисеринками пота.

Она угощала фруктами, которые ей привозили. Разрезая дыню, сказала, что в древности взятку полагалось давать левой рукой, а «честный дар» — правой.

Я вспомнил слова таджикского академика про то, что в христианстве одна рука не должна знать, что делает другая, и такое, по его мнению, не согласуется с природой человека.

— А если берут двумя руками, тогда как? — спросил я. Таджичка не знала, что ответить, но дала мне кусок левой рукой, проявив таким образом начатки юмора.

Я решил поделиться своими сомнениями с Сергеем.

— Шеф содержит за наш счет любовницу. «Стрижет» с богатых. Ловко провернул историю с воров в законе...

Сергей, однако, принял сторону шефа:

— «Провернул историю»! Что ты знаешь?! — у Сергея кадык заходил вверх-вниз от возмущения. — Зато теперь нас крышуют! Забыл, как вылезал из окна?

Он напомнил мне, как после одной неудачной операции я спасался от преследования. Мне действительно пришлось несколько раз покидать клинику через окно. Теперь, значит, будет у кого попросить защиты. А пока к нам чаще стали поступать со стреляными ранами после бандитских междоубойчиков. Такие пациенты не любят обращаться в «Склиф», чтобы не привлекать к себе милицейского внимания.

— Тогда еще была у нас острая ситуация: мы боролись, чтобы нам сохранили наш корпус.

— Я помню.

— Что ты помнишь?! Шеф несколько раз ходил на прием к чиновнику, от которого зависело решение вопроса, и все без толку. Ходил не с пустыми руками. И вот, как только тот полутруп к нам перевели, шеф вместе с его доверенным лицом пошел к тому чиновнику...

— Я помню то «доверенное лицо»: та еще рожа, и рост под два метра. «Контрабас».

— Вот именно. Шеф мне рассказывал, как все было в министерстве. «Контрабас» ногой выбил дверь кабинета, шеф протянул чиновнику конверт с деньгами, а у того негодяя — никакой реакции. Тогда бандит берет его за рукав и говорит: «Если ты, мразь, фраер, сейчас не подпишешь, то за тысячу баксов из этого конверта я тебя сейчас “пришью”». Понял?!» Чиновник схватился за телефон — бандит вырвал шнур. Тот — за мобильник, бандит и его вырвал из рук, причем вынул сим-карту! Чиновник понял, что дело плохо, взял бумагу и поставил подпись. Конверт тоже взял. Потом сказал: «Зачем горячиться, когда можно договориться?»

— Я не знал, что было так драматично.

— Шеф одному мне рассказал. Нам с тобой до него — как до неба. Слышал про скандал в кардиохирургии? Анестезиологи три смерти подряд устроили их академику за то, что он с ними не делился. Он орал на них — оконные стекла дребезжали. Но, наверное, поумнел. Такое у нас невозможно. Хотя шефу сейчас деньги еще как нужны. Сколько ему станет пройти в действительные члены? Три года назад за членкорство платили «котлету баксов» в двадцать тысяч, а сейчас сколько понадобится за «полного генерала»? Его избрание нам нужно не меньше, чем ему. Тебе же, между прочим, защищаться.

— Только неизвестно когда.

— Все равно это произойдет. И тебе потом расти. Идти по его стопам. Думаешь, чтобы стать профессором, главное — хорошо оперировать?

Что для профессора это не главное, я хорошо знаю. Но об этом моим ординаторам не рассказываю. Многие из них пока еще чистые ребята, одержимые только хирургией.

— И насчет любовницы: руководителю нужен стимул, допинг, чтобы карабкаться вверх. Честолюбие произрастает из нацменьшинства, от гомосексуализма... — философствует Сергей.

— Какое-нибудь увечье, маленький рост, — прибавляю я.

— Да. А у нашего — вот такая болячка. Курносая. Вроде фонтанеля, про который он любит вспоминать. Хотя какие отношения у них, она не расскажет. Может, ее держат ради клиентов. А может, у них мусульманский временный брак. Что она не «секс-бомба», для старика даже плюс. Твой Долецкий на старости лет женился на молодой, красивой и быстро отправился в мир иной.

— «Болячка». Шеф улыбаться иногда стал без ехидства.

— Тоже заметил? И нас меньше гоняет. А насчет женщин я так тебе скажу: чем меньше ее видно и слышно, тем удобней ею пользоваться.

Самый богатый клиент поступил с банальным диагнозом «геморрой». Проблема состояла в том, что этот очень-очень большой среднеазиатский начальник отказался от унижающей его (как он считал) ректоскопии. И мы должны были провести операцию без этого исследования кишки. То есть если бы на ректоскопии настояли, клиент бы мог уйти от нас в другую клинику. Вообще, люди столь высокого ранга лечатся за границей, но иссечение геморроидальных вен — слишком элементарное вмешательство для заграничного путешествия, сопряженного с рядом формальностей, — так, очевидно, рассудил большой начальник.

Известна нелепая смерть великого конструктора космических ракет С. П. Королева из-за врачебной ошибки. Его оперировал не менее великий, лучший хирург 50–60-х годов, министр здравоохранения и академик всех академий Б. В. Петровский. Если бы перед операцией осмотрели кишку, то увидели бы причину расширения геморроидальных вен — небольшую опухоль, однако ректоскопию не провели. Во время операции началось кровотечение из опухлевых сосудов, надо было переходить на общий наркоз и для этого интубировать (вводить трубку в трахею). Но у Королева была короткая шея, что затруднило интубацию. Кровотечение не удавалось остановить — и тогда надо было экстренно сделать трахеотомию, чтобы проводить искусственное дыхание через отверстие в трахее. Однако создание такого отверстия (трахеостомия) усложняет течение по-

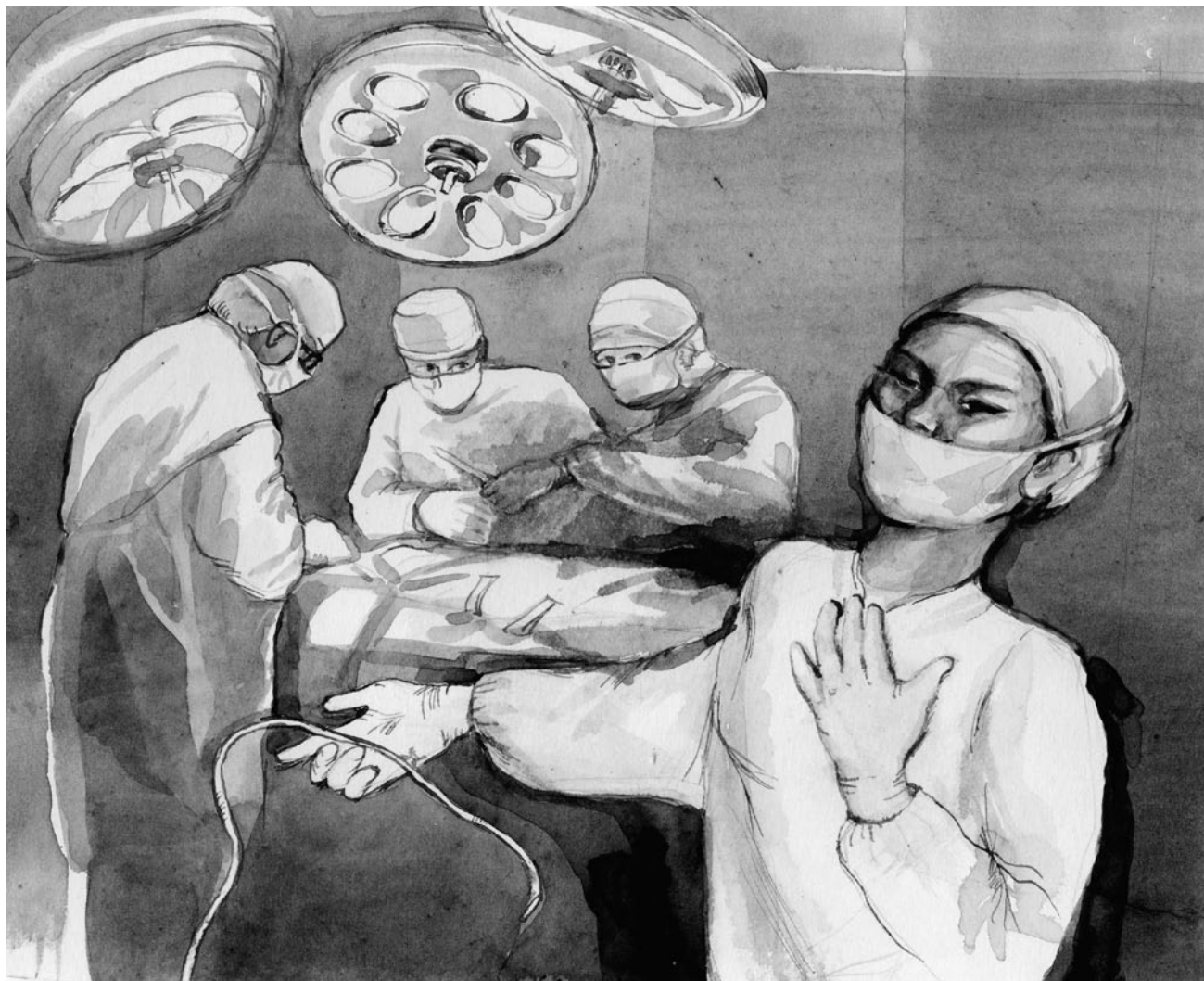


Рисунок Антонины Решетниковой

слеоперационного периода и оставляет рубец на шее. На эту манипуляцию не сразу решились, и в результате великий Король умер на операционном столе.

Шеф начал операцию, я ассистирую, анестезиолог — Рукан. Ее шеф поставил для того, чтобы она могла поговорить с таджикским начальником на родном языке, — так мне объяснили.

— Как бы не как с Королевым, — напомнил я.

Шеф в ответ буркнул:

— Типун тебе...

Он тоже в голове держал ту историю и многое другое, поэтому сам проследил за тем, чтобы больного покрепче привязали к столу.

По закону подлости ситуация повторилась! Шеф задел крупную артерию, стрельнула кровь под потолок, шеф отдал мне скальпель, я ищу, где пережать артерию, а шеф шипит:

— Рукан, вводи релаксант! Интубируй! Общий наркоз!

Мне удалось перевязать артерию, определить края опухоли и начать ее иссечение в границах здоровых тканей. Но местной анестезии не хватало, больной дергался от боли, его надо было усыпить! В итоге мы с шефом справились, потому что подбежал опытный анестезиолог и все сделал, как надо. А пока больной находился в сознании, шеф его подбадривал и хвалил идиотку: «Молодец, Рукан! Без тебя нам было бы труднее... А сейчас благодаря тебе все идет хорошо и еще лучше... Скажи что-нибудь больному... Ему же совсем не больно. Ведь правда? Совсем-совсем почти не больно... Мужественный мужчина не должен стонать. Потому что боли нет. Наркоз помог. Рукан помогла».

Рукан держалась за стол, чтобы не упасть, на марлевую повязку на ее лице текли слезы, окрашенные краской для ресниц, и все-таки рухнула на пол! Анестезиолог, продолжая свою работу, одновременно пытался привести таджичку в чувство: иногда

руками (пощечинами), иногда даже ногами, пока медсестра не уволокла ее из операционной. Шеф, ассистируя мне, не прекращал, однако, славословить дуру, хотя той здесь уже не было, а больной спал и ничего не мог слышать.

Я благополучно удалил опухоль. Успеху операции помогло то, что в ответственный момент пациенту, восточному человеку, удалось частично заглушить боль, пока он не погрузился в глубокий наркоз. Героем операции был я, но шеф таджикскому начальнику представил дело так, что будто бы лучше всех проявила себя его соотечественница. Для чего? Для того, чтобы на родине сохранялась ее репутация? Ведь благодаря ей, а не только рекомендациям Эмомали к нам поступали богатые пациенты. И конечно, шеф старался, чтобы Рукан не упала духом после своего провала.

С целью пригасить мое негодование, а также желая загладить собственную вину, шеф развернул аргументацию:

— Дура-то она дура, что грохнулась в обморок. Но тебе должно быть известно, что мужчина в каждую эякуляцию выбрасывает десятки миллионов сперматозоидов, а у женщины всего одна драгоценная яйцеклетка в месяц. Вот над ней женский организм и трясется. Еще ты должен знать, что при стрессе усиливается кровоснабжение жизненно важных органов, а у самок к таковым, кроме сердца, печени, почек и мозга, относится также половая система. Тогда как для самцов эта система жизненно важной не является. Оттого мужчины в экстренных ситуациях умнеют, становятся предприимчивее — кровь идет в голову, — но импотентнее, а женщины, наоборот, еще больше глупеют. Вот в прежние времена дамы часто и падали в обмороки, поскольку кровь при всяких потрясениях перераспределяется от головы в более важные женские места. Дамы на балах лишались чувств, когда в зал входил известный обольститель вроде Казановы или Мирабо. Но сегодня все поменялось: мужчины стали женственней, а женщины мужественней. Спроси Сергея, его дамы, когда он их обнимает за талию, падают? На такое сегодня способны, пожалуй, только восточные женщины.

— А наши, выходит, уже не совсем женщины? — спросил я.

Профессор не ответил, но я понял, что яйцеклетка таджички для него ценней ее профессиональной компетенции. Из гонорара он уделил, как всегда, анестезиологу и медсестрам, но также и Рукан. Возможно, поделился со своим коллегой в Душанбе. Наконец предложил крупную сумму мне, и я на этот раз от денег не отказался — было за что.

— Вот и правильно. Хватит строить «ц», — похвалил меня шеф.

«Строить «ц» — профессор в разговоре с подчиненными редко употреблял подобные выражения, а у меня действительно возникло ощущение, что я потерял невинность. Также меня злило восхваление и возвышение несчастной дуры. Не выдержав, я высказал ей все, что у меня накопилось:

— Думаешь, за то, чем ты с шефом занимаешься в постели, тебя можно пускать в операционную? Из-за тебя уже была одна смерть, а сколько могло бы быть, если б мы не страховали?! И сколько еще таких несчастий будет?! Была б красавицей... Тебе же надо каждое утро подходить к зеркалу и повторять: «Я идиотка, я уродка, я идиотка, я уродка!»

Рукан покраснела, зашмыгала курносым носом, и по ее детскому лицу покатались слезы, окрашенные черной краской. Она закрыла глаза и шептала молитву на своем языке (или, может быть, на арабском).

Конфликт у нас происходил без свидетелей, и, судя по всему, Рукан не пожаловалась на меня. Однако я чувствовал, что психологически она на грани срыва. Я же злился на себя за то, что не сдержался.

Однажды, проходя мимо ординаторской, я услышал пение. Я приоткрыл дверь и увидел, что Рукан сидит одна за столом, опустила голову в белой медицинской шапочке, закрывшей половину лица, и напевает что-то печальное. Меня она не увидела, я прикрыл дверь и стоял в коридоре, слушая пение на непонятном языке. О чем она пела? Скорее всего, о любви в духе персидской поэзии. О том, как между юной принцессой и отважным принцем вспыхнула любовь, но влюбленных разлучили. Принцесса льет слезы о нем, а он грезит о ней и сравнивает свою возлюбленную с розой. Голубь приносит ей вести о нем, соловей поет им друг о друге, их разделяют вражда властителей царств, моря и горы, но любовь побеждает все преграды. Такую песню могли петь гаремные затворницы, растратившие молодость в гаремных интригах и в уходе за своим телом в ожидании редких ласк повелителя-мужа.

Рукан говорила, что жена вправе подать на развод, когда общение с мужем сократилось до полугодового перерыва. Но ее саму в гарем-«харим» бы не взяли, потому что она не «секс-бомба», как разразился Сергей. Для нашей медицинской работы Рукан тоже мало подходила, потому что негодный врач и слабонервная. Но все вместе вызывает жалость. Оба профессора называли ее «симпатичной»: наверное, для старичков такой полуребенок — самое то. А поддерживает ее детскую душу не чужая жалость, но священная книга, цитаты из которой кажутся примитивными, как сама малоразвитая таджичка. Действительно, что ли, главное в Коране находится между строк — как в абстрактном мусуль-



манском искусстве, и его тайна «подобна женщине под покрывалом, а тому, кто решится его приподнять, она говорит: «Я не то, что ты ищешь»?»

Однако моя унижающая и унижительная выходка — не симптом ли того, что с этой жалкой дуры во мне забродил эротический коктейль: тот, что напругает склерозированные сосуды стариков? В итоге во мне тоже что-то напряглось, но другое. Прежде я привык к тому, что брать деньги с больных — это как брать деньги «за любовь». Потому что к тебе обратились за помощью — ты ее оказал (тебя этому обучили), и разве недостаточно удовлетворения, которое получаешь, вылечив больного? Но теперь я ожесточился и стал брать с оперированных больных вровень с моим профессором членом-корреспондентом. За это себя презираю, хотя едва не половину отдаю анестезиологам и медсестрам. Шеф, который в курсе всего, встретив меня однажды с сумкой подношений, улыбнулся и сказал, как всегда, с подковыркой:

— Ты у нас как персидский кот, белый и пушистый. Но в темноте все кошки серы.

Он вспомнил про персидских кошек из-за таджички?

Раньше на вопрос родственников больных, прооперированных мною: «Как вас благодарить?» — я отвечал: «Через профессора, заведующего кафедрой». Теперь же без церемоний называю сумму и прибавляю: «Знаете, сколько стоит такая операция в США?» Иногда слышу в ответ, что в Германии или в Израиле — в полтора раза дешевле. Изредка дают больше, чем запрашиваю, и шутят: «Лечиться даром — даром лечиться». До операции, при первом осмотре, слышу: «Мы вас поблагодарим» или замысловатое: «Нашим отношениям надо дать “зеленый свет”». («Зелеными», или «гриннами», как известно, называют доллары.) Всего за полгода я собрал приличную коллекцию коньяков. Не уверен, что стану когда-нибудь знатоком этого элитного напитка, поскольку при разнообразии этикеток содержимое бутылок кажется мне той же водкой, только подкрашенной жженым сахаром с добавлением ароматизатора. Зато теперь есть что дарить друзьям и знакомым.

Рукан вскоре ушла от нас и устроилась в другую больницу: все ж чему-то она у нас научилась. На ее место приехали из Душанбе два сообразительных парня, хирург и анестезиолог. Привезли с собой семьи — не знаю, как уж они устроились с жильем. Зато Рукан купила себе однокомнатную квартиру: «Аллах помог!» Теперь у нее есть «Ж» — условие жизненного благополучия. Выходит, что религиозная вера и женская природа важнее профессиональной состоятельности.

Шеф однажды вспомнил слова вождя: «Хороших врачей больные прокормят, а плохие нам не нужны». Так товарищ Сталин ответил наркому здравоохранения Семашко, когда тот посетовал на низкие зарплаты врачей. Сталин по рождению и по семинарскому образованию был православным христианином, но по крови все же — азиат (как об этом упомянули профессора при разговоре в Душанбе и тогда еще прибавили, что «Азия всегда побеждает»). Поэтому Сталину как азиату не хватало мудрых сдерживающих мусульманских правил жизни. Их каким-то образом богословы вывели из Корана, хотя отрывки из него — те, что приходилось слышать, — не впечатляли. Действительно, что ли, Коран нельзя и не надо понимать?

Брать деньги с больных, не уплатив налог, конечно, противозаконно. За границей за это сажают в тюрьму, поскольку там налоги с граждан формируют бюджет. У нас же бюджет покрывается за счет экспорта нефти с газом, и уж на нефтянку и на охранников всей страны валюты хватит. Наши налоги — головная боль, предприниматели платят их Кипру, Гонконгу или другим офшорам, где налог четыре процента. Так что для врача эта ситуация плоха преимущественно в моральном плане, поскольку брать деньги с больных — неприятно и порочно. Однако этим не грешат лишь те, перед кем соблазн не возникает. У нас и по закону допустимы подарки официальным лицам до ста долларов, а судебные дела заводят начиная обычно лишь с пяти тысяч, что считается взяткой в крупных размерах. Мой профессор член-корреспондент берет, но из этих денег для пользы дела дает. И я тоже когда-нибудь дам — или «крыше», о которой рассказывал Сергей, или правоохранительным органам. Причем бандитская помощь, как говорят, обходится дешевле.

Что хуже: брать или давать? Какая религия лучше разрешает этот моральный вопрос? Сейчас я склонен согласиться с тем, что религия Корана ближе природе человека, чем христианство. Например, через исповедь и покаяние в христианстве как бы отменяется грех. Однако в человеке же есть совесть! Разве грешник не должен всегда сознавать свой проступок?! Разве можно лишать человека ответственности? Отмена совести в христианстве — вроде «восстановления невинности»... Зато в исламе «отпущения грехов» нет, и, оставляя согрешившего мучиться сознанием своего греха, по-моему, утверждается лучшее, что есть в человеке. Вообще, та религия «трезвее» не только из-за запрета на алкоголь. Милосердие там можно проявлять открыто, а не так, «чтобы левая рука не знала, что делает правая». Когда я не брал «благодарностей», я выглядел евангельским праведником (шеф иронизировал),

тем более что таковым себя не считал, так как этим оказывал давление на шефа. Кстати, и христианские святые, насколько известно, тоже часто заявляли себя грешниками. Не думаю, что они всегда лицемерили. Возможно, они видели в своей праведности форму самоутверждения, на мучения шли из-за боязни «потерять лицо». Про Франциска Ассизского я читал в медицинской литературе, что он был типичным мазохистом, когда молился о том, чтобы пережить те же страдания, которые испытал Иисус Христос.

И еще мне представляется, что из христианства можно перейти в другую религию, а из мусульманства нельзя. Причину такой разницы я не могу сформулировать: мое знакомство с исламом ограничено тем, что я узнал из разговоров в Душанбе и от малоразвитой таджички. Для нее ислам — райский сад с соловьями и розами, то есть исключительно эмоциональное представление. Странное имя Рукан созвучно «руке». «Руке Бога»? Я стал задумываться на моральные и религиозные темы, при этом мое сознание сдвинулось куда-то вверх и вбок — неужели к мусульманству? Не для того ли Эмомали прислал к нам эту дуру? Азия всегда побеждает? Ангел явился в глупом курносом лице? Хотя чему удивляться? Ка-

кие мы сами, такие к нам и посланники. Свыше ли, «сниже», но других мы не заслужили.

Кажется, шеф тоже заинтересовался религиозной проблематикой. Однажды он упомянул о некоей благодати, помогающей спасать больных, и о том, что посредниками ей служат любые религии, поскольку «земные перегородки до небес не доходят». Потом еще кого-то процитировал, что «католицизм представляет человека дураком, православие — мерзавцем, а ислам — скотом».

А мы и есть «скоты». Причем дурак может поумнеть, мерзавец — исправиться, а скот — состояние неизменяемое. Хотя мы еще и дураки, и негодяи тоже. Но осознание этого — подобно хронической инфекции, поддерживающей иммунитет, — не проявление ли того, что называется совестью? И в чем тут каяться?

— Твою защиту проведем этой осенью. У тебя же все готово, — сказал мне шеф.

Он долго держал у себя мою работу, будто бы читал, и сейчас решил, что все готово. Но теперь я больше думаю не о том, что наконец приблизился к цели, к которой стремился, а о том, что «надперегородочная» благодать, похоже, снизошла на нас обоих.



Окончание. Начало в № 4, 5 за 2011 г.



©Дудякова Анна, 2011 г.

ПОВЕСТЬ

Часть 3

Глава 1

А пока кроилась ее жизнь, продолжала существовать и жизнь другая. И в этой, другой жизни, все было по-прежнему: посиделки и долгие чаепития у тети Лиды, привязчивые Валеркины глаза, изучающие ее сквозь постепенно опадающие наплывы синяков, наградными знаками полученные в боевой схватке.

Правда, давно это было, еще до ее болезни. Потом Арья успела столько всего пережить, что, казалось, и жизнь ее стала другой, и сама она тоже

другая, и встретятся они теперь с Валеркой чужими, далекими людьми.

Вспоминала она в полубреду улыбку Валеркину, лицо его с глазами сострадающими. И все казалось, как ветка хрустнет — дверь его рукой вышибится, склонит он над ней лицо свое:

— Что же ты, Арья, болеть вздумала? Вот только недосмотри за тобой! Из-за тебя мне самому и поболеть-то некогда!

Болтает будто Валерка, смешить ее пытается, а у самого жалость в глазах, сострадание, как тогда, когда она в лагере ногу подвернула. А родители кучкой тусклой у дверей жмутся, непонятно им, невдомек, как же так любить-то, жалеть-то друг друга можно. И отступают они в сердечном смятении, сраженные невиданной силой Валеркиной любви. Отступают, стыдясь. Потому как только такая любовь — Валеркина, братская, забывающая саму себя, — и имеет право на существование!

Но прошла ее болезнь, и не дернулась ручка двери, и никто не расшаркался с вежливой миной перед родителями. И думала уже Арька, мыслей своих в душе сторонясь, что забыл ее Валерка, со всей своей бескорыстной братской любовью, забыл. Выпала Арька из поля его жизни, чай с ними не пьет — и чего же тогда и вспоминать-то ее теперь?

И когда шла она к ним, восстав, как из руин, из болезни, — звоночки нехорошие в душе ее перезвонивали. Как встретят ее там, в этом доме, из-за которого покатылся клубок и ее радостей, и ее проблем?

Но дернулась, чуть не опрокинув чашку, сестренка, а мать, тетя Лида, сидящая к ней спиной, замахнулась было для затрещины, но, обернув сердитое лицо, вся разошлась в улыбку:

— Аричка! Наконец-то! А мы уж думали — забыла нас совсем! Чем уж мы тебя так обидели?

И висела уже болтающимся кулем у нее на шее сестренка, и хлопотала веселая тетя Лида. И Арька, оттаяв уже, обводила вопросительным взглядом комнату, и тетя Лида, мгновенно поняв, кивнула:

— Да придет скоро, придет. Увидитесь!

И снова заиграли между ними теплые волны, и сидела Арька рядом с посветлевшей тетей Лидой, ощущая себя прибывшим на побывку жданным-желанным солдатом.

А тетя Лида, не сводя глаз, все подпирала рукой голову, все ахала, каждый раз находя новый повод для сочувствия.

— А исхудала-то вся! Бледненькая совсем, сильно, видать, скрутила тебя болезнь эта. Да ты ешь давай, ешь, восстанавливай силы.

И сидела Арька, наслаждаясь душой, нажимая на тети-Лидино угощение, — словно наконец-то брала она оптом за всю свою незаласканную болезнь, за нехватку этого доброго, жалостливого, охающего.

— Ну а... Валерка-то? — не выдержала снова. Перелопатив с тетей Лидой все новости, они уже уселись с сестренкой, рассыпав по столу фишки.

— Да придет! — снова отмахнулась та. — Знаешь ведь, дел у него... А по тебе он скучал... — и что-то заговорщицкое, словно погладившее Арьку по сердцу, проскочило в ее голосе. — Знал бы сейчас, что

ты здесь, на крыльях бы прилетел! Ну ничего, хоть с нами посидишь...

— А я уже — и лечу! — вдруг с разбега врезался в их разговор голос.

Арька обернулась.

На пороге стоял Валерка. Стоял, смотрел на нее и во весь рот улыбался. И столько было в нем всего нового... Был он весь какой-то зимний, повзрослевший...

— Арька, — сказал он, стягивая с головы с ореолом снежной пыльцы шапку. — Арька...

— Да Арька это, Арька! — весело глянула на него тетя Лида. — Совсем ты, видать, от счастья обалдел! — Она отобрала у него шапку и подтолкнула ближе к столу. — Садись, давай чай пить, а то мне уходить скоро.

Потом уже, когда тетя Лида ушла, а сестренка легла спать, сидели они вдвоем, как раньше сидели. И Арька все думала: что же такого нового появилось в Валерке? Она глядела на него, немножко отстранясь, пытаясь понять — нравится ли ей этот, другой, новый? Только почему-то жаль было того — прежнего милого лопушка: полуробенка-полубратика, со смешно оттопыренными ушами, которые прикрывались сейчас уже отросшими кудрями. Этот новый напоминал ей незнакомца с уже приобретшей что-то без нее душой.

— А ты... другая, — вдруг сказал Валерка и поглядел на нее сбоку каким-то незнакомым, словно из-учающим взглядом.

— Я? — удивилась Арька. Уж она-то точно знала, кто здесь — другой. — Какая же это, интересно, я — другая?

— Не знаю, — пожал Валерка плечами. — Новая какая-то. Взрослая. Я такую даже боюсь.

— Хорошо, что боишься, — усмехнулась и не удержалась: — А мне кажется, это ты другой.

— Я? Другой? — словно услышал он в Арькиных словах упрек. — Какой же это я — другой?

— Не знаю... — чуть качнула головой Арька. — Просто ты стал меньше походить на прежнего Валерку. И больше — на всех рано взрослеющих мальчишек.

— И что? Я такой тебе... Не нравлюсь? — сделав паузу, осторожно посмотрел он.

— Не знаю, — пожала Арька плечами. — Просто, наверное, мне не хватает прежнего Валерки. — Нотка грусти все-таки проскочила.

— Но я тот же, Арька! Поверь! Для тебя я всегда тот же!

— Да, наверное, — отозвалась Арька, думая о чем-то. — Наверное, по-другому нельзя — все взрослеют.



©Дудякова Анна, 2011г.

— Просто ты, Арья, не видишь собственного повзросления! А ты ведь тоже стала совсем другая. — Валерка хотел было, как раньше, взять ее за палец и почему-то не смог. Но все-таки пододвинул руку к ее, лежащей на спинке дивана.

— Но ты не расстраивайся, я тебя и такую любить буду! — улыбнулся он и добавил поспешно: — Только ты лучше все же не взрослей, Арья! Просто нам нельзя расставаться надолго. А мы не виделись с тобой... Больше месяца! — он все-таки решился и, еще немного пододвинув руку, коснулся Аркиного пальца.

— Да! Больше! — кивнула Арья и почувствовала, как подкатил изнутри ком обиды. — Почти месяц я болела, и ты... Ты ни разу не зашел меня навестить! — и она отодвинула свою ладонь от его руки.

— Я? Это я-то не зашел? — оторопело смотрел на нее Валерка. — Да я только и делал, что заходил!

Но Арья, выговорившись наконец, замолчала, и грустная усмешка продолжала кривить ее губы.

— Конечно, заходил! Только я тебя почему-то не видела!

— Говорю: заходил! Много раз заходил! — В глазах Валерки тоже проскочил промельк обиды. — Да только родители твои дальше порога меня не пускали! Каждый раз говорили, как плохо тебе, какая у тебя температура высокая! И что болезнь у тебя заразная и с народом общаться тебе вредно. Понял я — с каким народом!

Арья молчала, словно еще не веря, но что-то стронулось.

— Ты — правда заходил?

— Врать я, что ли, буду? Ну и дуреха ты, Арья! Не такой уж твой Валерка бесчувственный! — попытался он загасить огонек недоверия. — Ну а ириски-то... Ириски-то мои тебе хоть передали? Сам покупал, на свои, можно сказать, честно заработанные. Передали тебе ириски-то мои? Вкусные они были?

Смотрит на него Арья, пытается скрыть улыбку. Нет, не передали ей его ириски. Но главное и не в

них совсем, главное, что заходил, что отаптывал ее лестничную площадку, перекидывал к Арьке любовь свою. И увидела она: все тот же Валерка, тот же самый, ничего-то в нем не изменилось! И рассмеялась она, волосы на его голове привычно разворошив:

— А я-то думаю, чего эти ириски такие сладкие были? А это, оказывается, ты их приносил! Ну спасибо тебе, Валерка, на меня ириски эти лучше всякого лекарства действовали!

Но выныривает Валерка из-под Арькиной ладони.

— Ага, вот и выдала ты себя, Арья: нарочно я закинул про ириски-то эти. Проверить хотел — сильно ты ли изменилась: врать не разучилась? И понял, что напрасно беспокоился — та же ты, Арья, совсем не изменилась! — но увидев ее вспыхнувшие обидой глаза, заторопился снова: — Только ты не думай, ириски-то эти я и в самом деле приносил, да только не взяли их у меня! Родители твои не взяли. Пришлось с расстройства все полкило и съесть — до сих пор в животе липко! — и Валерка снова незаметно пододвинул свою ладонь к Арькиной.

Дрогнули Арькины пальцы, но — не сбежали. И остались их руки, как бы невзначай забытые, лежать на спинке дивана.

Так встретились Арья с Валеркой, словно и не расставались. Ощущения только странные какие-то: сон ли то, что сейчас, или сон — болезнь Арькина, разлука их затянувшаяся. Ведь не могли же они, и в самом деле, такую долгую пережить разлуку...

А пока Арья болела да отношения с родителями выясняла, незаметно кончился старый год, начался новый. Промежутком в две недели уложились зимние каникулы, а там уже и зима на исходе. Нервничают учителя, торопят, зывая к их дремлющей совести. Класс выпускной, не за горами пора экзаменов — «адью, прощай», школа! Засемят по жизни торопливыми ножками твои новые выпускники!

Но пока... А кто думает об этом «пока»? Лишь что-то смутно-тревожное промелькнет во взглядах учителей, жаль им их почему-то. И не торопятся они двойку лишний раз вклеить или совсем уж не по-учительски оплеуху родственную отвесить. Даже в их любимой воинствующей Поликарповне, выходящей к школьному столу как на поле боя, появилось вдруг что-то сиротское. Словно поменялись они местами, и уже не от настроения Поликарповны зависело что-то в их жизнях, а от них самих — что-то в личном жизненном реестре Поликарповны.

Вызвала она как-то Арьку на литературе: вынь да положь ей образ деда Щукаря.

— Что ты скажешь про художественную интерпретацию образа? Отвечай быстро, Арья, мерзавка!

На Поликарповну, несмотря на ее богатый художественный лексикон и конкретное рукоприкладство, они не обижались: сердце у Поликарповны было доброе, предмет свой она любила и их заодно тоже.

— Отвечай быстро, а то двойку влеплю!

— Значит, так, — вздохнула Арья. — Образ деда Щукаря, Валентина Поликарповна, это такой образ...

— Я и без тебя знаю, что образ! Отвечай быстро, Арья, не тани время! Что ты знаешь про образ деда Щукаря?

Арья напрягла свою ослабленную память — не до Щукарей ей было в последнее время, — но единственное, что смогла выцедить:

— У деда Щукаря, Валентина Поликарповна, головка была — тыковкой!

— Ну допустим, тыковкой. Что дальше?

— Ну, тыковкой — это очень много, неспроста это — тыковкой.

— У тебя все?

Сколько ни вспоминала — ничего не вспоминалось.

— Садись, Арья, два! У тебя у самой головка тыковкой!

— Несправедливо, Валентина Поликарповна! — заверещал жадный до впечатлений класс, привыкший к Арькиным выступлениям на литературе. — Вы ее еще что-нибудь спросите!

— Валентина Поликарповна, а можно я — стихами? — пыталась, как могла, Арья реабилитироваться.

— Про деда Щукаря?

— Почти... — и, не дожидаясь, ринулась с ходу в любовную атаку:

После лета, лета жаркого
Мы пришли в девятый класс.
Ах, Валентина Поликарповна!
Здесь мы повстречали — вас!
Мы пришли и вас увидели,
Как заветную мечту.
В этой маленькой обители
Вы вращались, как в аду.

И на ваши ласки нежные
Мы воспитанно молчали.
Где же наши лица свежие?
Мы зачихали и завяли!

По лицам поползли улыбки. Поликарповна, не удержавшись, хмыкнула:

— Зачахли они! Ну, Арья, сейчас ты у меня зачихнешь. И завянешь! У тебя все?

— Еще чуть-чуть:



И одна лишь мысль вращается,
Доводя порой до слез:
Ах, на черепе останется
Сколько считанных волос?

После года, года жаркого
Разойдется дружный класс...
Ах, Валентина Поликарповна!
На кого оставим вас?

Арья закончила читать — класс взорвался аплодисментами.

Поликарповна подождала, пока стихнет гул рукоплесканий.

— Садись, Арья. За стихотворение — пять. А за образ деда Щукаря — два!

— Вы что, Валентина Поликарповна? — снова дружно запротестовал класс, встав на защиту своего гения. — Несправедливо! За что?

— А вот за то! Стихотворения в программе нет, а образ деда Щукаря — есть! Время отнимаешь! Заचाхнешь ты у меня, Арья, на экзамене, нарочно спрощу!

Такие или примерно такие диалоги велись у них на литературе. Да и не только на литературе. Происходило что-то с учителями. Словно сквознячком открытых дверей уже повеяло на них, будто в самом слове «выпускник» таились какие-то особые, магические силы.

Глава 2

Да, время не стояло на месте. Что-то постоянно менялось вокруг.

Взрослели и Арья с Валеркой. Неизменным оставалось только то, что между ними и было, что возникло еще тогда, в лагере, чуть ли не с первой минуты знакомства. А была промеж них та самая любовь-дружба, которая, наверное, потому и называется «братской», что самая она что ни на есть чистая и святая.

Сидела как-то Арья, уже по весне, у Валерки дома, рассматривала его рисунки — нравились они ей. Ведь Валерка и в школу художественную ходил, да только когда это было — во времена далекие, старинные, когда все у него было как надо: и отец, и семья нормальная, и квартира неразменная.

— Эх, Валерка, сколько талантов в тебе пропадает! Другим бы хоть чуточку твоего, хоть бы капельку, как бы человечество обогатилось!

— Вот пристала ты, Арья, с этими талантами, покоя они тебе не дают. Кроме тебя никто их и не видит, — бубнит Валерка, а самому-то приятно, что что-то особенное Арья в нем находит.

— В том-то все и дело. Ответственность на мне какая — потому и бросить тебя не могу с твоими талантами! Если б не они...

— А что, если б не они? — всматривается он в Арьку. — Бросила бы тогда?

Но она продолжает размышлять дальше:

— С меня, может, спросит потом Господь Бог: «Что же ты, Арья, не помогла осуществиться Валеркиным талантам? Одна ты знала им истинную цену!» Вот потому и мучаюсь с тобой! — разгладила она на коленях шарфик, который для него между делом и вязала.

— Да ладно уж, какие у меня такие особенные таланты? За которые Бог тебя спросит? — уже усаживается Валерка поудобней.

— Ну как какие! Рисуешь вот... Художником мог бы стать! По дереву режешь, выжигаешь — вся квартира жженым пропахла! А Катька что сказала? Слух отличный — у тебя же контакт с любым инструментом! Музыкантом бы мог стать! Даже в кулинарии... Какое печенье ты мне недавно спек, даже у тети Лиды такое не получается!

— Правда? Понравилось тебе мое печенье? — довольно щурится Валерка. — Для тебя, между прочим, старался. А главное, заметила, как быстро я его испек — даже рук в тесте не обмарал!

— Говорю же — мастер!

— Конечно! — удовлетворенно смеется Валерка. — Мне это самое курабье готовым в кулинарии продали! Но моя заслуга тоже есть... — довольно смотрит он в Арькины возмущенные глаза. — В духовке-то его я сам лично подогрел!

— Ах ты, врун несчастный! — шутливо замахивается на него Арья. — Всегда я говорила, что врать ты умеешь!

— Врать, Аричка, тоже талант нужен, особенно тебе — ты же сама кого хочешь перевернешь! Кстати, среди талантов ты не назвала одного, можно сказать, самого главного.

— Какого же?

— Сама догадайся! — предвкушающее затаивается Валерка.

— Ах да! Талант заботливого, любящего брата!

— Ну это само собой. Чтобы тебя, Арья, любить, большой талант нужен! С маленьким не справишься!

— Ах так! — дергаются в ее пальцах спицы. — А тебя и никто не просит меня любить! Обойдусь уж как-нибудь!

— Но я, Арья, не этот талант имел в виду!

— И шарф тебе вязать больше не буду! Раз меня так трудно любить! — откладывает Арья в сторону спицы.

— Ну ладно, Арья, не обижайся. — Валерка снова терпеливо раскладывает на ее коленях шарфик. — Ну догадайся, какой еще талант?

— Нету больше никаких!

— А вот и не отгадала! — хитро щурится он. — Самый главный! Талант — гонщика! — и он важно задирает вверх указательный палец.

— Ах гонщика! — снисходительно фыркает Арья.

Но теперь уже вдруг обижается Валерка:

— Говорил же — тебе не понять! Девчонки такое понять не могут! А ты, Арья, хоть и умная, но всего лишь девчонка! Да знаешь ты, что такое скорость? Когда летишь вперед, а ветер в ушах и... и... — Валерке не хватало слов. — Всегда я знал, что девчонкам этого не понять. А ты — самая обыкновенная...

— Обыкновенная? — смотрит на него Арья. — Обыкновенная, да? Ну и ладно! — И, решительно отложив шарф, она поднимается с дивана.

— Да ладно, я и такую потерплю! — хватается за рукав Валерка, поняв, что перехватил. — Мне и такая подойдет. Достаточно того, что я и сам — необыкновенный!

— Нет уж, ищи себе необыкновенную! — фыркает Арья, хоть и позволяет усадить себя на диван. — Вот довяжу тебе этот шарфик, раз обещала — и все. Можешь искать себе необыкновенную!

Арья, хоть и ворчит, изображая обиду, про себя начинает обмозговывать Валеркины слова — по поводу его мечты. И приходит к выводу, что, наверное, стоит все же отнестись более уважительно: мечта есть мечта.

— Послушай, Валерка, если уж ты так любишь скорость, может, тебе в космонавты пойти? Там такая скорость...

— Нет, в космонавты не могу, — мотает головой Валерка. — Достаточно того, что я и так — Гагарин. А то что получится? Пошлют меня, например, в космос, а какие-нибудь инопланетяне скажут: «Что у вас там — одни Гагарины, что ли, в космос летают? Других, что ли, нету?» К тому же и еще есть одна причина... — тянет он интригующе.

— Ну и какая же? — ловится на крючок Арья.

— Ну улечу, допустим, я туда, и придется мне в этом космосе, к примеру, остаться. Я бы, конечно, и там не пропал — нашел с кем жить, в космосе всяких хватает. Но вот только такой, как Арья, — там нет! Потому как одна она такая — на целом белом свете — необыкновенная! И зачем тогда этот космос без Арьи моей необыкновенной? Не нужен мне космос этот!

Так сидят они и болтают, и часто воркующими ставала их тетя Лида.

Тепло им было вместе, и радостно, и уютно, и казалось, конца не будет душевным посиделкам, и болтовне их веселой конца не будет.

Но стало вдруг потихоньку что-то происходить: придет Арья, а Валерки нет. Ждет она, ждет, все за-

дачки с сестренкой перерешает, по пять чашек чая опрокинут, и уже сидит она егозливо, с тетей Лидой вопросами немymi перекидывается. А место его за столом пусто, и тянет холодом с места его. И тянет Арья минуты свои, шапку в коридоре мнет, невидимые пылинки с нее сдувая:

— Ну ладно, пойду я, пойду.

Как вдруг дверь — хлопком:

— Арья! Не ушла еще! Молодец! А я всю дорогу бежал, думал — не застаю!

И сразу — гора с плеч! И вопросы разные: «Где был? С кем? Что делал?» — сами собой, как шелуха, отваливаются. И уже неважно Арье — где, с кем, а важно, что спешил, что пришел, что макушка его отросшая опять под ее рукой приручается. Ну что поделать — не удержишь, ветер это, шальной разгуляй-ветер! Разве можно удержать ветер, направление ему дать?

И пришла раз Арья — нет Валерки и вообще никого нет, вся квартира на замок закрыта. А на площадке — Коля махровый, сосед по подъезду, в сигаретном дыму плавая, на Арьку поглядывает, гитару тупыми пальцами теребя. Выжидая с ехидной усмешкой, как проскочит она мимо серенькой пугливой мышкой.

И действительно, проходя каждый раз мимо, Арья пыталась унять неприятный холодок, отцепляя от себя прилипчивый Колин взгляд. А Коля, доморощенную пичужку в ней чувствуя, так сзади и подсвистывает. И противно Арье от этого, противно, что считает он ее трусихой, и ничего поделать она с собой не может, ноги сами проносятся мимо. И пытается она только понять, что общего между Валеркой ее и Колей этим, еще за десять поколений в роду шарханутым.

Вот и сейчас: нажимает Арья кнопку звонка, а спиной чувствует Колин взгляд. Нажимает и думает: «Ну хоть бы кто-нибудь открыл, хоть бы кто-нибудь, только бы не поворачиваться к нему лицом».

Но молчала, испытывая ее терпение, дверь, подвывая запертым изнутри соседским щенком. И поняла Арья, что придется... Один на один. С глазу на глаз.

И развернувшись, уже собравшись было выскочить из подъезда, она вдруг... неожиданно для себя решила: «А, будь что будет, сколько можно от Коли этого бегать? Общается же Валерка с ним, почему бы и мне, с моим дипломатическим умом, не попробовать? Не попытаться понять — почему он Валерку-то так привлекает? Может, тогда и мне понять его проще будет?»

Пытаясь показать, что насколько-то она не боится, улыбнулась ему Арья:



— Здравствуйте, Коля. Вы случайно не знаете, где Валера?

Коля, только что вознамерившийся было выпустить свою трель, замер от неожиданности.

— Вале-е-ерий? — булькнул он в нее Валеркиным именем. — Не знаем-с. — Ожидал он, что она и сейчас, как обычно, повернется к нему спиной.

Но Арья не поворачивалась, не уходила. Стояла рядом и, казалось, чего-то ждала.

— Эй, вы, — крикнул он куда-то вверх. — Тут Валерием интересуются.

Откуда-то вдруг взялись девочки в коротеньких юбочках из гладкой псевдокожи. Девочки кривили пальчиками, покручивая в руках сигаретки, коротко и отрывисто смеялись, сбрасывая пепел на пол. И, казалось, все у них такое же короткое, как юбочки их и дерганные пряди волос. Девочки и сами были какие-то кривые, они словно все время нуждались в подпорке, облачаясь то на Колю, то на перила, капризно надувая губки. На Арьку они взглянули с интересом чуть большим, чем на кончики своих сигарет.

— Это, между прочим, Валеркина боевая подруга, — пыхнул сигареткой Коля, — борющаяся, так сказать, за светлое начало в нем.

Арьке показалось, что при этих словах одна из девочек взглянула на нее с чуть большим интересом.

— А ты, Стася, как юбочкой ни крути, как ножки выше головы ни задирай, а дальше порога тебя все равно не пустят, и не рассчитывай!

Девочка, которую Коля назвал Стасей, еще раз стрельнула в Арьку взглядом и безразлично отвернулась к окну.

— Ну ладно, не надувай губки, ты у нас и так птичка что надо, — успокоил ее Коля. — Так что вот, принцесса, не знаем, куда твой принц поскакал.

— Да за сигаретами он в магазин побежал, скоро придет, — чуть дернула накрашенными губками, не поворачивая головы, Стася.

— Ну вот, оказывается, принц за сигаретами побежал! Так что... — Коля метнул взгляд в Арьку. — Предложить подождать не осмеливаюсь.

Но говорит Арья с вызовом, и громом звучат для нее ее же слова:

— А что, Коля, если я здесь, рядом посижу, обожду, не возражаете?

Смотрит Коля на Арьку, словно не понимает, но вдруг его как на батуте подбросило:

— Конечно, пожалуйста, только грязно тут, да вот газетка...

И откуда столько галантности, джентльменства — и сам не ожидал, а только хочется ему почему-то, чтобы не передумала Арья, хоть минуточку да посидела рядом, и ненависть вся, злоба куда-то вмиг улетучились.

— Ну что спеть тебе, принцесса?

Но вдруг откуда ни возьмись — Валерка, сигаретной пачкой в руке помахивает, увидел Арьку — остолбенел. И за руку ее без слов — в квартиру, потом — в комнату:

— Ты что, Арья, здесь делаешь? Нашла где сидеть! Не место тебе там!

А у Арьи от удивления — глаза из орбит:

— Ты что — учить меня будешь? Брат, называется, младший!

— А вот то, чтобы я в этой компании тебя больше не видел! Не для таких, как ты, компании эти!

— Да кто ты такой, чтобы мне выговаривать? — смех возмущение перебивает.

— Сказал тебе, Арья, увижу еще раз, так и знай — поссоримся! Не знаешь ты еще, что это за тип! Как он к девушкам, к женщинам относится! Не заметишь, как под его влияние попадешь!

— Ой-ой, — смеется Арья. — А мне он показался вежливым, песни пел.

— Он тебе споет! Вежливый, значит, ну-ну... — хмыкает Валерка. — Это он только пока — вежливый!

А Арья Валерке — про девочку эту, сигареткой стреляющую:

— А что это она при имени твоём все дергалась, на меня как-то странно посматривала? Кто эта Стася? Уж не сестренка ли твоя новая, а, Валерка?

Но смотрит на нее Валерка, в глазах — усмешка скользкая:

— И какая ж ты, Арья, глупая бываешь! Говорил я тебе сто раз и повторю снова: есть девочки, и есть Арья! Неужели понять ты не можешь, дылда великовозрастная?

Но не так просто Арьку сбить. И хоть чай они уже попили, и на диван она снова уселась с вязанием...

— За меня-то ты, Валерка, напрасно беспокоишься. А вот сам... Смотри, вляпаешься опять, да поздно будет! Все потеряешь и меня потеряешь, хоть, может, и не пожалеешь даже! Доведут тебя девочки эти, Коли разные, компании...

А Валерка ладонь Арькину с вязанием перехватывает:

— Не говори ерунду, Арья! Да ни одна из них, девочек этих, мизинца Арьи моей не стоит, одна ты у меня, сестренка разлюбимая, единственная!

— Да не о том я, Валерка, не о том! — морщится Арья досадливо. — Все равно мне, что у тебя с девочками этими — твое это дело, личное. А только сердце каждый раз обрывается, когда ты пропадаешь! Так и кажется, что случится с тобой что-то! Знала я раньше, что есть оно — сердце, да не знала, что болеть оно может.

Ругает его так Арья, разругивает, а он будто и не слышит.



©Дудякова Анна, 2011г.



— Солнышко ты мое, Арья. Вот не пойму — и ру-
гаешь ты меня вроде, а тепло возле тебя, как возле
печки какой. Другие и слова хорошие находят — а
холод от них, как от статуй каменных. Ты, главное,
помни: пока ты рядом — со мной ничего не слу-
чится! А девочки эти так — до порога! В жизни не
увидишь, чтобы даже в комнату одну из них пустил!
Потому как есть девочки — и есть Арья! И Арья —
это святое! Помни об этом!

Глава 3

Да, казалось Арьке, что не будет конца их домаш-
ним посиделкам и болтовне их душевной конца не
будет. Но что-то стало происходить. Внешне все ка-
залось по-прежнему: долгие чаепития, и смех, и за-
тянувшиеся прощания в прихожей...

Но все чаще Валеркино место за столом оказы-
валось пустым, и Арья напрасно вздрагивала на
каждый выстрел входной двери. И все чаще отво-
дила глаза тетя Лида, а он, если и влетал порой, за-
став Арьку в прихожей, уже не вспархивал радостно,
впопыхах комкая шапку: «Арья, не ушла еще? Вот
хорошо, что я тебя застал!»

Хотя, казалось, был он все тот же, так же шел ее
проводить, только разговор их, прежде такой ра-
достный, почему-то не клеился. Тянулась скукотой
дорога, и торопились они скорей расстаться, словно
не находили друг для друга прежних слов.

Конечно, понимала Арья, и раньше понимала:
какой бы кротостью он ее ни опутывал, только она
за порог — другая жизнь у него начинается, другая,
и никто удержать его не способен. Ни мать, тетя
Лида, работой задерганная, ни друзья из «Товари-
ща», ни Борисов. Но — приходила Арья, и жизни
другой будто не существовало, лишь в глазах у Ва-
лерки вспыхивали порой нехорошие огоньки. И тог-
да Арья не узнавала его: что-то происходило в нем,
непонятное, чужое.

И вот идет он ее проводить, тянется следом, и
словно нет между ними ничего прежнего. Вроде и
тот же он, Валерка, да не тот. Глаза у него невеселые,
нехорошие, не Валеркины. Усталость в них и тоска
собачья. И хочется Арьке, как прежде, ляпнуть что-
нибудь, за руку его взять, по головке легонько погла-
дить, «маленьким» обозвать. Да только — как дотро-
нешься? Не человек рядом — провод электрический,
гудит — аж слышно, дотронешься — током ударит.

Глядит на него Арья и понимает, что любит его
по-прежнему, провод этот, Валерку этого, да в душу
к нему лезть не может, не имеет право. Да и не хо-
чется почему-то. А только все жальче его становится:
чем больше он такой — молчаливый, грубый, не-
внимательный, — тем почему-то его жальче.

А он даже шутку какую из губ выдавить не мо-
жет, слово человеческое, ласковое — будто и не
Арья рядом, будто и не сиживали они часами на-
пролет, от смеха давясь, друг дружку с полуслова
понимая.

И немого ему ей становится от провода этого,
рядом гудящего. Зачем тогда все — и Арья тогда
зачем? И хочется ей растормошить его, крикнуть,
даже ударить, только чтобы снова он стал живым,
прежним.

Но вместо этого... Говорит она, узкую лодочку
ему в ладонь сует:

— До свидания, Валера, видно, нечего тебе мне
сказать. Другая жизнь у тебя началась, другая! — а
сама глазами огромными, болящими в душу ему
смотрит, словно просит: «Ну скажи, что это неправ-
да! Что все у нас хорошо, что все как раньше, по-
прежнему!»

Но взглядом он в сторону жмет, мертвое тело
асфальта царапая.

И от вида этого, столба окаянного, прорвало ее
словно:

— Значит, и вправду сказать тебе нечего? — и гор-
лом разорванным, еще пытаюсь себя удержать: — Ну
и ладно, раз так! И — прощай!

Не нужны ему слова ее, да и сама она, похоже,
ему больше не нужна!

Передернулся Валерка, плечами ей вслед повел и
пошел, сжавшись. И уже сделав несколько торопли-
вых шагов, обернулся:

— Думать можешь все что хочешь! Но помни, что
я тебе сказал: бросишь меня... В общем, сама зна-
ешь! — и, сгорбтившись, побежал трусцой, оста-
вив за своей спиной Арьку со всей ее невозможной
болью.

И — отрезало что-то у нее внутри. Не нужна она ему
больше, не нужна. Не перетянет она его насильно!
Тянет к себе его тот, другой мир, всею своей, неведомой
Арьке, жаровой страстью тянет. И получается,
что она, Арья, как клуша какая, стоит, руки-крылья
растопырив, вхохчет ему: туда нельзя, сюда нель-
зя! А он через нее, через крылышки ее хлопчущие —
из того мира в этот перескакивает, ее саму трещиной
пополам разделив. И перестает понимать Арья — а
сама-то она в каком?

Пока теплый, веселый Валерка — значит, здесь
он, с ними, с ней, а как холодом от него потянуло —
значит, снова туда перескочил. А она для него — как
перекидной мостик. И бегаем мы через нее: туда-сю-
да, да только теперь уже больше туда, получается.

И поняла Арья — не победила она в схватке этой.
Человеческие силы у нее, не небесные. И значит —
кончена ее миссия по спасению Валерки. И сама она

на этом кончилась. И твердо решила Арья — не ходить к ним больше! Не ходить!

И не пошла. И день не пошла, и второй не пошла, и третий тоже не пошла. А на четвертый... Вихрем взвилась, птицей полетела!

До смерти захотелось вдруг посидеть за круглым столом, лица их увидеть, тети-Лидину радостную заполошность ощутить. И его, пусть такого, нерастойкого, горького, но увидеть. Взглянуть просто, убедиться, что жив. Больше-то ведь ей ничего и не надо!

Летела она, ног под собой не чувствуя, будоража шагами веселые собачьи переулки. Выстрелом хлопнула коридорная дверь, и сквозь тесноту вешалок — к дверям комнаты. И радостным рывком ее — нараспашку!

Все по-прежнему было в знакомой до боли комнате. Сверкали праздничным блеском нарядные тети-Лидины чашки. Светился экран телевизора, а чашек на столе, как обычно, было четыре. И маленьких чайных ложечек тоже четыре. Да, все, все по-прежнему в светлой тети-Лидиной комнате, и она так же радостно хлопотала, ухаживая за гостьей.

Только на ее, на Аркином месте... сидела другая. И она, эта другая, сидела прочно, по-хозяйски, словно пришла сюда навсегда. Ее розовые коленки, уложенные одна на другую, матово светились, выглядывая из-под стола. Она закидывала голову, заходясь в смехе, а ее мелкие крашеные буколки подрагивали от смеха.

А человек, который ее так смешил, сидел к Арье спиной. Но даже и по спине этой было видно, как ему весело! И человек этот был...

Девочку Арья тоже узнала сразу. Коля называл ее — Стася, это она тогда кривилась, комкая в губах сигаретку.

Арья еще ничего не успела понять, ничего сообразить, лишь передернулась вся: от смеха этого, буколек крашеных, от чашек четырех на столе, хлопот тети-Лидиных услужливых. От спины этой, напротив.

А тетя Лида ойкнула протяжно, чайник на стол обронив:

— Аричка, наша Аричка пришла! Ты где пропадала? Проходи, садись, я достану тебе чашку, — и захлопотала с какой-то, как показалось Арье, уж слишком избыточной радостью.

А сестренка рванулась со стула и вжалась в Аркины колени и в уже зацелованной поспешности тянула за руку:

— Проходи, проходи! Скорей садись, будем чай пить! — словно боялась она, что Арья уйдет.

Но Арья стояла, как вкопанная, твердя придурковато:

— Я на минуту, всего на минуту, просто проходила мимо, так что... — кривилась она, исходя вежливостью.

Арья видела, как дрогнула спина, но лица она не видела, просто не могла видеть.

— Я... правда спешу! — и, мягко отодвинув сестренку, уже почти на ходу крикнула, вышибая дверь: — Извините!

— Арья! — услышала она за спиной. — Подожди, Арья!

Дернулся следом голос, и дрогнул пол под ее ногами, прежней Валеркиной нежностью дрогнул. И уже поймал он ее было, схватив за рукав прошемевшего ливнем плаща, но...

Хлопнула только, со звоном спружинив ему в лицо, безразличная худая дверь.

Арья неслась, ничего не видя, не замечая вокруг, по тому самому проспекту, где, спасая Валерку, заламывала когда-то руки.

— Арья, стой, все равно догоню!

Валерка бежал следом, что-то кричал, но она не слышала. Бежала с одной мыслью — убежать подальше и от этого голоса, и от него самого, чтобы только не приблизился, не смог заглянуть в ее глаза.

— Стой, Арья, подождать ты можешь или нет?!

Валерка стоял перед ней, держа ее за рукав плаща.

— Ну и бежать ты мастерица! Вот драпанула! — пытался он отдышаться. — Оказывается, ты тоже любишь скорость! Вот не знал!

— А ты уже — разлюбил? Тормозить начал? — отворачивала Арья лицо.

— Ну... если у этой скорости будет имя Арья...

— Молчи лучше! — снова бросилась она вперед.

Валерка догонял, пытался говорить, но Арья зажимала уши, отворачивала голову.

«Молчи, молчи, молчи лучше! — говорил весь ее вид. — Не верю, ни единому слову не верю!» И она прятала лицо, чтобы он не смог заглянуть в глаза, не вздумал коснуться щек, вытирая слезы.

На них оглядывались, но ей было все равно.

— Ты можешь хотя бы бежать помедленней, а то на нас и так уже как на клоунов смотрят! — догнав в очередной раз, попытался он оторвать ее ладони, зажимающие уши. — Выслушать-то ты можешь? По делу она зашла, понимаешь, по делу!

— Ага! И на месте моем она сидела по делу, и чай по делу пила! И веселый-то, веселый ты — тоже был по делу! Аж голову запрокидывал от смеха! Спасибо, благодаря ей я хоть вспомнила, каким ты бываешь! А то ведь забыла, забыла почти! — и снова, вырываясь, неслась вперед, словно пытаясь выветрить что-то в себе.



Валерка уже не пытался ее остановить, торопливо вышагивал рядом:

— Да действительно по делу она зашла. И веселый как раз, может, поэтому и был. А ты даже выслушать не хочешь! Ну остановись же, прошу! — притормозил он ее руку. — Выслушай!

Остановилась Арьяка, но руку свою от него в карман засунула.

— А то, что я говорил — что не увидишь ты ни одну из них в моей комнате, — так от слов своих не откажусь: не увидишь! Потому что, говорил я тебе сто раз и повторю снова, есть девочки — и есть Арьяка! — и руку свою осторожно в Арькин карман сует, ладонь ее пытаюсь поймать. — А ты, Арьяка, Фома неверующий! А все потому что — маленькая...

И сдалась уже Арьяка было, помягчала ее ладонь в кармане.

— Маленькая моя Арьяка!

Но — вспыхнула вдруг перед глазами картинка: смех, букольки крашенные, тети-Лидина комнатная услужливость, чашка ее, Арькина, в руках чужих, коленки розовые под столом.

— Знаешь, не в том дело, что девочка эта... — сказала, голосом дрогнув, — ...девочка эта за столом. На всех этих девочек имеешь ты право! Пусть уж, переживу я, хоть и оказался ты отступником от своих слов. И даже не в том, что пережить из-за тебя пришлось: с родителями перессорилась, позора разного натерпелась! Пусть, так мне и надо за глупость мою! А в том дело, в том-то как раз и дело, что поверила я, будто бывает между людьми дружба такая, что, кажется, умереть можно, а предать нельзя! А оказывается — можно! — и оглянулась вдруг, узнав место, где заламывала когда-то руки, спасая Валерку. — И не умереть после этого, а жить дальше!

И — вырвала ладонь свою, от него откачнувшись, словно даже дышать ей вблизи него противно.

— И не ходи за мной ты больше, не ходи! Не поверю я никогда, ни одному твоему слову больше не поверю! Слабый ты! Прощай!

Отбросила руку его примиряющую, умиряющую, руку братика своего — как лягушку склизкую отбросила. Словно откинула от себя — все их прошлое-настоящее, душу общую, неделимую, с невозможностью жить и дышать друг без друга.

И остался Валерка один посреди проспекта — вкопанным столбом так и остался стоять.

Глава 4

Шла Арьяка по городу в веселом хлюпанье луж, но весна не радовала ее. Наконец-то, расставшись с Валеркой, она замедлила шаг, пытаясь умирить свое расхолодившееся сердце. И в какой-то миг, остановив-

шись, с непониманием оглянулась: к чему эта весна и солнце это к чему, когда в душе у нее сумерки, сумерки стоят плотные!

Сейчас, когда идет она, Арьяка, весеннюю хлябь ногами черпая, они... Они сидят там за столом и пьют чай!

И простая эта, до банальности обыденная картинка своей простотой убивала ее! Кажется, миллионы людей на земле сидят и пьют чай, и что ей до того? Но вот то, что эти трое, созданные, чтобы пить чай с ней вместе, — пьют без нее...

Глупо, если бы кто-нибудь сказал, что она просто ревнует к этому столу с хрустящими ломтиками по бедности поджаренных тетей Лидой гренков. Пережевыванию цветастых, пиалоподобных, с широкой душой чашек, кружевному их салфетному единству. А девочка эта сидит, пальчиками наманикюрованными ложечку держит, на месте Арькиным, да не по-Арькиному!

Поверила она будто, пустобреху этому поверила, раз уж слово свое держать не может. Не хотела ведь, решила не ходить, а ноги сами понесли. Ну и убедилась теперь, воочию убедилась! И — окончательно! Да, собственно, ведь если глубже копнуть, и не в девочке этой дело совсем. Глубже все: в мирах их разных, друг от друга отдаляющихся. Девочка эта — так, лакмусовая бумажка.

Шла Арьяка, бестолковщину мыслей своих привести в порядок пытаюсь, их назойливое в голове круженье. И все к одному сводились мысли ее — к упорной, но безуспешной борьбе за Валерку.

Может, и сам не хотел, но потянуло к друзьям прежним, к жизни опробованной. Тете Лиде хлопотавшей не до него — своих забот полон рот. А она, Арьяка, на то и Арьяка, чтобы все понимать. Да вот только не понимает она, зачем ему нужен этот другой мир. Но есть, видать, в нем что-то, по контрасту с их, Арькиным, борисовским миром, что привлекает Валерку — игра какая-то, дымок жаровой. Слышала предостаточно, знаком ей Валеркин лексикон, хоть и фабрикует он его при ней, старается отретушировать, да все равно прорывается. Но только Арьяка бросает взгляд недоуменный, как он тут же за «великий и могучий» прячется.

Что ж, пусть теперь поживет в мире этом своим, раз нет у него больше другой радости. И Арьки теперь у него тоже нет, свободен он от нее, навсегда свободен!

Ноги она уже все промочила, и улицами, разброд их кислый черпая, идет, мимо тополей, от времени покривевших, домов с весенней подслеповатостью окон. Все равно ей, куда идти, не вычерпана ее обида полностью, да и вычерпается ли когда-нибудь — неизвестно.

А Валерка кепку на глаза надвинул, с шарфом, Арькой связанным — единственное, что и успел прихватить, когда выбежал за ней, — за спиной побендеровски перекинутым, идет, скукожившись, полощется на зыбком апрельском ветру.

Что она, Арька, думает о нем сейчас, презрением себя наполнив? Знала бы, понимала, как нужна ему, всегда нужна, а сейчас особенно. Но ломает она его своим взглядом, корежит. Тяжело ему от взгляда ее, а в нем ведь тоже сердце — пусть и пробитое, дырявое, но живое, для Арьки — всегда живое. Да знала бы она только — пока эти три дня ее не было, извелся он весь, ждал, из дома почти не выходил.

Ну и пусть, раз так: переживет, а может — и к лучшему! Раз не понимает, не хочет понимать. А ему и матери помочь хочется, и на мотоцикл заработать, да и мало ли еще чего!

Может, он и сам не рад, что растаскивает его на части: не может он понять по-настоящему, что ему ближе, нужней. Арька со своим идеальным миром, со всеми этими товарищами из «Товарища», вровень и им любимыми, семьей, скрепленной Борисовым. Кто знает, встретиться ему этот Борисов раньше, когда его еще только начинало крутить, тянуть на подвиги, когда искал он точку опоры, — может, и жизнь бы его по-другому пошла! Да может, он и жизни бы другой не знал, и мир этот, Арькин, и для него был бы единственным!

И потому рвется его душа, и там, где Арька и Борисов, — свой он, там ему хорошо, и любит он всех, и его любят. Но идут они, вперед уходят, дела у них там разные, люди новые. И смотришь — он, Валерка, уже отстал — раз, другой не появился, а поезд уже и ушел. И ложится между ними полоса невидимая — вроде еще свой, да уже и не совсем свой, а когда наполовину — так уже и чужой. И получается, что чем меньше он свой в одном мире — тем больше свой в другом. И перекочевал он туда уже, незаметными шажками перекочевал.

И только Арька — одна-единственная, кто упорно пытается его окликнуть, вернуть, докричаться. Крылышками над ним хлопочет: «Не место тебе с ними, не место!» А где ему место? И не там, и не здесь. А она талантами ему в лицо тычет, талантами! Такой уж он талантливый, такой необыкновенный, что чуть ли самому себе не принадлежит, человечеству только! Дались ей эти таланты! Ну и ладно, раз ушла, последнюю ниточку порвав. Он, Валерка, и без нее обойдется, даже руку свою брезгливо, как от нечисти поганой, отдернула...

А ушла-то, ушла-то как: пулей из двери вылетела, чуть нос ему не прищемив, девочку там какую-то увидела. Ну не дурища разве после этого, особа тонкокочувствительная!

А Арька мокрый снег, еще не окончательно вытаявший, ногами уже весь перелопатила, но чего-то еще додумать не может. Хотя — что там думать: думай не думай, а кончилось ее время! Любое дело хорошо, когда впрок идет. А ее дело было — любовь к Валерке. Та самая, воскрешающая, которая жить помогает, точку опоры дает. Но не нашел он в ней точку опоры, и земной шар его в другом направлении крутиться начал. Так что же теперь — следом лететь, за полы одежды хватать? Не по-Арькиному это, да и не поможет. По-Арькиному — сделать все, что можешь, и уйти с гордо поднятой головой. Вот потому и кончилось дело Арькино, и любовь, значит, Арькина тоже кончилась. Да что она, Арька, не переживет, что ли? Да стержень в ней железный вместо позвоночника. Согнуть ее еще кое-как можно, но чтобы сломать...

И — дрогнула перед ней весна, расступились деревья, выглянул просыхающий асфальт. И дрогнуло сердце Арькино, всколыхнувшись навстречу весне. И улыбнулась она чему-то новому, еще неизвестному в себе.

Глава 5

А дома родители недоумевают: что с Арькой происходит? Дома сидит, уходить никуда не хочет, книжки по столу ее разложены, сидит, корпит за своим столом целыми вечерами.

Они возле двери ее на цыпочках ходят. Видно, за ум взялась Арька, сидит-зубрит, вспомнила, видать, что класс выпускной. И радостно им, что дочь целыми вечерами дома, да только понять чего-то не могут. Чего тогда стоили все их ссоры, скандалы, трепотня нервная... Оказывается, просто нужно было время выждать. И сидит теперь их Арька, тихая сидит, перебесилась, видать. Поняла, почему фунт лиха: никакие друзья и люди чужие своего дома и родительский кров заменить не могут. И непонятно им даже, куда теперь вкладывать свою воспитательскую энергию. Тихая сидит Арька, задумчивая какая-то.

А Арька действительно решила заняться учебой: учителя настолько прожужжали им, что класс выпускной, что они, наконец, поверили.

За всеми хлопотами, делами учебными, посиделками по средам в редакции стала Арька забывать о Валерке. Метод насильственного забывания и погружения в дела давал свои положительные результаты.

Почти каждый день комната ее наполнялась друзьями. Она словно «выстоялась» для другой, новой жизни. И теперь почти каждый вечер ее старые, забытые на время из-за Валерки друзья с готовностью



просиживали пружины ее дивана. Их было много, они приходили, рассаживаясь где попало, занимая стол, стулья и даже пол в Арькиной комнате — небольшой кусочек свободного от мебели пространства. Сидели, слушали музыку, жгли свечи, подрагивала между ними гитара. И раскатывалась смехом Людка, надламывала тонкую бровь изредка появляющаяся Катька, глядела грустными глазами Галка, мило кокетничал Тойвочка, и снова замаячил оттертый до времени Левка Матушкин.

Родители уже устали смотреть косо и теперь старались принимать Арькиных друзей нормально, иногда даже предлагали им чаю. Да, в общем-то, все в Арькиной жизни было замечательно. Правда, существовал в ее сердце один уголок, но туда она старалась не заглядывать. Старалась — и не заглядывала.

Бежит Арька по весне молодой, на подступы лета подбирающейся, и позванивает у нее в душе колокольчик, мотивчик какой-то веселый к сердцу прибывая. Сумкой с учебниками она помахивает, в уме дела перебирает. И празднично у нее на душе, и радостно: от весны ли медлительной северной, от того ли, что все в жизни у нее нормально, и друзей много, и в класс свой идти ей хочется, и дома — на все сто!

Двери сами перед ней распахиваются, и выносит ее в коридор школьный. Но пока еще к лестничному проему не повернула, тут, в тупичке коридорном, — стенд на всю стену. Притормозила Арька взглянуть — нет ли новостей про их классный вечер? Ее ведь идея была, ее: устроить вечер «Расскажи мне обо мне», подобный «товарищескому». Вот уж всем досталось, и Эдуарду даже! Но зато потеплело потом в классе, другими глазами они друг на друга посмотрели. Потому и в класс свой Арьке идти радостно — родным стал класс.

Но ничего-то Арька про вечер не обнаружила — не успели, видать, школьные журналисты. И только уже мимо информационного стенда проскочить хотела, как... Другое что-то внимание ее привлекло.

Читает она и не понимает, а только фамилия одна перед глазами: «Гагарин... Гагарин...»

И понимает Арька только, что не к тому, Юрию Гагарину, космонавту который, фамилия эта относится — к другому какому-то Гагарину. И связать Арька одной цепочкой все не может — уж не к тому же, в самом деле, знать-то которого она не желает. Но только прыгают почему-то у нее перед глазами буквы, а в сознании пласт белый, неподвижный, завеса какая-то, словно штора перед глазами упала. Читает она и второй, и третий раз, а прочитать не может, лишь суতোлка какая-то, томление нервное забирает начинается. Бросается на нее со стены:

«SOS! SOS!» — буквами латинскими, в самое сердце метящими. «SOS!» — сигналом с тонущего корабля. Кричат эти буквы, голосом Валеркиным кричат почему-то:

«SOS, SOS!» — что же ты, Арька, ведь просили тебя, умоляли!

«SOS! SOS!» — что же ты бросила, не сберегла!

Сжимает она в кулак поглупевшее свое, жиром счастья поросшее сердце, а взгляд свой сфокусировать, собрать все не может. Но напряглась последним усилием воли — и выровнялись кое-как перед ней буквы.

Видит она — объявленьице, бумажка какая-то на стене, яркая такая бумажка, видная, милицией в назидание по школам развешанная. А на ней — черным по белому и красным обведено. И вот что выскребла Арька из бумажки этой: «Ученик седьмой школы Валерий Гагарин, выехав на мотоцикле на центральную часть улицы, превысил скорость и был сбит проезжающей мимо машиной».

Сбит? Как это — сбит? И что такое — сбит? Почему — сбит? И почему у того, который сбит, фамилия такая же, как у Валерки, и имя такое же? И почему школа та же? Зачем сбит? Куда сбит? Как — сбит?

Нет, стоп, надо начать сначала... Только почему колышется пол у нее под ногами, почему пропадают буквы? Ей надо дочитать до конца, там еще несколько строк.

Но глаза все уже сделали за нее сами. Арька так ничего и не поняла, но строчки эти уже в ней, кричат в ней эти строчки! Только почему никто не слышит, почему все проходят мимо? Лишь в нее разряжаются свинцовые пули: «С тяжелыми телесными повреждениями он был доставлен в городскую больницу». И снова вздох, и снова выстрел: «В настоящее время находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь». И дальше два коротких, задвленных восклицательными знаками предложения: «Будьте внимательны на дорогах! Берегите свою жизнь!!!»

«Берегите свою жизнь!» — как вызов, как предупреждение: берегите! Вместо того, кто ее уже не сберег, вместо этого, превысившего скорость, сбитого на дороге! Который почему-то тоже носит фамилию Гагарин. Зачем же только он превысил-то ее, эту скорость? Гагарин этот, Валерка, почему-то тоже из седьмой школы, что у них там — одни Гагарины, что ли?

И надо же, Гагарин этот, Валерка, сбит который, тоже, видать скорость любит! Что они, все Гагарины, на скорости повернутые, что ли?

И вздрогнуло что-то, просверлило у Арьки в мозгу Валеркиным голосом: «Глупая ты, Арька, девчонка потому что, девочка то есть, не понимаешь ты, что такое скорость — поэзия это, красота!» И стоит

Арьяка оглушенная, забыв, что школа это, коридор, этаж первый, потолок над ней нависает белый... Нет, черный такой потолок, тяжелый, гнетет он ее, к земле прибывает, к полу дощатому...

Озирается Арьяка по сторонам, словно не понимая. Не там она где-то, не там она быть должна. В другом каком-то месте... Но — в каком? Бежать ей надо, бежать! Вот только куда — она не знает. Знала, да была, и только стена перед ней и буквы эти...

И вывели, наконец, эти буквы ее из оцепенения: «Врачи борются за его жизнь!» Вот куда ей надо! Бежать ей надо! Убедиться, что этот Гагарин — это совсем не тот Гагарин! Гагариных этих пруд пруди, и все таланты, все любят скорость, и зачем только их много так, вот навязались они все на ее голову!

И зашелся пол под ее ногами, заколыхались ступени. Забыла она совсем, что в класс ей надо, что контрольная сегодня... Не до того ей сейчас, не до того!

Бежит Арьяка, не разбирая дороги, быстро бежит. Только воздух тяжелый какой-то — давят ее эти ртутные столбы, а ей ведь быстрее надо, ей еще и дышать, между прочим, надо. Но вот уже и...

Дрогнуло сердце Арькино, оторопью протрезвленное: на месте его дом, на месте! И не случилось ничего, значит!

Да разве если бы что случилось — мог его дом стоять как ни в чем не бывало? Глупая ты, Арьяка, глупая! Видишь, как все просто, устроила себе маету, чуть от волнения не рехнувшись, а дом-то его — вот он, стоит как стоял! И, стало быть...

Вид Валеркиного дома как-то сразу отрезвил, успокоил Арьку, вернул в действительность. Стоит, как крепость каменная, подступы к спокойствию ее охраняя. И смутилась Арьяка, суматохе внутренней посмеявшись, — вот войдет она сейчас, дернет ручку двери, а там... Вот повеселятся-то они над испугом ее, вот посмеются! Если хватит еще сил у нее на смех этот.

И — тронула она дрожащей рукой ручку двери.

Сидела на диване сестренка. Она вырезала картинки и раскладывала их по кучкам. Наверное, в этих кучках был какой-то свой, особый смысл, трудилась она усердно несмотря на то, что ножницы еще плохо слушались. Девочка была так поглощена работой, что не сразу заметила ее.

Нашарив под собой табуретку, Арьяка села. Вид мирно играющего ребенка успокоил. Девочка просто играла, и ничего страшного не было в ее лице. И Арьяка с возрастающей надеждой стала в нее вглядываться.

Оторвавшись от картинок, девочка молча уставилась. Она была так удивлена, что смотрела и не

могла ничего сказать. Будто на диван опустилась жар-птица: ведь она же не видела Арьку так давно! Арьяка тоже смотрела — и не могла задать вопрос первой. Она видела в ее глазах что-то необычное, но это необычное не было страшным.

А девочка, словно так до конца и не поверив, что это она, Арьяка, наконец спросила, преодолевая волнение:

— Ты... Где ты была? Почему так долго не приходила?

— Я... не могла. Была занята. Очень. — Арьяка не поняла даже, откуда у нее взялся этот виноватый, оправдывающийся тон. — Я правда не могла.

А девочка вдруг, порывисто разметав аккуратно сложенные картинки, протянулась к ней через стол, словно желая убедиться, что это действительно она, Арьяка, и приникла, замерев в ее сомкнувшихся руках.

— А у нас без тебя плохо. Столько всего напроисходило, ужас! — торопливо заговорила она, но голос звучал совсем не грустно. Она закидывала голову и все говорила, словно боясь, что та уйдет и ей надо как можно дольше говорить, чтобы не дать Арьке уйти.

— А еще — беда у нас! Валерка-то...

— Что — Валерка? — напряглась Арькина спина.

Но девочка молчала, вглядываясь.

— Что Валерка? — не выдержала она снова. — Он... жив?

— Да... жив! В больнице он! Вот ведь непутевый! — по-взрослому вздохнула малышка. — В ре-а-ни-мации он! — выговорила старательно.

— В реанимации? — смотрела на нее Арьяка. Слово было ей незнакомым, от него веяло чем-то холодным, страшным. — Что такое — «реанимация?» — Арьяка едва ли успела сообразить, что маленькая девочка этого знать не может.

— Реанимация — это... место такое в больнице, — все-таки попыталась та ей объяснить, лишь бы Арьяка не уходила. — Где врачи борются за его жизнь.

— А... — пыталась осмыслить Арьяка. — Борются за жизнь.

— Сбила ведь его, непутевого, машина! — и, словно почувствовав что-то, заговорила быстро: — Сказали, что пока к нему нельзя! Ты поиграешь со мной?

Малышка старалась быть серьезной, но губы ее расплзались, казалось, ей неважно, что брата сбила машина, что он лежит в реанимации, а важно — что пришла Арьяка, что сидит на диване и что она первая может сообщить ей эту новость. Она чувствовала, как важна для Арьки эта новость, и говорила торопясь, обхватив Арьку, прицепившись к ней буксиром.



— Только ты не уходи! Я сама тебя чаем напую. А ведь мы тебя ждали, так ждали. Мама даже чашку твою не разрешала трогать: Арькина, говорит, эта чашка. Ну почему ты так долго не приходила? Когда мы с тобой играть будем?

— Жив? Значит, говоришь, жив? — почти не слышала ее Арька. — Жив, значит!

Она вскочила и, обхватив девочку мгновенным радостным порывом, чмокнув в макушку, закружила по комнате:

— Жив, жив, жив! Главное — жив! Все остальное неважно! Жив, жив!

Девочка засмеялась тоже — и оттого, что ей щекотно, и оттого, что Арькины руки кружат ее, и от всего сразу.

— Значит, скоро будем вместе! Ух и наиграемся тогда! Ура! — от избытка эмоций подкинула она малышку.

— Ура! — вслед за ней, смеясь, повторила девочка, приземляясь в Арькины руки.

— А сейчас ты извини... Надо идти! — осторожно опустила ее на пол Арька.

— Куда ты?

Но Арька уже неслась, проскакивая через двери:

— Где эта больница? Где эта реанимация?

Глава 6

И снова отбивала она ногами пружинистый глянец асфальта.

Только что прошел дождь, отшумела майская гроза, вселяя и в Арькино сердце надежду. «Жив, жив, жив», — отбивали ритм ее ноги. «Жив, жив, жив», — отзывалась птичья трель в конопатой зелени деревьев.

Сейчас, еще немного, и кончится этот проспект, как же развезло на нем когда-то Арьку и как же давно это было — в другой совсем жизни! И какая же счастливая она тогда была, да только не понимала собственного счастья. Ведь тогда, после драки, побитый, с ней был Валерка, рядом сидела она, глядя на его синяки и царапины. Глупый такой он, ее мальчик, беспомощный какой-то. Не может он без нее...

Только где эта больница, где эта реанимация, скорей ведь ей надо! Что могут-то они, врачи, что знают? Разве могут они состязаться с безмерной силой Арькиной любви? Горы она своротить может, если это надо Валерке ее, непутевому ее братику!

И не думает она даже, какой он там, может, переломанный весь, может — без сознания или вообще — урод какой? Как там в заметке сказано: «Превысил скорость!» На мотоцикле — превысил скорость! Ну не балда разве? И где взял-то он мотоцикл этот? Ведь поняла она, Арька, все сразу, с первой минуты

поняла, что ее это Гагарин, ее собственный, не чей-то там... Ведь Гагарины — они не на каждом шагу встречаются! Поняла, да только гнала от себя эту мысль. И вот теперь бежит она к нему, к этому своему Гагарину. И почему только больно-то ей всегда так, когда ему больно?

И об одном только молит Арька: чтобы дали ей улицы зеленый свет, не тормозили перекрестками!

Но вот уже перед ней облезший торец пятиэтажного дома, и женщина в белом в окошке приемного покоя мнет Арькино сердце:

— Гагарин, Гагарин... — медлит она с ответом.

Если бы знала только — зачем тянет, зачем мнет, превращая минуты в кровососущую вечность. Вот этого-то как раз ей и не надо, была у них с Валеркой вечность уже, была, дарил он Арьке вечность эту. Жалко, что ли, Валерке этому, Гагарину этому, вечности одной жалко?

— В реанимации он! — не выдерживает Арька.

— Да нет его в реанимации! — качает головой женщина.

— Нет? Тогда — где? — мертвеет спина Арькина. — Ведь... был же!

— Был, а сейчас нет, — продолжает женщина в белом мять ее сердце. И говорит наконец: — В пятой он, ваш Гагарин! В пятой палате! Перевели уже!

— В пятой? — делает вздох Арька. — В пятой, значит...

Только сейчас она вдруг осознала, что Валерка где-то здесь, совсем рядом. Но пока ноги двигались, зубы в такт шагам выстукивали четку: пятая палата, хирургия, пятая палата...

Но там, где она уже почти прорвалась, преодолев сопротивление трех пролетов, стеной встала медсестра, растопыренными руками пытаясь преградить путь.

— Куда! — наступала она на Арьку. — Туда нельзя, неприятный час, сейчас там врачи, обход!

Но Арька взглянула на нее... Так взглянула, умоляя пропустить лучше сразу, по доброй воле — ведь она же все равно пройдет. И медсестра, увидев этот не принадлежащий себе взгляд, отступила, успев накинуть ей на плечи халат.

— Если что — я тебя не видела, сама прошла!

И Арьку понесло дальше, по длинному до бесконечности коридору.

— Ну где же эта пятая палата? Одиннадцатая, десятая, восьмая, седьмая.

Арька вдруг ощутила, как странно тормозят ее ноги.

Но вот... И в этот момент силы оставили ее. Самое простое вдруг оказалось самым сложным. Каким она увидит его сейчас? Узнает ли? Хватит ли у нее сил пережить его новый облик?

Как, оказывается, все просто: бежать, искать, просить, умолять. И вот теперь, когда все позади, — оказывается, впереди только самое трудное: открыть дверь.

«Нужно просто нажать на ручку двери. Всего лишь нажать, — уговаривала она себя. — Это же так просто. Надо собраться с духом!» Но чем больше она уговаривала себя, тем сильнее ей хотелось повернуть обратно. «Да что это со мной? Почему же страшно-то так, мамочки!»

Арья еще никогда не была рядом с несчастьем, она и в больнице-то оказалась первый раз в жизни. А вдруг она не выдержит и закричит от испуга? Совсем, оказывается, она и не такая уж храбрая, а она-то думала, что храбрая, что все может. А оказывается, не может даже самого простого — нажать на ручку двери.

И все же она уже взялась за нее ладонью. Но внутренний голос нашептывал снова: «Поверни, пока не поздно. Еще можно уйти, сбежать. Зарыться дома с головой под одеяло и наплакаться как следует! Зайдешь потом, позже!» Ну хоть бы кто-нибудь окликнул ее, одернул, выгнал бы просто — она уже готова выпустить из ладони этот холодный металлический изгиб! И — действительно: в небольшом отдалении показалась фигура в белом. «Вот и хорошо! Значит, и не судьба. Приду потом, в следующий раз, как-нибудь...» И в этот момент ее рука сама собой распахнула дверь.

В глаза ударило солнце. Такой ликующий, просто наглый свет не мог, просто не имел право существовать там, где страдают, мучаются и умирают.

Зажмурившись, Арья ждала, пока перестанут мелькать в глазах солнечные зайчики. Наконец осмотрелась. В палате было шесть коек, три — у одной стены, три — у другой. Шесть пар глаз с выжидающей готовностью смотрели на нее.

Арья смотрела — и чего-то не понимала: почему она не узнает его? Неужели он так изменился? Так изменили его травмы? И она продолжала всматриваться, беспомощно шаря по лицам.

Еще когда ее глаза только привыкли к свету, она отметила с радостью, что все шестеро были с открытыми лицами. А этого, оказывается, она боялась больше всего: Валеркиного закрытого, изуродованного лица. И теперь, не понимая, она ждала, откуда он откликнется. Да, все лица были открытыми, но это были совершенно чужие, незнакомые ей лица, в их взглядах на Арыку не было ничего Валеркиного.

«Неужели же он так изменился?» Арья вдруг почувствовала, что она устала, безмерно устала. Сколько же сил потребовалось, чтобы дойти, найти, чтобы открыть эту дверь. И вот теперь... Почему она

не узнает его? Неужели — один из этих, глядящих на нее чужих пожилых мужчин — ее Валерка? Ведь не могла же медсестра ошибиться!

А шесть пар глаз смотрели, уже завязывая между ней и собой ниточку отношений. И Арья с гаснущей надеждой упорно продолжала шарить по лицам, словно ища подсказки. Обходя стороной еще что-то...

Это «что-то», большое, даже громоздкое, с капюшными бутылочками, трубочками, мигающими приборами, натяжными подвесками и всем страшно-непонятным Арьке, возвышалось среди палаты. Но оно, по представлению Арьи, никак не могло иметь отношение к человеку. Поэтому, обходя *это* стороной, она упорно продолжала всматриваться, словно надеялась, что он сорвет с себя маску неузнавания. Ведь не могла же эта, в белом окошечке, так просто взять и перепутать...

Арья сначала подумала: что-то страшное посередине палаты, наверное, существует для того, чтобы класть туда всех этих шестерых по очереди и что-нибудь там с ними делать — исправлять, вытягивать, корежа тела необходимой болью. И потому, ощущая всем телом протест всякой боли, — сразу отстранилась. Но вдруг в какой-то момент, когда глаза ее еще шарили с гаснущей надеждой, скорее почувствовала, чем поняла... Там, внутри, в груди всего этого арматурно-металлического — что-то есть. Возможно, то, что еще совсем недавно было человеком. И остатки этого могли быть...

Если бы не шесть пар глаз, она бы, наверное, просто упала. Но глаза словно удержали ее в вертикальном положении. И Арья забормотала, глядя вокруг уговаривающим, заговаривающим взглядом:

— Я, наверное, перепутала... Да, просто перепутала палату. Мне назвали эту — я и зашла. Ошиблась, наверное! — ее глаза метались по лицам, словно подсказывая ответ, перескакивали, умоляли: — Да, теперь я вижу, его здесь нет, мне надо спуститься вниз, там уточнят...

— Так кто нужен-то? — спросили ее наконец.

И Арья, чувствуя, что отступать некуда, едва прошевелила губами:

— Гагарин... Валера Гагарин.

Пол не взорвался под ее ногами. В комнате царил та же ослепительная тишина. И протянув эту тишину по палате, кто-то из шестерых произнес:

— А, космонавт. Так он...

И шесть пар глаз скрестились в центре.

Глава 7

Наверное, она должна была потерять сознание или умереть сразу на месте, но ни за что не смогла бы заставить себя подойти к этому, громоздшему сре-



ди палаты. Минуту назад. Всего лишь минуту назад, когда она еще не слышала ответ. Но сейчас... Когда она уже точно знала, кто там, позволить себе умереть она не могла. Пока — не могла. А шесть пар глаз продолжали удерживать ее, словно проверяя: сможет ли она, эта хрупкая девчушка, пугливо озирающаяся вокруг, сдавившая белыми пальцами сумку... Сможет ли она набраться мужества и сделать шаг? Шаг, от которого так многое зависит сейчас в ее жизни, да, похоже, и в жизни того, скрытого под бинтами. И, как ни странно, в их собственных жизнях тоже.

Или дернется сейчас с перекошенным лицом, крикнет: «Мама!» и бросится вон из палаты? И они... Они поймут ее. Еще неизвестно, хватило бы у них, взрослых мужчин, мужества сделать этот шаг. И они смотрели на нее, слабую девчонку, наверняка падающую в обморок при виде крови, смотрели и ждали. И Арья, ощущая в себе эту непреодолимую границу из нескольких шагов, закрыла глаза... И — сделала первый шаг.

А когда она их открыла... поняла, что в палате — не шесть пар глаз! Она увидела... Седьмую! Седьмую пару глаз! Они, эти глаза, смотрели на нее... Смотрели и ждали! Они ждали ее все это время! Когда, наконец, она заметит, узнает. Светясь в расщелине между бинтами, с белого пространства, кругло обозначенного там, где должна быть голова, они кричали ей: «Арья! Неужели тебя обманули эти бинты, приборы? Тебя, твое зоркое любящее сердце?»

И Арья не поняла сама — как, очутившись рядом, рухнула, обессилено упав на колени.

— Ты... — непроговариваемо шепнули ее губы. — Маленький мой, как же ты...

На большее у нее не хватило сил. На волне жгучей жалости к этому своему родному, скрытому под бинтами, она единственное, что и смогла, — рухнуть, заметив перед собой что-то белое, оказавшееся упакованной в гипс Валеркиной рукой. И рука эта с беспомощно свисающими, как подбитые крылья, пальчиками выскла из ее глаз слезы.

— Как же это ты, как же... — омывала она слезами это пахнущее йодом хоть что-то Валеркино, дошедшее до нее из глубины бинтов. — Как же это случилось?

И вдруг... Арья не поняла даже: пальчики эти, словно ожив от ее слез, дрогнули и прошлись по ее щеке. Еще не веря, ощутила Арья живой привет, посланный им — оттуда.

От этого ее качнуло новой волной. Давясь слезами, стояла она перед сооружением, и назвать-то которое не знала как. В котором не было ничего, что бы напоминало ее прежнего мальчика. Это была большая кукла, мумия, чучело, развешанное на про-

водах приборов. И теперь она, Арья, узнала эту куклу, это чучело, мумию эту — узнала и приняла сердцем. Пусть у этой куклы нет лица, нет ног и почти нет рук, пусть у нее вообще ничего нет, вся она растянута на каких-то проводках и пружинах — весь этот страшный, булькающий механизм теперь называется Валеркой. Ее Валеркой. Это и есть теперь ее маленький мальчик, и она все равно будет любить его.

И чтобы показать, как ей ничего не страшно, как не обманут ее никакие проводки и приборы, она все гладила черствый гипс, ощущая на своей щеке его пальцы. О себе Арья не думала, до того ли было ей, чтобы думать. Она не замечала, как мокро ее лицо, как опухли губы, как подрагивают пальцы... О, как хотелось им, этим пальчикам, таким всесильным ее пальчикам, — схватить, прижать к себе и спрятать эту такую большую маленькую куклу. Ведь это же ее наказали, заколдовав такого красивого ее мальчика, и она, даже при всей своей любви, не сможет его расколдовать! Ее мальчика превратили в чудище, как в «Аленьком цветочке», только там все было наоборот: сначала чудище, а потом, когда его полюбили и поцеловали, стал красавцем. А ее Валерка — он и был красавцем, ну пусть не красавцем — это уж другим судить, а для нее — братик. А в братике и так все красиво, да только не сберегла его Аркина любовь. Пошатнулась она, не устояла, вот ее братик чудищем и стал, чудищем страшным.

Да ладно, лишь бы у чудища глаза Валеркины были, лишь бы знала она, что чудище это — свое, родное. Вот только отдохнуть ей надо, отдохнуть, хоть и сильная она, а все-таки устала, слишком долго шла — вечность целую. Что полтора месяца не виделись — это пустяк, это ладно. А вот эту вечность до кровати его, вот эти пять шагов...

И происходить стало что-то с Арькой — то ли так, стоя на коленях, задремала она, то ли сознание начала терять, а только все вдруг куда-то пропало.

И вздрогнула только, когда кто-то потряс ее за плечо.

— Девочка, с тобой все в порядке? — возле нее стоял мужчина. Он поджимал под себя одну ногу, а на другой подпрыгивал, как аист, вокруг Арки, подпирая себя костылем.

— Да, — очнулась она в неловкости. — В порядке.

— Ты в этом уверена? — мужчина участливо заглядывая ей в глаза. — Может, тебе помочь встать?

— Нет-нет... Я сама.

Очнувшись окончательно, словно отдохнув за эту минуту, Арья встала на ноги.

— Ты наклонись над его лицом-то, наклонись! — давал рекомендации мужчина-аист. — Ближе, не бойся.

Арья по его указанию склонила голову... Над тем местом, где, по ее предположению, должно быть лицо. Преодолевая страх и жгучее чувство протеста, боясь того, что может там увидеть. И первое, что почувствовала, — запах чего-то едкого, острого, идущего из глубины. Но в этот момент...

Тогда, еще в самом начале, когда она только подошла к кровати, — у нее только и хватило сил, чтобы обрадоваться и рухнуть. Зато теперь, постепенно приходя в себя, Арья наконец увидела настоящему: его, Валеркины глаза!

В первом сумасшедшем порыве ей даже захотелось их расцеловать. За то, что они есть, что живые, что Валеркины, что глядят на нее из глубины бинтов!

Когда Арья склонилась ближе, почти утонув в ворохе этого белого и едкого, она удивилась: глаза его вдруг показались ей странно большими, просто разлившимися, как море.

«И откуда у него такие большие глаза?» — подумала она и вдруг поняла.

Он никогда не плакал раньше, Валерка. Перед ней он не плакал никогда — еще не хватало ему плакать. Он же был веселый парень, ее Валерка. Но ведь и она не плакала при нем раньше. А сейчас они глядели друг на друга, почти соединившись лицами, и — плакали. Только у одного лица — единственное, что и было, — глаза, а у другого, склоненного, было лицо, хотя на самом деле тоже были одни глаза: больные, раненые, отражающие в себе постороннюю белизну бинтов. Арье хотелось прикоснуться, промокнуть его слезы, но страшно было окунать туда свое лицо. Не потому, что на самом деле страшно, — страшно потревожить что-то в этой белой глубине.

Но в этот момент кто-то произнес над ее ухом:

— Ты наклонись, он что-то хочет тебе сказать. Ближе наклонись, он громко не может.

— Сказать? — Арья не поняла даже, что там, в ворохе бинтов, — губы. «Да что он может сказать этими отсутствующими губами? Пусть уж лучше молчит!»

Но тут она услышала слабый совсем, но настоящий Валеркин голос:

— Арья! Ты пришла...

На большее у него не хватило сил.

На выручку пришла вторая рука. Оказывается, она была забинтована только наполовину и даже гнулась в локте. И этой свободной рукой он стал перебирать и гладить Аркины волосы, размазывая по ее щекам слезы.

И Арьку качнуло словно — от руки этой живой, обнаруженной вдруг, от голоса — хриплого, родного, грубоватого мальчишеского голоса, целиком

утонувшего в нежности. И потрясенная внезапностью открытия — оказывается, в этом белом пространстве еще столько всего живого, Валеркиного, — распрямилась она, словно начали отпускать закрученные пружины. А потом, наклонившись, спросила:

— Ты говорить-то можешь? Если не можешь — молчи лучше.

— Могу, — булькнуло в ответ. — А ты, Арья, можешь не плакать? У меня из-за тебя все бинты промокнут.

— Разве я плачу? — шмыгнула она носом. — Это ты сам плачешь!

— Я? — снова булькнуло в ответ. — Я никогда не плачу, Арья!

— Ага! Вижу я — глаза-то у тебя не забинтованные!

— Не слезы это, Арья, ошибаешься ты!

— Не слезы? А что же тогда?

— Сок это из меня потек. Сок виноградный. Видишь, сдавили меня со всех сторон гипсом, вот и потек я, как виноград под прессом.

— Да уж, — улыбнулась она, Валерку прежнего узнавая. — Знала я, что фрукт ты хороший, но только теперь поняла какой: виноград, оказывается!

— А ты Лиса из басни Крылова, которая любит виноград. — А знаешь... — голос под бинтами дрогнул. — Я ведь тебя ждал, так ждал! Думаю: вдруг помру и Арки не увижу! Может, из-за этого и помирать расхотел! А ты вот пришла — и сразу легче стало. Теперь и помереть не жалко!

— Нет уж, теперь лучше не помирай! Слушай, Валерка, — голос ее напрягся. — Скажи мне лучше, у тебя там... хоть что-нибудь осталось?

— Как это — осталось?

— Ну, ты только не думай, — засуетилась она голосом, — я ведь тебя и такого любить буду, всякого! Но скажи... Хоть что-нибудь-то целое у тебя есть? Ноги там, руки? Нос, лоб, брови? — задала Арья наконец этот мучавший ее вопрос и сама испугалась: — Впрочем, если не хочешь — не говори! А то вдруг там и вправду ничего нет.

Но булькнуло под бинтами, хлюпнуло, фыркнуло в Арьку Валеркиным голосом:

— Да не пугайся, Арья, кое-что осталось. Нога вот правая переломана немного... Да не бойся, всего в двух местах, — умудрился он ей качнуть, приведя, к Аркиному ужасу, в движение всю подвесную арматуру. — Да не гляди ты так, словно фильм ужасов смотришь! Это называется «аппарат Елизарова» — на мне новое медицинское оборудование проверяют.

— А на другой ноге что — тоже аппарат Елизарова? — чуть осмелела Арья.



— Нет, эту подвесили просто для разнообразия, говорю же — экспериментируют на мне. Ну, руки слегка повреждены, шея в гипсе, «а в остальном, прекрасная маркиза...»

Аркины глаза распахивались все больше, но все же в Валеркиных словах было и что-то утешительное. Есть, значит, ноги эти, руки, шея эта.

— А нос?

— Сломан немного.

— Сломан! — ахнула Арка. «Значит, и нос тоже есть!»

— На лице небольшие беспорядки, на лбу вот шрам... Да не охай ты, так себе шрамик, малюсенький совсем, еще одна божья отметина. Ты же, Арка, коллекционируешь мои отметины. Или что — перемудела теперь? Ненужный стал, неталантливый? — голос Валеркин выжидательно замер.

— Да талантливый, талантливый, — отмахнулась Арка, поняв, что напрашивается. — С чего это вдруг — неталантливый-то?

— Так... Был бы талантливый — не бросила бы!

— А разве я тебя за таланты любила?

— Ну а за что же еще? Уши тебе мои нравились, большие!

— Уши! — рассмеялась Арка. — В ушах, Валерка, разве дело?

— Значит, все-таки любила? — успел зацепить он слово. — А сейчас? — спросил и замер под бинтами.

— Да уж... — помолчала Арка. — Больно уж весь ты развешанный какой-то. Чего тут и любить-то, не знаешь.

— Да, а сама, небось, жалеешь просто. А был бы здоровым... — Валерка не договорил. — А еще говорила — «братик»! А братиков бросают разве? А ты ушла, бросила, из-за девочки какой-то! Говорил я тебе, дурехе: есть девочки — и есть Арка. А ты не слушала, уши закрывала...

Арке и сейчас захотелось их закрыть, но только... Почему-то лицо свое к бинтам его лишь ближе опрокидывала, слушая сердцем родную эту, сбивчивую шепелявость.

— Глупый ты, Валерка, глупый, всегда я это говорила, и речи твои вредные, и слушать я их не хочу!

А Валеркина гнущаяся рука продолжала перебирать и гладить Аркины волосы:

— Арка моя, смешная, маленькая...

— Сам ты, Валерка...

И не было будто палаты белой, ног его перебинтованных, загипсованных, аппаратом Елизарова схваченных, и разлуки их в полтора месяца тоже словно не было. Пошли между ними сказочки прежние: старинные-соловьиные, не ими первыми написанные, да ими услышанные. И зачем толь-

ко разлука была их — непонятно, и все остальное тоже — зачем?

Только медсестры почему-то стороной их палату обходят да шесть пар глаз глядят на них и улыбаются.

Глава 8

И снова началась для Арки жизнь суматошная. В школу надо успевать, к экзаменам готовиться, а к вечеру, хотела Арка или нет, а звали ее глаза Валеркины, издали звали. Снова вздрагивала, подымалась мамина крутая бровь, но и сказать мать уже ничего не могла: взрослая дочь совсем, выпускница. И лишь вздыхала только:

— Ты уж, пожалуйста, не задерживайся... Знаешь ведь, пока не придешь — я спать не лягу.

И Арка летела, разрезая весенний воздух тонкой стремительной плотью. Уже раздбывались первым пухом тополя, пахло сладко, тревожно, волнительно. Стоял в воздухе клейкий, щекочущий ноздри запах первой зелени.

Шло время, и когда сняли бинты, Арка удивилась словно заново родившемуся Валеркиному лицу.

И снова наступила для нее пора привыкания. То же лицо, да другое какое-то: на носу царапинка чуть видимая, так, черточка незаметная, а в остальном нос как нос, и шрам надбровный знаком вопросительным топорщится, удивление лицу придавая.

Начали потихоньку заживать его раны, свежей кожей затягиваться. И стала Арка узнавать прежнего Валерку, к новому постепенно привыкая.

И говорит она ему как-то, на всю уже нестрашную ей арматуру косясь:

— Знаешь, нравится мне, когда в больнице ты лежишь. Есть надежное что-то в бинтах этих, гипсах, во всех этих приспособлениях. Надежнее всякой милиции они тебя охраняют. По крайней мере, знаю точно, что уж никуда не сбежишь.

Но засмеялся Валерка, ногой в гипсовом чулке подергивая:

— Эгоистка ты, Арка, несчастьем моему радуешься! — и добавил вдруг, посмотрев на нее каким-то другим, посерьезневшим взглядом: — Сбегу еще, думаешь? Нет уж, хватит, набегался.

А народ из «Товарища» к нему валом валит: событие-то какое — герой их от героических ран страдание терпит. Где, как не здесь, поддержку осуществить, проявить любовь дружескую?

И больница вокруг Валерки ходуном ходит: «Что за парень ты такой особенный, что вокруг тебя столько народу топчется?»





А они встанут полукругом, охватив собой Валеркину «высотку», громоздящуюся среди палаты, руки на плечи друг другу закинут — и пойдут звучать их песни, старые, любимые, собственными душами проверенные. Заговорят они стены своим пением.

Медсестры ручками головки подпрут, кулачки под подбородки — возле них пристроятся. «Хорошо ребята поют, пусть не складно, не хор какой, пение академическое, да за самое сердце хватают, потому как и поют — сердцами самыми».

А они — вокруг Валерки, еще загипсованного: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану, обращаюсь к друзьям — не считите, что это в бреду: постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду...»

А «белые халатики» слезинки со щек смахивают: «И что такого есть в их пении?» Да только нескладные детские голоса в самый узел сердца завязывают, так поют, будто и не в больнице они городской, казенной, а среди поля ровного, и небо само к ним спускается.

«Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой, если ранят меня в справедливых тяжелых боях — забинтуйте мне голову русской лесной дождевой и укройте меня одеялом в осенних цветах...»

А потом уже, когда сняли с Валерки гипс и начал он на костылях передвигаться, пели они уже на улице под его балконом, и стала тогда на эти балкончики вся больница собираться, концерты бесплатные слушать. А Валерке опять почет да уважение: «И что за парень ты такой особенный?»

— Счастливый, — говорили ему мужчины в палате. — Сколько друзей у тебя. Сразу видно, что парень ты дельный, — и сигаретки бесплатные на тумбочку к нему сыплются. — И что уж в тебе такого особенного?

А Валерка, сигаретку в руках комкая, отвечает небрежно, челкой заново отрастающей потиравая:

— Не знаю, им видней... А может, и нет ничего.

А мужчины глядят, переглядываются: знаем, мол, видим, палата-то общая, все по глазам прочитать можно, особенно по глазам девчонки этой, учебниками перед тобой сотрясающей.

И действительно, Арья с Валеркой столько всяких книг перечитали, столько всяких тем переговорили, что, кажется, ничего уже и не осталось.

Истосковавшись в белой неподвижности, Валерка получил, наконец, долгожданную свободу. Ему разрешили пользоваться креслом-каталкой с большими велосипедными колесами. Нажимая руками на рычаги, он пытался и здесь, в больнице, воплотить свою мечту о скорости, раскатывая по длинным больничным коридорам. Он уже успел завоевать расположение медицинского персонала, особенно

женской его части — молоденьких медсестер, и по долгу терся возле их пластикового столика, выпячивая вперед загипсованную ногу.

Но — появлялась в конце коридора Арья, мгновенно зацепив взглядом и столик, и улыбочивые глаза медсестер... И Валерка уже катил навстречу, торопя медлительные колеса. И каждый тушил в глазах вспыхнувший огонек радости, и они торопились спуститься вниз, на улицу, в начинающую оживать зелень сада.

Там усаживались в траву и болтали, разделенные полосой остроконечных колосков и мягкой лопушистой зелени. Как и прежде, им было хорошо вдвоем, и неважно, про что говорить или про что молчать, а важно, что вдвоем, что вместе и что наступает лето.

Вот и сегодня... Арья честно пыталась углубиться в законы физических явлений — ведь на носу экзамен, но, как назло, именно сегодня ей это и не удавалось. Сквозь покачивающиеся колоски Арья видела мечтательно расслабившееся лицо Валерки, дымящуюся в его пальцах сигаретку и думала о своем. Она думала о том, что скоро экзамены, а потом она поедет поступать в Питер, а Питер — лучший город в мире.

Она то открывала, то закрывала учебник, сердясь на себя, и вдруг, взяв ручку, принялась что-то торопливо писать. Порой рассеянно взглядывала то на Валерку, на сигаретку его, но взглядывала так, почти не видя. И Валерке вдруг стало обидно от этого ее постороннего взгляда.

— Арья, ау, ты где! Вернись!

Кивнула Арья, но смотрела так же отрешенно.

— Так нечестно, Арья, ты меня словно не видишь.

— Вижу, — отозвалась она, и Валерка больше не стал приставать. — А хочешь... — вдруг она сама подняла на него глаза, и что-то вздрогнуло в ее взгляде. — В общем, слушай.

Откинув со лба прядь, принялась читать, выхватывая строчки с листа:

День капелью радует звонкою, частою,
Я иду по радуге, по мосту к счастью.
Есть у неба лунной звезды многоцветные,
А у сердца юного есть мечта заветная...
Временем обласкана, есть мечта летящая —
Побродить по радуге, испытать счастье...

Сигаретка давно погасла в опущенных Валеркиных пальцах. Он не отрываясь смотрел на Арьку.

Сквозь дожди печальные я иду — весело!
А вдали качается в семь ступенек лесенка.
Если вам наскучили будни безотрадные,
Вы идите к лучшему, вы ищите — радугу!
Те дороги росные, счастьем обильные,

Ищут люди разные, но находят — сильные!
Люди, будьте дерзкими! Дни весельем радуя,
Вместо слов «весна на сердце»
Говорите: «Радуга!»

Арья закончила читать и затаилась, окончательно спрятавшись за колосками.

— Арья, ты это что? — дрогнул голос. — Сама сочинила?

Хотела было Арья сказать... Но увидела вдруг — лицо рядом: какое-то не мальчишеское, не Валеркино. Валерка был смешливый и озорной, в его лице Арье все знакомо, а этот — какой-то другой, незнакомый парень. И смотрел он на Арьку тоже другим, незнакомым взглядом.

— Сама, Арья?

И смутилась Арья, впервые в жизни смутилась от взгляда этого парня незнакомого, который разговаривает с ней сейчас почему-то Валеркиным голосом, — а у самого такие серьезные, взрослые, совсем не Валеркины глаза.

— Нет, не я это! Это из письма Онегину Татьяны.

Понял Валерка, что никакой это не Пушкин, не Александр Сергеевич, — Пушкина-то он знает, а вот Арьку эту, такую знакомую насквозь, оказывается, и не знает совсем!

Глава 9

А потом Арья все-таки открыла учебник и путем волевого усилия принялась внедряться, заодно внедряя туда и Валерку. Пусть уж теперь и он за нее страдает, не все ей. И хоть пытался он возражать, но вскоре признался и сам, что метод дает свои результаты и он уже запросто может сдавать экзамены экстерном. Вот хоть завтра — пойдет и сдаст за Арьку!

Но несмотря на общую легкомысленную подготовку отдуваться все-таки пришлось ей.

И — накатила волной пора выпускных экзаменов. Но вот ведь странно: и экзамены, и вся сила их выпускная пролетели для Арьи не оставив следа, не до того ей было. Волноваться, конечно, волновалась, но и волнение это не прошибало по-настоящему — столько уж напереживалась за последнее время.

Один за другим сдавались экзамены, проскакивали, словно отколупывались корочкой, а там — кожа новая, чистая. И с каждым таким разом все ближе грезилось что-то — новое, чудное, — все больше захватывая пространство, окружающее выпускников.

Вот уже позади и математика, и литература, и, несмотря на все угрозы Поликарповны, «Арька-мерзавка» получила «отлично», на что Поликарповна лишь сердито махнула рукой:

— Я ведь говорила — наврешь что-нибудь!

И была в словах ее и в жесте этом досада какая-то, наступающее сиротство: что, мол, мне теперь от вранья твоего? Уходишь ты, и вранье твое уходит, для других теперь вранье-то твое! Что ж, большому кораблю — большое плавание, а всем вам смолodu кажется, что корабли-то вы большие! А потом смотришь, и море в заводь тихую обратилось, и стоите вы, утлыми лодочками в берег уткнувшись. Ну а пока почувствуйте себя кораблями, носами поворачивайте, поплавайте, а мы уж издали, из гавани тихой полюбуемся.

А когда физику сдавали, взялся Эдуард за дело нешуточно: потели они, парты до одури знакомые просиживая, остаток мыслей воедино собрать пытались. Так уж не хотелось огорчать его, что незнание вдруг, с перепугу, в знание обращаться стало!

Но вот закончилось все, и их отпустило, и пошли они кучкой дружной, единым чем-то охваченные, волнением общим, только что пережитым, провожать Эдуарда до дома, особенное что-то в себе неся.

А дома — мама, в глазах оторопь, испуг, сумасшествие какое-то:

— Ну что, как ты? Сдала? Нет?

А Арья небрежно шоколадкой «Аленка» в руке помахала:

— Гордитесь: всего пять таких шоколадок было, пять! На каждую пятерку! Эдуард придумал — вместе с пятеркой шоколадку вручать.

И мать в кресло — бух, устало:

— А я-то уж думала... Переволновалась вся! Думала, не сдала ты, позора пережить перед Эдуардом своим не можешь! Ходишь по улицам, бродишь одна.

И ни упрека в глазах усталых за то, что явилась поздно, что пропадала неизвестно где. И даже силы на радость в ней нет никакой, одна усталость от пережитого.

И взглянула Арья в глаза матери, мамы, и что-то вдруг дрогнуло, проскочило. Прежнее, забытое, родное, да только не до того ей сейчас, не до того. Вспомнилось лишь мимоходом, как утром, поправляя на ее одежде что-то невидимое, когда отмахнулась Арья спешно, сказала мать ей на лестнице:

— Ни пуха тебе ни пера! — крикнула в уже летящий лестничный проем.

— И что теперь? — отозвалась Арья на бегу. — К черту тебя посылать?

— Посылай, раз полагается!

— Ну, значит, к черту! — рассмеялась Арья, и отозвались ей эхом этажи. И стронулось что-то между ней и матерью, словно ледок какой-то скололся.

Но за волнением дня забыла она, не до того ей — шумный день, праздничный. Но для нее одной, для мамы, берегла она эту шоколадку, даже Валерке, инвалиду перегипсованному, только понюхать и дала.



И сказала Арья, «Аленку» матери вручая:

— Между прочим, не так просто она мне досталась. Знаешь, сколько претендентов было? Цени, какая дочь у тебя умная!

Но лишь покачала головой мама, принимая из рук дочери дар. Отвернувшись торопливо, спрятав лицо.

— Спасибо за шоколадку!

А потом... Полетела навстречу пора выпускного бала.

И снова мать вертела ее перед зеркалом, накручивая что-то, но не вязалось это с Аркиным худым лицом, взглядом ее пронзительным, над миром плывущим. И мать беспомощно разводила руками:

— Не пойму я, Арья! На других девочек что ни надень — все как на картинке, а на тебе как на вешалке!

И невдомек матери, да и Арье самой невдомек, что и к одежде этой, наверное, соответствующее личико нужно: милое, легкомысленное, кокетливое, а где возьмет она, Арья, личико такое? Вот и таращится она усердно в зеркало, материнским стараниям угодить пытается.

А самой Арье не то чтобы все равно, но не думается ей как-то. Вот книга хорошая, человек интересный, животное красивое — это она понимает. Небо со звездами падающими, песня такая, чтоб за душу взяла! Стих, к примеру, хороший — это Арья понимает! А одежда — она ведь, наверное, того любит, кто и сам ее любит. И платица эти расфуфыренные — не идут они к Аркиному лицу с глазами серьезными.

Но все-таки накрутили что-то и на Арьку белое, воздушное. И пошла она навстречу выпускному балу. Да так пошла, без особого трепета. С учителями любимыми попрощаться, на ребят последний раз посмотреть — когда еще вместе соберутся!

Да только, видать, не умеет она, Арья, ощущать важность момента. Никакой тоски в ней нет по прошлому, по жизни школьной, не рвут ее сердце мотивы ностальгические, слезу из глаз не вышибает. Не верит Арья, что все это в последний раз. Да и трудно, наверное, поверить, что вот так ходил в школу, ходил, а теперь вдруг раз — и...

А народ плачет, слезы потоками разливаются, в воздухе нота какая-то звенит, тонкая такая, острая, словно током высокой частоты прошибает, задень — замыкание начнется. Но вот уже и речи прощальные отзвучали, учителей дымкой цветов окутали, грохнула музыка на весь зал — и утонули все в этой музыке.

А в Арье и в самой музыка звучит, но не та это музыка, другая какая-то: плавная, томительная, хочется ей чего-то, а чего — и сама не знает. Только не

держат ее ноги, не стоят на месте, несет Арьку вместе с музыкой этой. И пошла Арья, и ноги сами привели ее в любимый класс — кабинет физики, в самый родной, где столько всего пережить пришлось.

Прошла Арья по классу своему, кабинету школьному, пальцем, рукой по каждой парте провела, словно с каждой индивидуально прощалась. И захотелось вдруг каждую царапинку, выбоинку на память с собой унести, и запах этот парт, столов деревянных, приборов электрических, особенный такой запах, лишь их классу свойственный, и даже тишину эту, непривычную тишину вдруг опустевшего класса.

Подошла она к парте своей, погладила, откинула крышку, примостилась. И вдруг — защипало. Не хотела, да слезы сами пришли, поняла она вдруг: не сказки это, не выдумки, а верно — позади все, позади.

А тут и еще кто-то подошел — дрогнул сзади дверью, нарушив уединение, прошелестел неспешно, направившись к своей парте. А потом еще и еще...

И Эдуард вдруг объявился, подошел и сел на свое учительское место. И над всем их полузаполненным классом нависла вдруг тишина, полная и емкая, так пронзительно ими ощущаемая.

А Эдуард посмотрел на них — красивых, непривычно сжавшихся на своих партах, — и сказал... Вернее, хотел было сказать привычно-бравым учительским голосом:

— Ну что? Все в сборе? Тогда будем считать наше последнее собрание открытым. — Но, похоже, и у него где-то защипало. Сполз он к концу последнего слова, неожиданно дрогнув голосом.

И все вдруг стало таким родным: и доска эта за его спиной с формулами, стертыми наполовину, где чьей-то торопливой рукой написано: «Школа, прощай!» И столы, и стулья, и даже воздух их класса, и каждая царапина на парте. Еще немного — и утонул бы их дружный класс в общем вое...

Но вспомнил Эдуард, что он еще у руля, и бросил им со своего капитанского мостика:

— Оставить! Слезы пока прекратить! Жизнь большая, наплакаться еще успеем! А сегодня... — поднял он глаза. — Сегодня бал, и будем веселиться!

И зашмыгавшие было носы приутихли, глаза глядели на Эдуарда, уже осознавая всерьез, что ведь завтра... Всего лишь завтра — ничего этого не будет! Ни класса любимого, ни лиц рядом. И Эдуарда, впервые в их жизни, не будет тоже!

— Кавалеры приглашают дам! Ариадна, тебя, вернее, вас, — поправился учитель, — можно?

И он подошел к Арье и первым протянул ей руку. Арья кивнула запоздало, немного удивленно и растерянно, а Эдуард почему-то тоже казался растерянным.

— Ты сегодня такая красивая, прямо как Золушка на балу. Я даже боюсь тебя.

Арья рассмеялась, вмиг превратившись просто в Арьку, и подала руку своему учителю. Вместе, впереди всех, они направились в танцевальный зал.

Там всюду гремела музыка, кружились пары, и Арья кружилась тоже, в смущенной неловкости положив ладонь на плечо своему учителю.

«Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра встречать, учить и снова расставаться...»

Арья шла на волне музыки, забыв обо всем, даже о том, что и вальс-то танцевать не умеет, но сегодня все у нее получалось. Вот только почему-то впервые не находили они с Эдуардом темы для разговора, словно проскочила между ними неловкость какая-то: то ли от Арькиного внезапного повзреления, то ли от платья ее белого, от взгляда плывущего. Но смущался учитель, и не понимала Арья, кто перед ней: учитель, друг ли, или мальчишка неловкий, не знающий, куда себя деть.

А ей все нипочем — музыка в ней звучит, дивная такая музыка. И когда разошлись они уже поздним вечером — стала эта музыка ее забирать. Будто и не Арья это, а одна лишь сплошная музыка.

Воздух под локотки ее подхватывает, платье колоколом раздувает, и чудится Арьке — не по городу она идет, а блуждает в лабиринтах замка волшебного. Чудный такой замок, со шпилями и башнями, светятся окошки в нем ладошками вытянутыми, а под ногами булыжник стертый, буграми вековыми выпирающий. Закинула она голову, глядь — а над ней, в вышине, здание больницы Валеркиной, только окошки в темноте уже не светятся.

А в Арьке все та же музыка продолжает звучать, ширится в ней эта музыка, растет. И танцует Арья под музыку эту, все на свете забыв. Плавится в ней музыка, растет, тает, течет по жилам. Плачут пальцы Арькины, руки плавно изгибаются, платье вьется в ночи белым кружевом. И что за музыка эта такая волшебная, и откуда она взялась? Нету больше Арьки — одна лишь сплошная музыка. Арья, ты Арья, стала ты музыкой, Арья, вся, как есть, в музыку вышла. Кружится в ночи Арья белой музыкой, одна во всем мире кружится.

Да только... голос вдруг откуда-то сверху, уж не сам ли это Господь Бог с Арькой разговаривает?

— Арья! Узнал я тебя! Ты что здесь делаешь?

Ах, не Господь Бог это... Зачем ему Валеркиным голосом разговаривать?

Затаилась внизу Арья птицей пойманной, замерло в сумерках ее платье.

— Арья, признайся! Я ведь сердцем почувствовал. Заснул почти, только будто сила какая-то с кровати меня подбросила и на балкон повела. Будто крикнул кто-то: «Арья!» Отзовись, ну что ты там прячешься?

Но молчат сумерки, не откликаются.

Чиркнул Валерка спичками, сигаретным огнем ночь разболтал, да только еще темнее после этого стало. Молчит Арья, затаилась, не слышит ее Валерка.

— Арья, ты что — даже дышать перестала? Отзовись! Знаю я — ты это!

— Нет, не Арья это, — вздрогнула, наконец, отозвалась темнота, дойдя до Валерки тоненьким голосом. — Ошибся ты!

— Не Арья? А кто же тогда со мной разговаривает?

— А... птица это! Птица небесная. Из стран заморских, из краев далеких.

— И что же надо здесь птице этой?

— Ничего не надо. Кроме неба этого, неба звездного. Ночи волшебной. Мало надо птице небесной. Крошками она питается. Дай птице крошку, есть у тебя крошка? Счастлива будет птица крошкой одной.

— Дал бы я птице этой... Все небо бы отдал! И землю, и всю вселенную! Потому что птица эта — Арья моя! Да только нет у меня крошки малой! Разве можно птицу такую крошками кормить? Лети ко мне на балкон! Я подарю тебе мир!

— Высоко твой балкон, не дотянешься! Да и нельзя мне, птице вольной, к людям приближаться. Крыльями опалю...

— Не страшно мне! Лети ко мне, птица моя!

Но засмеялась темнота, зазвенела вокруг Валерки колокольчиками.

— Не полечу я к тебе, добрый молодец! Сам лови птицу свою! Спускайся, будем вместе кружить в танце волшебном. Только раз в жизни бывает такая ночь! Чудная, чудная, чудная!

И снова танцует Арья, и плывут ее руки тонкие, воздух она ими загребает. И все вокруг плывет вместе с Арькой, словно и земли нет, и места этого нет, и больницы, и деревьев вокруг, да и самой Арьки тоже нет — танцует пространство, белым облаком схваченное, на тонких Арькиных ножках.

Да только голос сверху доносится, и зовет этот голос ее: «Арья!» И чувствует Арья, что есть она еще, не совсем вся в музыку вышла.

— И рад бы спуститься к тебе добрый молодец, рад броситься за птицей своей, да ноги его к земле прикованы, палками железными подперты. Силы злые околдовали его, чтобы не мог он догнать птицу свою.



И снова затеплилась темнота смехом Арькиным:
— Смотри, добрый молодец, упустишь птицу свою!

— Нет уж, не упущу! Не дурак я совсем! Арья зовут птицу мою. Самая лучшая птица в мире — Арья моя!

И снова смеется Арья, и смех этот волнами омывает Валеркино сердце: так бы взял и унес к себе на балкон, от всех спрятал.

Но... Тихо вдруг стало под окнами. Замерла ночь, не колышется. Не отзывается снизу теплым облаком.

— Арья, что затихла ты?

Не отвечает Валерке темнота.

— Арья, отзовись! Обиделась, что ли? Что замолчала ты?

— Просто холодно. Мне стало холодно.

— Холодно? Арья, сейчас, подожди! — суетливо крикнул Валерка, и опустело вдруг на балконе, и ощутила Арья сердцем пустоту эту. Никто не называет ее птицей белой.

— Арья, держи! — шепотом, подобным грому небесному, грохнуло сверху, и полетело на Арьку что-то теплое, мягкое, вмиг укрыв собой.

— Ой, что это?

— Одеяло. Мое собственное. С моей собственной больничной постели. Пропахшее бинтами и йодом. Закутайся в него, Арья, тебе тепло будет!

Валерка смотрел, как обмоталась она клетчатым поверх бального платья.

— Ну что, тепло теперь?

— Тепло. Тобой пахнет, бинтами твоими.

— Вот и хорошо: пусть оно тебе меня напоминает. Ты и домой в нем иди!

— Но тебе же за него влетит!

— Пустяки! Главное, чтобы тебе тепло было. Тебе тепло?

— Тепло! А что я дома скажу? Как объясню, откуда оно?

— А ты скажешь... что в школе был карнавал и у тебя был костюм шахматной королевы. Была ты, Арья, птицей небесной, а стала шахматной королевой.

— Хорошо. Я так и скажу.

— Арья, а помнишь, как мы стояли тогда в Дырвасе? Желанья загадывали? — посмотрев на Арьку в клетчатом, вдруг вспомнил Валерка. — А знаешь, что я загадал?

— Ладно, пойду я, — вместо ответа отозвалась Арья.

— Подожди! Ты что, совсем не хочешь знать?

— Просто... мне надо идти.

— Да, — кивнул сверху Валерка. — Надо. Твоя мама, наверное, волнуется. Так тебе точно тепло?

— Тепло. Ну, я пойду?

— Иди, Арья! — и тут же испугался словно: — Арья, то, что я загадал, касается тебя и меня. Слышишь? Тебя и меня. Почему ты молчишь?

— Я не молчу. А ты хочешь, чтобы я ушла?

— Не хочу! Но тебе же надо: ведь дома ждут!

— Ну тогда я пошла.

— Иди... Арья! — через секунду не выдержал снова: — Ты что — и вправду ушла?

— Ушла, а что?

— А помнишь, как мы встретились тогда в лагере? Как ты чаем меня поила? Помнишь?

— Помню.

— Но я не это хотел сказать... Арья!

— Говори быстрее, а то меня уже почти нет. Меня несет. Я снова превращаюсь в птицу!

— Подожди! Я не сказал тебе главного, Арья! Я уже не тот, не прежний. Я много думал, пока здесь лежал. О жизни. О тебе, Арья. О нас с тобой. Когда мне с лица сняли гипс, я словно заново прозрел! Я теперь совсем другой!

— Я не хочу, чтобы совсем другой. Пусть хоть что-нибудь останется от прежнего.

— Но ты веришь мне?

— Ветер, какой поднимается ветер...

— Я понял главное. А главное — это ты, Арья! Потерять можно все, но нельзя тебя! Ты слышишь меня?!

— Говори что хочешь! Ты человек, ты просто человек, а Арья давно превратилась в птицу. Птицы не понимают человеческого языка. Прощай!

— Подожди, Арья, не улетай...

Долго звенела тишина вокруг Валерки Арькиным голосом, перекликалась колокольчиками. Чудился ему смех ее звонкий, платье виделось бальное, танцевальное. И сами собой вздрагивали губы, звали обратно:

— Арья моя, Аричка, девчонка глупая, неразумная, маленькая моя, маленькая...

Глава 10

Как оклемался Валерка после больницы, как собрали, сшили воедино его мышцы, слепили кости — вынырнул он, належавшись, на свободу — полон был самых радужных надежд.

Зрело в нем желание, вызревало — все по-новому начать, все по-новому! Горел он — и душа его горела, и зажигалась Арья этим его веселым огнем.

Ходили в поход они вместе с «Товарищем». Жили три дня на даче у Наташки Цыпочкиной, варили там жженку по рецепту особенному, борисовскому. По грамму было той жженки, по капельке, но процесс важен, колдовство чародейское: держали на тонких палочках облитые спиртом кусочки сахара — и горе-

ли они огнем жреческим, плавилась, капая в спирт, сам по себе горящий. Все это таинство, к священнодействию богов приобщенное, в полной темноте происходило, только тени их, огнем искривленные, на стене колебались. А Борисов им — про времена Пушкинские: как варили тогда жженку, неоднократно баловались — «в Троегорском до ночи, а в Михайловском до света». И принимали они словно с чудодейством этим неугасимый факел пушкинского духа, братства их лицейского.

А Валерка тут же — неотлучно, рюкзак следом таскает, хохмочки отпускает, с Борисовым о чем-то своем, мужском, переговаривается. А Арьке — хорошо, и со всеми хорошо — давно вместе не были, а тут и лето, и дача, и друзья старые, временем проверенные. И Валерка — живой, здоровый, о двух ногах — и при ней. Или она при нем? В общем — друг при друге. И на сторону его никуда не тянет, видно, как ему тут хорошо. Будто и не было провала черного, зимы страшной, когда чувствовала Арька, ощущала сердцем, как летит он в пропасть, пропадает навсегда.

И главное — все у него, за что ни берется, как-то ладно получается. Там, где мальчики их славные, умные, но по условиям жизни городские, рафинированные, толкнутся в бестолковости, у этого в руках все горит. И печурка маленькая с трубой отводной, коленом изогнутой, сама жаром пышет, дрова колются, веселыми полешками отскакивая, словно в каждом еще непроявленный Буратино живет. Только и слышится по всей еще по-раннему выстуженной даче:

— Валерка, помоги! Валерка, принеси!

— Один момент, щас... — и повсюду мелькает его неугомонная тень. Он и там, где что-то варится-кашеварится, снимает, довольный, пробу, смакуя вечное походное блюдо, за версту отдающее тушенкой. Он и там, где Борисов упорно ковыряется в проводке, — толкает шкафы и кровати, забыв про свои недавно окольцованные гипсом руки.

— Ну ты и деловой, — пробегает мимо Арька с мокрой тряпкой. Она трет ею истосковавшиеся в зимней залежалости полы. Валерка же с видом профессионала-дегустатора дует на оплывающую паром ложку. — Смотрите, чтобы он все не съел! — смеется на бегу Арька. — Похудел он в больнице-то на казенных харчах!

— Арька, а хочешь, попробовать дам? — кричит он вслед. — По благу?

— По благу — не хочу! — Она спешит в сторону реки, а Валерка так и остается стоять с вывернутой шеей.

— Валерка, ты пробовать будешь или нет? — отрывает его взгляд Людка, и он с важным видом начинает дегустацию, закатывая глаза.

— Соли мало! Еще соли! Дайте, я сам посолю!

— Не пересоли! — с усмешкой смотрят девочки, как швыряет он пригоршни, продолжая поглядывать в сторону реки.

А потом, после веселого ужина, болтовни и шума, наступает час покоя. После городской суеты и пыли хочется тишины и природы, и в сумерках все незаметно разбредаются.

Арьке тоже хочется немного побыть одной. Она уходит сквозь жидкий перелесок навстречу тихому туману, стелющемуся от реки. Почему-то становится грустно. Но есть река, и лес, и туман, и полоска заката в небе. И все это — приобщение к чему-то большему, высшему, которое есть, было и будет, о которое разбиваются порой их еще чего-то не понимающие души.

Она забирается на круглый валун у берега, хранящий в себе остатки дневного тепла, и сидит там, сжавшись, покачивая опущенной в воду ногой. И вздрагивает, когда ее окликает чей-то голос.

— Арька, вот ты где! Насилу нашел.

На берегу, закатав до колен брючины, стоит Валерка.

— Я не помешаю? — И, не видя в сумерках Арькиной реакции, бредет к ней по воде, отбросив на песок легкие полукеды. Присаживается — так, на самый краешек, чтобы не теснить, не мешать ее задумчивому настроению. — Правда, хорошо? — поглядывает он сбоку. В глазах притихшей Арьки отражается текущая река. — Если мешаю — ты скажи, я уйду.

Арька чуть пододвигается: на самом деле ей приятно, что Валерка ее нашел.

Он усаживается поудобнее и затихает рядом. Так сидят они, замерев, став частью природы, единым с ней целым.

Валерка отрывает взгляд от реки и искоса, сбоку, поглядывает на Арьку. Сегодня ему почему-то не хочется даже курить. Другая она какая-то сегодня — он даже пугается этой, новой. Но именно от такой и не может уйти.

— Арька, — окликает он, пытаясь дозваться до той, старой, прежней. Он старается говорить тихо, чтобы голос его соответствовал этой ночи. — Знаешь, у меня ощущение, будто я и вправду заново родился после той аварии, после больницы. Будто осколок кривой из глаза выскочил и я снова стал видеть мир в его нормальных красках. Помнишь, как в «Снежной королеве»? Я был плохой мальчик Кай, а ты хорошая девочка Герда...

Он снова посмотрел на Арьку — и снова не увидел отклика. Его слова падали в пустоту, оказываясь бессильными перед Арькиной мировой задумчиво-



стью. Казалось, ничто в мире не волнует ее сейчас, и даже он, Валерка.

И от этого ему стало как-то совсем одиноко.

— Арья, — позвал он более настойчиво. — Ну разве это не удивительно?

— Что? — наконец отозвалась она.

— Ну, все это. Что год прошел. И мы снова вместе. И снова ночь, и те же люди вокруг, те же песни, а главное... Ты, Арья. Ведь если бы не ты — у меня все было бы по-другому. Если бы не упрямство твое, не упорство, если бы... Арья, ты долго будешь такой серьезной?

— Я все слышу.

— Но ты даже не улыбнешься. Будто меня здесь и нет.

— Просто — эта ночь, звезды... — В Арье явно жило неистребимое романтическое настроение.

— Знаешь, а я даже начинаю завидовать этим звездам, — пыхнул Валерка и в голосе проскочили обиженные ноты. — На них ты хотя бы смотришь!

И вдруг, так и не дождавшись ее реакции, сказал:

— А хочешь, я тебя рассмешу? — и спросил без перехода: — Скажи мне, Арья... Только не смейся. Сразу не смейся! Скажи мне: ты меня... любишь?

Арья и не поняла сначала, о чем речь.

— Так любишь или нет? — припирал ее с настойчивостью Валеркин голос.

Арья прислушалась. Что-то очень забавное почудилось ей в этом Валеркином вопросе. Представила она вдруг со стороны: высокий торжественный пафос ночи — и вдруг это до банального смешное: «Ты меня любишь?»

Арья дрогнула, так, чуть, уголком губы, но тут же заметила колыхнувшийся обидой взгляд. Валерка даже отвернулся, уставившись вверх, словно хотел хоть там, в этих Арькиных звездах, разглядеть что-нибудь утешительное для себя.

— Нет, ты мне все-таки ответь! Я ведь по-серьезному вопрос задал!

— Ну ты же знаешь, Валерка! — рука привычно потянулась к его макушке. — Ты — мой маленький, младшенький, любимый мой братик!

Но — дернулась из-под ладони голова.

— Братик, братик! — перебил он с досадой. — Вот заладила тоже! — но вдруг, словно испугавшись, что может потерять и это, усмирился: — Ну и ладно, раз братик!

Сказал и затих рядом, потерявшись в ночи. Но вдруг, словно не в силах совладать с собой, обрушился снова:

— Ну хорошо, пусть братик, раз ты так считаешь. Но тогда скажи... За братиков замуж выходят? Ты бы — вышла?

— Что? — оторопев, смотрела на него Арья: да что с ним сегодня? — За братиков?

— Ну, не родных, а как мы с тобой, — и переспросил снова: — Вышла бы?

— Не знаю. Не думала я на эту тему! — из последних сил пыталась Арья сдержаться от смеха.

— Так подумай! Я же не просто так говорю! — И уж такой весь серьезный был у него вид, что Арья решила попытаться подумать.

Она смотрела на Валерку: ведь, наверное, чтобы ответить на этот вопрос — нужно разглядеть в человеке что-то... особенное, что и толкает на этот шаг. Она принялась это особенное в нем разглядывать. Но видела перед собой только Валерку, его знакомую физиономию с чуть оттопыренными ушами, покрывшимися после больницы легкими кудряшками волос, которые, казалось, тоже напряженно ждали в темноте. Ей совсем не хотелось его обижать, но уж больно смешной был у него вид, больно глупо звучал вопрос...

— Понимаешь, Валерка... — ну никак не удавалось ей сосредоточиться, смех раздирал губы. — Если бы я и вышла замуж, то только за того, кто, как Грей за Ассоль, приплывет за мной на алых парусах.

— Ну и жди своего Грея! — Валерка вздохнул и отвернулся. Понял он, конечно, что смеется над ним Арья, хотя, может, какого-нибудь Грея себе уже и присмотрела. Понятно: не тянет он, Валерка, на Грея!

А Арье уже сдерживаться надоело: поняв, что сопротивление бесполезно, она разразилась смехом. И чтобы как-то скрыть свою неловкость, принялась тормозить, спихивать Валерку с камня.

— И нечего мне задавать дурацкие вопросы! Выдумал тоже — «за братика замуж!»

— Ах дурацкие? Дурацкие, да?

Продолжая хохотать и барахтаться, они скастились в реку, но и там не прекратили борьбу, все больше входя во вкус, дурачась и поливаясь водой. Пока, наконец, промокнув окончательно, не вылезли на берег, с изумлением оглядывая друг друга.

— Ну и как мы теперь в лагерь пойдем? В таком виде? — пыталась Арья хоть как-то отжать на себе промокшую одежду.

— Ничего, вернемся, печку растопим — все высохнет, — утешал, подпрыгивая рядом, Валерка. А глаза его... Глаза говорили: «Глупая ты, Арья, глупая, все бы тебе только в хаханьки играть! Не поняла даже, что я серьезно. Ну и ладно, больше и спрашивать не буду!»

А вслух сказал, мотнув головой:

— Говорил ведь, что рассмешу — вот и рассмешил!

А потом был вечер и колебание свечей, чуть прижимаемое оконным сквознячком. Уютно толпится

сомкнувшимися плечами компания, слабыми отсветами выхватывая знакомые, повзрослевшие за год лица.

Арья с Валеркой сидят, плотно закутанные спальниками. Одежда их, распятая в сумерках, сохнет, озонируя влажностью разогретый печуркой воздух. Им смешно, что их укутали, как младенцев, еще бы бантики сверху — и смело можно совать в клюв аисту: несите счастливым родителям.

А Борисов им — про «Канатчикову дачу», «Дует-дует ветерок», «Что глядишь ты на меня в упор?». И еще какие-то — знакомые, шепотные, «хулиганские». И тепло им, сердечно и уютно от песен этих, от взглядов, от свечей, от жженки хмельной, капельной. И даже от сквознячка, щекотно мурашащего влажную после купания кожу.

И чем ближе к ночи, тем грустней, лиричней. И уже затихают смех и пение, перебивающее разговоры. И звучит милое, старое, проверенное, попадающее прямо в сердце: «Не бродяги, не пропойцы, за столом семи морей вы пропойте, вы пропойте славу женщине моей...»

А Валерка сидит и как бы рядом с Арькой, и напротив ее. Все видит, что с ней делается: как нос свой фыркающий в одеяло спрятала, как голову к стенке небрежно прислонила.

Смотрит на нее и думает: ну что в ней? Девчонка как девчонка, ничего особенного, но почему же так ранит она его сейчас? Каждым своим движением, каждым взглядом, мимо него скользящим? И хочется ему смотреть на нее не отрываясь — и не может он на нее почему-то смотреть.

«Вы в глаза ее взгляните, как в спасение свое, вы сравните, вы сравните с близким берегом ее...»

А утром, когда Арья так и проснулась — спеленутой гусеницей на полу, — лежал у ее изголовья букетик незабудок. Травинкой легкой стебельки перетянуты. Улыбнулась Арья — утру ли, цветам, еще не поняв, откуда они да и ей ли вообще предназначены. Но зацепило краешком сознания: Валерка! Оглянулась вокруг, прижав незабудки к щеке, рассмеявшись их утреннему присутствию. И только хотела крикнуть: «А где Валерка? Где этот негодник! Подайте его сюда!» — как кто-то сказал:

— А Валерка исчез. Собрался и, ничего никому не сказав, ушел на утренний автобус.

И снова был вечер. И вокруг те же лица, и песни те же. Все, все было по-прежнему. Но Арьке словно чего-то не хватало.

Вспоминалось лицо его, Валеркино, вдруг после больницы повзрослевшее, веселая дачная возня — какой он был всем нужный, деловой, как сказал Арьке, прищурившись гордо:

— Цени, какой Валерка у тебя работающий!

И ответила Арья, смеясь:

— Видать, и вправду здорово тебя шарахнуло. Оказывается, аварии не один только вред приносить могут!

А он посмотрел на нее и сказал:

— Глупая ты, Арья, и ничего-то ты не понимаешь!

Глупой еще обозвал! А теперь вот взял и ушел. И умная теперь для всех Арья, а только ей от этого ни жарко, ни холодно. Вот ведь как хорошо-то, оказывается, когда Валерка рядом был. Тепло, надежно. Да только пока тепло — разве его ощущаешь? А нет его — и все остальное не очень-то нужно.

Но проскочил и этот день, и ночь, и, погорлавив в автобусе песни на радость впечатлительной публике, прибыли они в город. А дома отец, привычно тапочками по комнате шаркая, спросил:

— Ну как поход? — и, не дождавшись, проборотал обычное: — Нужно вам по походам этим ходить, здоровье свое гробить, радикулит зарабатывать. — И отправился крутить ручку телевизора.

И снова, в который раз после возвращения, ее поразила пустота городской квартиры.

Поскитавшись из угла в угол и не зная, куда себя деть, Арья забралась в ванну, и, включив мощную струю, подставляла по очереди ладони, пытаясь понять: почему в ее жизни все не так? Все как-то не стыкуется, не получается, словно всегда чего-то не хватает. И, рассматривая свои тонкие руки со стекающими струйками воды, вспоминала берег реки, круглый валун, полоску месяца в небе и летящие в лицо брызги. Она еще не думала о том, что это, может быть, навсегда потеряно. Она думала только: «А зачем все, если все равно проходит?»

Глава 11

Еще немного — и заколебался перрон у нее перед глазами, заходил веселым покачиванием.

Стояли ее друзья, почти все они пришли проводить Арьку в дорогу. Пели они, многолюдный перрон голосами озвучивая. И Борисов играл на гитаре, как обычно, но стал он вдруг какой-то маленький. Маленьким стал Борисов, когда глядела на него Арья из тамбура вагона. И родители, стоящие в стороне беспомощно и одиноко, тоже были маленькими.

Арья смотрела на них сверху, и большая была Арья, потому что дорога, которая лежала перед ней, была большая. Она была больше той дороги, которую сулил ей торец пятиэтажного дома, утверждая, что «еще жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать». Она была больше самой большой дороги, потому что была еще не пройденной.



Борисов играл на гитаре, и смотрели на нее друзья, и все они были здесь: и Катька, такая занятая, и Гелька с Тойвочкой — они держались за руки и будут держаться еще долго, может быть, всю жизнь. И Людка, и Наташка Цыпочкина, и ее подрастающий брат, и даже Левка Матушкин, которого своим отъездом Арька лишала перспективы устроенной семейной жизни; все-все, кого она успела полюбить навсегда.

Не было только одного человека...

Тогда, после похода, тетя Лида показала ей записку: «За меня не волнуйтесь. Уехал на заработки. Скоро вернусь. Валера».

— Куда уехал? Зачем? — посмотрела она на Арьку и вдруг спросила: — Не произошло ли у вас чего в походе, Аричка? Подавленный он приехал какой-то, грустный, все говорил: «Я должен ей доказать!» Чего доказать? Кому?

Но Арька лишь пожала плечами. «Не пришел — ну и ладно!»

А друзья стояли, покачиваясь, глядели на нее и пели: «Ты уедешь — грустно станет, станет долгим, долгим вечер... До свиданья, до свиданья, до свиданья — до встречи!»

А потом грустное они перебивали веселым, чтобы не так сильно ощущался разрыв между двумя еще недавно близкими сторонами, вдруг распавшимися на отъезжающую и остающуюся: «Пока нам тесен дом и нет еще седин, прощайте, мы пойдем на поиск бригантин! Стоят же где-нибудь и наши корабли, у берега мечты на краешке Земли...»

А потом поезд тронулся.

И все закричали:

— Арька! Прощай! До свидания, Арька!

Они бежали следом и кричали, ее друзья, а рядом шли родители. И последним, кто отстал, была мама.

И — все. Позади остался мир, впереди был другой, и теперь уже по-настоящему и окончательно — все. И Арькино сердце, колыхнувшись в последний раз, стало потихоньку остывать.

Но когда поезд, чавкая, начал медленно наращивать обороты, вдруг, откуда ни возьмись, на платформе появился — мотоцикл! Мягко лавируя, оглябая людей, он, поравнявшись с ее еще незакрытым тамбуром, вдруг покотился рядом. А человек, сидящий за рулем — она еще не поняла даже, кто, — взмахнул рукой и крикнул: «Арька!»

И она вздрогнула, узнав этот голос.

Но самое удивительное даже и не в том, что мотоцикл появился, и даже не в том, какой он был: огненно-красный, даже скорее — алый. А в том, что сзади него, прикрепленное сбоку сиденья к высо-

кой деревянной палке, развевалось на ветру красное летящее пламя — поднятый Валеркой в честь Арьки его собственный алый парус. Он тянулся за его спиной, проносясь по платформе развернутой лентой, во всю длину которой корявыми буквами, синим по красному, был выплеснут крик его души: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, АРЬКА!»

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, АРЬКА!» — билась на ветру размазанными волнами красная тряпица, заставляя оглядываться прохожих, прилепляя к окнам уже распрощавшихся, не ожидавших увидеть ничего интересного пассажиров.

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, АРЬКА!» — проплывало улыбкой по лицам, сначала сердито оглядывавшимся на звук мотора, вызывая удивление в глазах проводников. Продолговатое зарево катилось по платформе, освещая собой все вокруг.

Арька... Она не узнала Валерку сразу, да и не могла узнать: ведь она никогда не видела его на мотоцикле! Тем более таким: в ореоле всего красного, но почему-то с зеленым шлемом на голове. Он напоминал космонавта или инопланетянина, вдруг приземлившегося на платформу их городка, волоча за собой огненный шлейф с этим: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, АРЬКА!»

Она еще по инерции продолжала махать редющей вдалеке толпе, а мотоциклист передвинул на лоб очки и, открыв лицо, улыбнулся. И Арька узнала окончательно: конечно же, это он — Валерка! Да и кто еще додумался бы протянуть по платформе «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, АРЬКА!», распустив слова вее-ром за спиной.

Но платформа кончилась, и не успела Арька ахнуть, как Валерка на ходу вместе с мотоциклом и с этим «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, АРЬКА!» соскочил на траву и теперь покотился по тропе вдоль рельсов. Чтобы не отстать от поезда, от ее вагона, он все увеличивал скорость, все жал на газ, словно решил доказать ей окончательно и бесповоротно, что скорость и есть самое лучшее в мире!

«Арька!» — кричали его глаза, его губы. Ну что еще он мог сказать ей сейчас, в момент, когда поезд набирал скорость? Хотя... Он мог бы сказать ей многое! Да только сейчас она все равно не услышит, все равно не поймет. Впрочем, он и так сказал ей все! И он все нажимал и нажимал на газ, пытаясь обогнать ее вагон.

В конце концов ему это удалось, он попытался лихо выписать петлю, и, чуть не свалившись, оставил мотоцикл, вмиг захлестнувшись собственным знаменем. Торопливо сорвав с головы шлем, взмахнул им и крикнул, пытаясь перекричать гул поезда:

— Арька! Возвращайся! Я буду тебя ждать, Арька!

Арья, оцепенев, смотрела — она так ничего и не успела понять: все произошло в считанные секунды. Она только видела мелькнувшее Валеркино лицо, его вскинутую руку с зеленым и круглым, словно солнце, сияющим шлемом. Она увидела, как он чуть не упал, пытаясь выписать петлю.

И в ней вдруг всколыхнулось вечное: желание помочь, спасти, уберечь! Но накатывал колесами состав, и их вибрация дрожью отзывалась в ее сердце.

— Валерка! — запоздало крикнули ее губы. — Валерка!

Вагон качнуло, она едва успела схватиться за поручни.

— Я вернусь! Я вернусь к тебе, Валерка! Я обязательно вернусь!

Глаза вдруг затуманились...

И — огромное зеленое солнце поплыло у нее перед глазами.



©Дудякова Анна, 2011г.



МУТАБОР

НЕДЕЛЬНЫЙ РОМАН

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Суббота. 9 октября

Глава 1

Кашеварский синдром

1.

Клубистые облака висели на кончике волос, белая вата тумана укрывала Омара целиком, поглотив заодно и рокотания грома. Осеннее утро, казалось, было охвачено странным оцепенением, которое больше походило на сон, нежели на реальность.

«Это рай, — подумал Омар, — зефир-эфир, молочные реки — кисельные берега, сахарная пудра и помадка. Вот она, восточная нега! В каком дурдоме меня держат? Какими наркотиками и лекарствами пичкают?»

Голова — как лодка, у которой весла-уши почти бесшумно опускались в воду, — плыла по глади сновидений.

И в этих сновидениях его второе, глубинное «я» шло по дну, медленно перебирая клешнями-конечностями густой ил. Карабкалось, пока не уткнулось в собственное отражение — в ярко-красные лебединые лапы, барахтающиеся в мутной воде сверху.

Снилось Омару, что он краб и что он разговаривает с лебедем, опустившим голову и шею под воду.

— А, — сказал Омар, — это опять ты?

— Да, — отвечал лебедь.

— А почему ты такой грустный?

— Я проглотил камень и теперь страдаю.

— Какой камень?

— Огромный агат, он застрял в моем горле и теперь перевешивает все мое тело.

— А я почему оказался здесь, на дне? — спросил Омар. — Я не глотал никаких камней.

— Ты понюхал волшебный порошок, — ответил лебедь, — точнее, злые волшебники-санитары в белых халатах заставили тебя этот порошок принять, и ты обрел свою истинную сущность, звериное обличье. Нет, пока еще не звериное, а полужвериное. Ибо омар только отчасти рыба и отчасти женщина. Ты стал настоящим омаром.

2.

— А как мне опять стать человеком?

— Ты должен вспомнить заклинание. Священную формулу. Но сначала тебе надо будет пройти предназначенный тебе путь до конца, и ты станешь даже не растением, а камнем. Точнее, твое сердце превратится в камень, на котором выбито заклинание.

— Какое еще заклинание? — возмутился Омар. — Как я, будучи камнем, смогу прочитать его?

— Не знаю, но ты должен постараться, ибо, как сказано еще в одном заклинании, и растения, и жи-

вотные, и горы каждый день воздают хвалу Всевышнему, ибо в сердце каждого из нас живет Бог. А сейчас к тебе посетитель, — сказал склонившийся над лицом Омара лебедь в белом халате. — Сам консул желает тебя видеть!

— Кто? — приподнял каменные веки Омар.

— Ну же, очухивайся скорее, к тебе пришел консул, как мы и обещали. — Омару показалось, что лебедь был так обеспокоен и взволнован, что захлопал по воде лапами.

«Очухивайся», «очухивайся» — вновь и вновь слышал Омар характерный звук хлопков. Только спустя пару минут до него дошло, что это его бьют по щекам, а вода появилась, потому что его поливали из графина.

— Не могу, — закрыл лицо руками Омар, ощущая себя уже не мощным членистоногим, а мягкотелым растением, подхваченным и несомым мощным течением, как перекасти-поле, по пружинистым коралловым сплетениям кровати.

Его сначала переворачивали с боку на бок, больно тыча в живот и под ребра палками. А потом какая-то сила зацепила его за превратившиеся в ветки клешни и поволокла-понесла по кораллового цвета полу.

Ноги были ватными, а пол, отшлифованный бесконечными волнами шаркающих тапочек, скользким.

3.

В солнечной комнате для свиданий, куда Омара вывели под руки рыбы-прилипалы, они же санитары, Омар чувствовал себя неуютно. Вытолкнутый из норы кровати мощным потоком, он, ожидая встречи с консулом, сидел поджав под себя ноги и сгруппировавшись — вдруг его снова понесет по течению?

Звякнула цепочка со стальными звеньями, и сначала, словно острые зубцы-резцы, открылось небольшое окошечко с решеткой, затем пасть двери распахнулась на полную ширину, и в комнате, размахивая кожаной папкой, словно спинным плавником, появился консул. Он был в костюме с металлическим отливом, отчего на солнце казалось, что это чешуя.

— Здравствуйте! — сделал реверанс консул с рыбьими глазами навывкате.

Омар вяло кивнул, переводя взгляд с выпученных глаз на веснушчатое, как у настоящего англичанина, лицо. «Почему он ходит по комнате свиданий и не может остановиться ни на минуту? Почему так тяжело дышит, постоянно обмахиваясь папкой-плавником? — насторожился Омар. — Может, этот консул — акула? И ему необходимо постоянное движение, чтобы воздух попадал в жабры? И стоит мне

с ним выйти из-под опеки санитаров, как он тут же меня проглотит?»

— Мне кажется, ему плохо! — обратил консул внимание дежурного врача на бледное лицо Омара. — Здесь очень душно и пахнет лекарствами. Вы даете нашему гражданину возможность гулять?

— Конечно, мы же цивилизованная страна. У нас предусмотрены ежедневные прогулки для пациентов. А лекарствами пахнет, потому что это больница.

— Мы можем с ним сейчас погулять по саду? Я чувствую, что просто дурею от одного запаха порошка и уже не могу здесь находиться. — Блеснув белоснежными зубами, консул провел папкой-плавником у горла.

— Я не хочу! — замычал Омар.

— Вот видите, — сказал врач, — я же вам говорю, это небезопасно. У него кашеварский синдром. Он возмнил, что знает, где спрятаны сокровища Буль-Буля Вали. Здесь очень много буйных с кашеварским синдромом.

— Ничего, думаю, я справлюсь, — грозно улыбнулся консул во все тридцать два зуба.

— Какие у него острые зубы, — твердил под нос Омар, — даже зубы мудрости заточены под кинжалы. Он, наверное, не только спит, но и ест на ходу — ведь он акула.

4.

Когда санитары вывезли Омара на коляске на улицу, волна свежего воздуха немного отрезвила его.

— Куда вы меня тащите? — спросил Омар. — Я не хочу вновь оказаться в бурных уличных потоках Кашевара. Верните меня в мою тихую гавань из открытого плавания!

— Дома будете через несколько дней, — сказал консул, — я вам это обещаю. А сейчас вы должны выполнить возложенную на вас миссию до конца.

— И вы тоже про это предназначение. Вы тоже думаете, что я избранный, — чуть не заплакал Омар.

— Оставьте свой дешевый театр одного актера для санитаров. Фонд послал вас в Кашевар, чтобы вы фотографировали зоопарк? Если у вас впредь возникнут сложности, обратитесь за помощью к филателисту Фахаду.

— Я помню.

— Вот и сделайте то, что обещали. Сейчас начинается самое интересное — народные волнения. И во избежание неприятностей эмир и мэр ввел чрезвычайное положение и строгий визовый режим. Проще говоря, он закрыл границу, выслал всех журналистов и вырубил сотовую связь в стране. В Кашеваре сейчас нет ни Интерната, ни одного западного корреспондента-наблюдателя. Вся надежда на вас. Вы



просто обязаны сделать несколько снимков и отправить их в наше телеграфное агентство.

— Но при чем здесь зоопарк? — Омар все больше приходил в себя.

— Это и есть самый настоящий зверинец. Точнее, цирк. Восточные люди, особенно когда они в ярости, немногим лучше зверей. Настоящие обезьяны, и во- няет от них, как от скота. Где ваш фотоаппарат?

— Я сдал его в аренду, — пошутил Омар.

— Отлично. Отправлять фотографии будете по следующей схеме. В парке при мавзолее Буль-Буля Вали есть огромный валун. Найдете сколотое место с резким углублением. Вставляете туда флеш-карту — остальное не ваша проблема. Через пятнадцать минут флеш-карту забираете и делаете, если сможете, еще снимки. Запомните, за каждый снимок демонстрации и палаточного городка мы платим 100 евро. За снимки беспорядков и противостояния с полицией — по 200 евро, за убитых — по 300 евро, за раненых и обездоленных — по 250. В мире необходимо сформировать нужное общественное мнение. Вся надежда на вас.

5.

Омар, с уже совсем ясной головой, слушал внимательно инструкцию консула, чувствуя, как каменеет его сердце. Не успел рыба-консул сказать про валун, как Омар вспомнил человека, что тащил привязанный к ноге валун вокруг пруда Балыка-Малика.

Теперь ему становилось понятно, зачем его послали в Кашевар и чем руководствуется его фонд, прикрываясь защитой животных. Значит, все это время его использовали, и он, по задумке организаторов, должен был быть глазами фонда, как филателист Фахад стал его ушами. Тут же Омар вспомнил притчу про трех обезьян, закрывающих глаза, уши и рот. Не вижу зло, не слышу зло, не произношу зло.

— Кстати, что там главврач говорил про ваш кашеварский синдром? Что это значит? На какой клад они намекали?

— Я ничего про это не знаю. — Омар уже понял, что его принимают за сумасшедшего, и поэтому решил больше никому и никогда не проговариваться о сокровищах Буль-Буля Вали.

— Хорошо. Не хотите говорить — это ваше личное дело, но задание, порученное вам, — общественно значимое, и вы должны выполнить его добросовестно.

На этот раз Омар промолчал. Ему больше всего сейчас не хотелось разговаривать с консулом, а тем более смотреть в его рыбы глаза навывкате. Отвернувшись, он увидел дочь эмира, которая в это время в полном одиночестве гуляла по саду возле лечебницы. Она подбирала листики и дула на них. Омар

вспомнил, что рыбы просили избавить его от этих дуновений. А теперь, наверное, и птицы попросят Омара избавить их от консула. Потому что все, что тот ему сказал, было ужасно.

— Извините, но пациенту необходимо вовремя проходить лечебные процедуры, — вовремя подо- спел главврач. — Надеюсь, вам хватило времени для разговора.

— Да, спасибо за оказанную любезность, — сверкнул консул хищной улыбкой. — Думаю, мы этого не забудем.

6.

Не успела за спиной Омара захлопнуться железная дверь мужского отделения, как санитары привязали Омара к железной койке и ввели в кровь большую порцию какого-то мутного лекарства. Это-то и называлось процедурами. Омар не чувствовал боли несмотря на то, что санитар резко вонзил иглу.

«Наверное, — решил Омар, — в лекарстве такое количество одуряющих веществ, что я долгие месяцы буду мертвым внутри. Хотя, возможно, меня пичкают психотропными средствами, чтобы разбудить подсознание и выведать тайны сна.

Сначала они хотели сделать со мной то, что до конца не удалось солнцу — полностью лишить памяти и превратить в неразумное животное. А теперь, — рассуждал он про себя, чувствуя, как постепенно каменеют и холодеют руки и ноги, — они попытаются выведать, о чем я разговаривал с консулом.

Но почему они дали мне возможность с ним встретиться?

Скорее всего, дело в том, что Гураб-ходжа ведет двойную игру. Он хочет подготовить себе пути к отступлению и сохранить демократическое лицо. А когда его спросят, почему меня поместили в дурдом, он отмажется тем, что это был якобы единственный способ спасти меня. Плевать, плевать на них всех и на все вокруг».

Чилим откинул голову на подушку, чувствуя, как уши заложило ватными тампонами, а язык начал неметь.

Дальше Омару показалось, что через ушную раковину ему в голову просунули веревку, конец которой привязали к языку и начали за него дергать.

Омар не хотел ничего говорить, но чтобы от него отстали, ему пришлось, преодолевая тяжесть языка, произнести несколько фраз. Затем он и этого не смог делать. Все конечности, в том числе и язык, продолжали тяжелесть, пока Омар из растения полностью не превратился в камень.

А с камня какой спрос? Камню можно только вставить флеш-карту в ухо.

7.

Через несколько часов, когда дурь немного отпустила, в уши и рот Омару полезла холодная влага с оттаявших ног и рук.

— Овод, овод! — Коридорный шел, стуча половником по крышке, что означало «обед, обед!». Это Омар слышал, кажется, сквозь сон, пока его питала своим выменем капельница.

— Ж-ж-ж, ж-ж-ж, — раздался голос спустя какое-то время, что значило «ужин, уже ужин».

Более или менее придя в себя, Омар окинул взглядом палату Буль-Булей.

Массивная железная дверь с окошком отделяла этот мир от прочего. Белая палата была переполнена больными, помешанными на сокровищах Балыка-Малика. Один утверждал, что знает, где находится клад, и требовал кирку и лопату немедленно. Другой рассказывал, что Буль-Буль Вали приходит ему во сне в облике зверя. Был здесь и сумасшедший, требовавший вырезать драгоценные камни у него из почек.

Насмотревшись на больных, неимоверным усилием воли Омар заставил себя сползти с перины. Преодолевая вялость — передвигаться можно было только очень медленно и плавно, чтобы не потерять равновесия, — он зашаркал по палате в сторону двери.

В коридоре у тележки с едой выстроилась толпа сумасшедших со своей посудой. На многих были лохмотья, напоминающие клоки шерсти. Некоторые сжимали в руках ночные горшки. Жалкие, забитые, доведенные лекарствами, голодом и жестоким обращением до полуживотного состояния люди жались к стене. Вся процедура кормежки напоминала гуманитарную помощь пострадавшим после какой-нибудь страшной катастрофы. Но какой? Неужели катастрофы кашеварского синдрома?

«Ага, — догадался Омар, — меня упекли именно в эту палату, потому что я тоже помешался на сокровищах Буль-Буля Вали и потому что ко мне тоже во сне приходят звери. В общем, меня тоже охватил кашеварский синдром».

— Возьмите, возьмите для меня сокровища Буль-Буля Вали, — протянул ему пластиковую миску в руки старик в лохмотьях.

— Кто ты? — обернулся к нему Омар.

— А я эмир этого города, — ответил склонившийся к Чилиму человек, — и пришел, чтобы поговорить со своей дочерью. Но они, напичкав меня лекарствами, упекли сюда, как упекли и тебя. Они обманом заставили меня понюхать волшебный порошок. И вот я превратился в полужверя-получеловека.

«Кажется, я схожу с ума, — подумал Омар, передавая миску с похлебкой старику, — или сойду, если задержусь здесь еще на пару дней».

8.

Взяв еды и себе, Омар заметил, что сумасшедший старик уселся у стены на пол и начал хлебать перловку.

— Если ты эмир Кашевара, — подсел к нему Омар, — кто же тогда правит из цитадели?

— Известно кто — мой двойник-самозванец! Он же ставленник Гураба-ходжи!

— В какой палате ты лежишь? — с недоверием посмотрел на него Омар. — В палате с Наполеоном, Македонским и Тиглатом Паласаром Третьим?

— Да, меня специально поселили в эту палату. Но уверяю, я не тигр полосатый, я нормальный человек, как, кажется, и ты. А мою дочь выдают за сумасшедшую, охваченную кашеварским синдромом. Но это тоже ложь. Она нормальная, слегка меланхоличная девочка.

— А зачем, эмир, Гураб-ходжа поставил твоего двойника?

— Какие наивные вопросы! Ну разумеется, чтобы контролировать власть в Кашеваре.

«А может, этот сумасшедший действительно подлинный эмир Кашевара? — с еще большим подозрением посмотрел на его лохмотья Омар. — И ему можно открыться и рассказать о сокровищах?»

«Ну уж нет, — тут же поймал себя за хвост Чилим. — Если я хочу выбраться отсюда, мне больше нельзя заикаться о сокровищах. И даже думать о них».

Но любопытство не давало Омару спокойно есть. Он вдруг вспомнил, что с ним случилось в последние дни, включая и консула, и девочку, дующую на воду. А не является ли вся эта неделя лишь бредом умалишенного? Может быть, это все происходит лишь в его шизофреническом сознании? А он действительно сумасшедший, который живет в этой клинике уже давным-давно, но больное воображение переносит его время от времени через забор и рисует фантастические картины?

— Скажи правду, на самом деле и ты, и я, и твоя дочь — всего лишь шизофреники? — покрутил Омар Чилим пальцем у виска.

Ответить старику не дали санитары.

— Эй, вы, а ну прекратить секретные сборища! — прикрикнули они на Омара. — Кому сказано, немедленно отойдите друг от друга.



Глава 2

Компот из сухофруктов

1.

После больницы я решил идти жить в общежитие и не появляться больше в квартире Грегора Стюарта. Мне было ужасно стыдно за все, что я натворил. Так получилось, что я сначала обманом занял квартиру Грегора, а теперь вот и овладел его девушкой. Но я ошибся, думая, что чувство стыда пройдет. Мне везде, на каждом углу, в каждой точке божьего света было не по себе. Везде я был под оком ее камеры. И даже в моей комнатке совесть не переставала мучить меня.

Вернувшись в общагу за полночь, я обнаружил, что моего друга по-прежнему не было. Прошлой ночью он из деликатности не явился домой. Но сегодня-то что?

Скинув ботинки, я лег на кровать и заложил руки за голову. Но долго находиться в состоянии стороннего созерцателя я не мог. Стоило мне остановиться и задуматься, как камера совести наезжала на меня, выхватывая из темноты крупный план.

Увидев объектив луны за окном, я нервно вскочил с кровати. В движении я хоть на миг, но ускользал от ока наблюдения. Позвонив на работу, я выяснил, что Муха там сегодня тоже не появлялся.

— У вас что?! — орал бугор в трубку. — Болезнь какая заразная, что ли? Птичий или свиной грипп? Только появись у меня здесь! Попробуйте только заразить кого! Чтoб я больше вас здесь не видел!

«Надо идти его искать», — подумал я только потому, что теперь, с размягченным и превращенным в кисельную пастилу сердцем, я чувствовал себя виноватым перед Мухой. Приехав в центр, я первым делом пошел в одну пивнушку с дешевой закуской на Петроградке. В «Хромой серой лошади» частенько после работы собирались мои соплеменники. Там-то за шторкой, в собранном виде похожей на конский хвост, я и встретил его, обставленного зелеными пивными бутылками.

— Салам, — подсел я к нему за столик. — Как дела?

— Салам! — бросил он исподлобья тяжелый взгляд.

Под прицелом этого взгляда и под мелодичную витиеватость кашеварской речи мне очень захотелось быть не в холодном каменном Питере, не в этой заблеванной пивной с высохшим полумесяцем-воблой и тяжелой пенистой кружкой-облаком на фоне серого с разводами низкого свода. А быть у себя в цветущем Кашеваре, где июльская ночь, темная и сочная, словно спелая слива.

2.

В летние ночи за окном так много разноперых звезд, и когда лежишь на траве в июле, да еще под открытым небом, кажется, что вот они, у тебя над головой, — только протяни руку. А дальше, у линии горизонта, они плавно переходят в усеявшие склоны небосвода алые маки.

Ну чем не рай? Горы раскинулись веером-забором, словно хвост павлина, с северной стороны. Одинокое облако, слон-гренадер в сером бушлате, охраняет вход. Царственный лев-поэт полумесяцем изогнул лапу, наложив ее на замок ворот, а у дырки в заборе, у лужи, именуемой географами почему-то не озером, а морем, приютился огромный чеширский хряк — соляной холм. И он даже не пошевелится и не почешется, пока вы хитростью не попытаетесь пролезть в лазейку, нарушая его покойный сон.

Но это все в мечтах. А сейчас я сижу под низким сводом пивнушки возле Мухи и гляжу, как нос товарища превращается в красную сливу, а уши — в вреную компотную грушу. И как засаленная толстая щека плавает в лужице пива.

— Эй, дружище, — тереблю я друга по загривку, просунув руку в лаз между выстроившимися в ряд пустыми бутылками, — проснись, приятель!

— У-у-у, — машет он головой.

— Нам пора идти! — хлопаю его по другой щеке.

— Никуда я с тобой не пойду, — глядит на меня мутными глазами Муха.

От одной только мысли, что он целый день заказывал себе пиво, одну бутылку за другой, да еще мешал пиво с крепленой дынно-абрикосовой и грушево-сливовой настойкой, той самой, что я принес вместе с банными принадлежностями, — от одной этой мысли я сам стал пьянеть.

— А что ты собираешься делать? — опять стал я будить Муху.

— Буду пить дальше, — проснулся Муха и тут же начал сдирать перочинным ножом обертку из серебристой фольги, и в эти минуты мне казалось, что он резал перочинным ножом фрукты, дыни и абрикосы, а потом буль, буль, буль — прямо из горла. Отчего его губы налились иссиня-черным и иссиня-красным, как июльская ночь.

— Пить где? Заведение уже закрывается!

Но в ответ только буль-буль-буль. Новая порция прямо из горла.

3.

Ой, как было бы хорошо оказаться сегодня не в недружелюбном Питере, где у меня ничего не получается, а в родном кишлаке Гулизор, где меня многие

любят за один факт моего существования. И где не надо испытывать чувство стыда в тот момент, когда охранник с барменом, обкладывая матюгами, за шкирку вытаскивают твоего товарища на улицу. Не надо никого уговаривать, не надо никому доказывать несколько минут подряд, что твой друг вовсе не пьяница. А как в детстве — когда все так просто и понятно, когда у тебя есть только один друг, домашний осел, — вести не спеша своего верного друга за обжеванную, обожженную солнцем уздечку. И самому важно идти по кишлаку с чувством собственного достоинства. А луна, как пышная лампада, освещает каждую пылинку-песчинку, и меня, и друга, превращая нас в самую нужную частицу сада.

Потому что, сдается мне, мой друг — он ишак, он такой странный, особенно когда я пытаюсь затащить его на последний троллейбус.

— Нет, — говорит он, — не поеду я на этом троллейбусе, он идет слишком медленно. Я знаю, такие троллейбусы ходят из Хивы в Ургенч. Пока на них доедешь, изжаришься, словно в печке.

— Не умничай, — говорю я, — ты же не хуже меня знаешь, что мы не в Ургенче и даже не в Урумчи, а в северном городе. И что, может быть, не будет уже ни одного троллейбуса и мы запросто замерзнем и окоченеем. А на такси мы не можем позволить себе кататься. Так и придется идти пешком, подвергая себя опасности продрогнуть и заболеть.

— Согласен, — машет головой мой друг, — в Урумчи нам не надо, нам надо в другую сторону, в Кашевар. Но от Ургенча и Урумчи до Кашевара рукой подать. А ты знаешь, что сегодня происходит в Кашеваре?

— Нет, — упрямо тащу я Муху вверх по лестнице.

— Фьють! — свистит мой осел, упирая руки в боки, а ноги в пол. — Ты знаешь, друг, в Кашеваре такие чудеса сегодня могут случиться! Там столько народу на площади центральной собралось, и их оттуда спецназ сдвинуть не может.

— Надеюсь, мы до спецназа не дойдем, — напрягаюсь я. Из пивнушки вытащить Муху мне помогли охранник и бармен. Но как только мы общими усилиями справились, бармен и охранник отряхнули руки и оставили меня один на один с Мухой.

4.

Благо ночной воздух с Финского залива для пьяного лучше солененьких огурцов. Но для меня морской бриз чересчур свеж, и я порядком подмерз. К тому же я как в воду глядел. Пока мы еле-еле плелись до остановки, мой друг постоянно останавливался и утирал соломенным от ветхости рукавом пиджака

свои соломенные губы. А когда подошел троллейбус, он вдруг уперся соломенными ногами так, что я не мог его сдвинуть с места, и только дрожащие в воде звезды смеялись над нами.

Постояв с полчаса, мы остались на остановке совершенно одни: мой слегка пьяный друг и я, пьяный от своего друга.

— Вот, — зло шепчу я еще полчаса спустя, — видишь, последний троллейбус ушел, а мы так и остались ни с чем. Может быть, шайтан держал тебя за хвост.

— Почему шайтан?! — пугается мой друг, хотя на первую часть упреков он уже заготовил ответ: «Плевать!». Но теперь он говорит «почему?» да к тому же пугается.

— А кто еще? Ведь я тебя тащил на троллейбус, а кто-то держал.

— Но почему шайтан? — Моего друга всегда пугает нечисть, очень сильно пугает, в глубине души он боится, что уже продал ей душу. А душа у моего друга ранимая и кровоточащая, словно алый переспелый арбуз.

— А кто еще, ведь всем хорошо известно, что шайтан держал ишака за хвост, когда тот хотел взойти в Ноев ковчег, а ты ведь упрямый, как ишак.

— Зачем он держал ишака? Чтоб навредить Ною?

— Ага, — говорю я. — Ною и мне.

— Фьють... — замешкавшись, ищет, чем парировать, мой друг. — А где у меня хвост? А?!

Я задумываюсь. С одной стороны, неудобно продолжать обижать приятеля, но с другой — мне иногда кажется, что хвост моего друга — это виноградная лоза, потому что мой друг не дурак выпить, особенно когда сидит в кабаке допоздна, как сегодня, делая вид, что у него большое горе. И почему? Потому что я, видите ли, подцепил роскошную девицу, а он — неудачник.

5.

А потом мы еле плетемся с ним от остановки к остановке, и по пути мой друг снова и снова вытирает свои соломенные губы, чтобы смачно произнести:

— Ну что, где у меня хвост?

Да еще поворачивается ко мне спиной и задирает лацканы своего ветхого соломенного вельветового пиджака.

— Какой хвост? Не видно никакого хвоста!.. Съел, а?!

— Виноградная лоза твой хвост, — не выдерживаю я, — а не видно его потому, что на две трети ты подарил его шайтану!

— Как шайтану?! — опять пугается мой друг, потому что он в стельку пьян и его всегда пугают шай-



таны, черти и гадюки-глюки, особенно по ночам, когда он напьется.

— Так же, как и Ной, ты разве не знаешь эту притчу о виноградной лозе?

— Нет, расскажи, — умоляет меня приятель, а потом спохватывается: — Только, чур, не сейчас, а утром. Потому что я боюсь, когда мне рассказывают на ночь страшные истории.

— Да все ее знают. К тому же утро вот-вот наступит и нам уж точно не придется спать этой ночью, ведь это ты упирался соломенными ногами, и теперь нам идти до дома четыре часа кряду.

— Ну, тогда пойдем, чего же мы тут встали, как вкопанные?!

— Пойдем, — соглашаюсь я.

А что нам еще остается?

— Только ты не молчи, как истукан, — опять обзывается мой друг, — рассказывай.

— Да тут больно-то и не расскажешь. История эта темная, мало что о ней известно, — начинаю я запугивать своего друга, может, хотя бы это его вразумит. — Просто шайтан припрятал семечко винограда, а когда Ной его хватился, выторговал две трети от виноградной лозы в свое пользование. Ной по наивности согласился, всего одно семечко, что с него будет, — так появилось вино.

6.

— Где вино? — с интересом реагирует мой друг, вертя головой по сторонам.

— Разве ты ничего не понял, — начинаю злиться я, — и совсем не испугался?

— А чего я должен был испугаться? — удивляется мой друг.

— Да шайтан оросил виноградное семя кровью павлина, и лоза проросла, а чтобы из лозы пробились листья, шайтан оросил ее кровью обезьяны, соцветья же он оросил кровью льва, а плоды — кровью свиньи. Так получилось вино.

— У-у, вино, — улыбается мой друг, сладко причмокивая. А потом вдруг на секунду становится серьезным. — А знаешь, я ее люблю.

— Кого? — на этот раз настал мой черед пугаться. Если мой друг боится сатаны, то я боюсь вот этих его намеков о любви. Потому что мне кажется, что вот сейчас он признается, что с первого взгляда, как и я, влюбился в Катю. Я хорошо запомнил, как он посмотрел на нее, когда выходил из общежития. Глаза его вмиг стали маслянистыми, словно розовые листья персика в блюде с банановым маслом. Что немудрено, учитывая красоту Кати. А мне бы сейчас очень не хотелось вспоминать ее красоту и тем более говорить о ней.

— Жизнь, — еще шире улыбается мой друг, а секунду спустя начинает читать своим соломенным языком стихи на персидском. Хафиз, Рудаки, Саади...

И то, что он их читает, мне кажется еще большей провокацией. Потому что в этих стихах через слово — любовь или намек на любовь. И хотя я ничего не понимаю в стихах, но все равно они меня пугают, особенно когда он дышит на меня перегаром с ароматом дыни, груши и абрикоса и я слышу, как его стихи пахнут травами-приправами.

7.

Мой друг учился в персидской школе и прекрасно знает еще Джаами и Руми. Читая стихи, он то и дело останавливается. Он и так-то медленно идет на своих соломенных ногах, а тут еще и останавливается. И почему мы с ним сейчас не в родном кишлаке в Кашеваре? Он бы пил своим соломенным языком из журчащего, как соломка под головой, арыка воду, рвал бы медовые листья с абрикосовых и персиковых деревьев. Щипал бы травку из-под носа самого неба. А я бы сидел подле и слушал — ну разве это не лучшие в мире стихи?

— Слушай, — останавливается мой друг в очередной раз, заглядываясь на звезды и на сочную дыню-луну, но краем глаза все-таки замечает горящие, как вишни в шоколаде, огни киоска, — давай выпьем с тобой, братушка. Ты ведь мне брат стал, правда?

— Нет, — говорю я, — пить больше не надо, брат.

— Почему? — искренне удивляется мой друг, продолжая направляться к киоску.

— Потому что, — хватаю я его за одну треть хвоста, что еще доступна людям, — потому что твой язык и так уже соломенный.

— Понимаешь, — умоляет меня мой друг, продолжая тащить к киоску, — мне очень нужно это сегодня. Сегодня мне это необходимо, как никогда.

— Почему сегодня? — я пытаюсь его остановить, обнимая за талию.

— Потому что сегодня я подписался на это дело. Я взял героин у этих ребят, чтобы продать его в клубе.

— И где он? Он с тобой? — тихо и зло спрашиваю я. Мой друг очень сильно меня разозлил. От одной только мысли, что нас, пьяных, да еще не русских, может остановить и ошмонать милиция, мне становится плохо.

— А что ты так напугался? Ведь героин всего лишь белый порошок, за ним шайтана нет.

— Виноградная лоза тебе в глаза, — я становлюсь еще злее. — Шайтан за всем, что лишает человека разума и превращает в животное! Где он, твой белый порошок?

— Нету! — Муха тоже злой. — У меня его в клубе отобрали конкуренты. В туалете избили и отобрали.

— Ну ты и влип! На какую сумму ты влип? — спрашиваю я своего друга, которого столько раз предупреждал не связываться с наркотой.

— На три тысячи евро. Но ты расслабься, все это мелочи. Лучше скажи, ты знаешь, что сегодня в Кашеваре началось? Началось такое! Ты даже представить себе не можешь, какая заварушка там началась! Там все вышли на улицу и собрались у дворца эмира и мэра, словно чайники в заварочном чайнике. Там вот-вот произойдет жасминовая или вишневая революция!

— Это у тебя в голове маковая революция — ты, я смотрю, и сам принял немного наркотика! Где революция? У нас в Кашеваре, где народ пассивный и терпеливый? Точно ты набрался до глюков!

— Но курнул немного, и что с того?! — соглашается Муха. — А теперь мне надо выпить!

Уже резким движением мой друг пытается вырваться из моей руки. Но я хватаю его второй рукой за лацкан пиджака. Я знаю, если мой друг выпьет еще чуть-чуть, у него наступит четвертая стадия опьянения — стадия тупой свиньи.

8.

Когда мой друг сидел в кабаке «Хромая серая лошадь», весь расфуфырившийся, как павлин, обставившийся бутылками — зелеными, синими, коричневыми, словно бутылки — переливающиеся перья его хвоста, — у него была первая стадия опьянения; он выглядел из-за бутылок сощуренным глазом, который отражался в разноцветных посудицах, словно на перьях павлина.

А потом на остановке он паясничал, как обезьяна, думающая, что она человек, пытающаяся найти, где у нее хвост, с полной уверенностью, что хвоста-то на самом деле нет.

А когда мой друг начал читать пахнущие стихи, он еще больше захмелел, но его стихи были настолько сильны, что мой друг стал походить на льва поэзии, который своими клыками сдирает с трепещущей лани ночи шкуру, отчего у меня по спине пошли мурашки, а на небе проступила кровь рассвета. Ведь я знаю, что бездонно-кровавая пасть льва и бездонно-голубые глаза трепещущей лани перед смертью — настоящая поэзия.

Но мой неугомонный друг не может утомиться и меняет тактику.

— А еще я сказал бригадире, что ты все это время не болел, как я утверждал раньше, а встречался с девушкой, — резко разворачивается Муха и смотрит мне в глаза. — Получается, я предал тебя, да?

— И что бугор? — пытаюсь удержать я своего приятеля от следующего горячего поступка.

— Он сказал при всех, что исключает тебя из бригады! — прорычал друг. — И отправляет домой. Либо тебе надо подыскивать другое место самому.

А может быть, у него стадия льва наступила только сейчас, когда он изо всех сил пытается вырвать лацкан своего пиджака из моих рук, да с такой яростью, что мне кажется, силы моего друга удесятерились или, может быть, шайтан тянет его за две трети его хвоста. А когда у моего друга наступает стадия льва, то это страшно. Он готов порвать всех на куски, особенно меня, и в какую-то секунду я бросаюсь ему на плечи и валю наземь.

9.

И тут мой друг, оказавшись подо мной, превращается в натуральную свинью. Мало того, что он валяется в грязи, он еще визжит и вертится, как самый настоящий поросенок. Ведь свиньи — они уже давно потеряли уважение и к себе, и к другим и совсем не знают, что такое честь. Но я не брезгую своим другом и в таком состоянии и даже не боюсь испачкаться сам. Потому что я читал предания мудрецов и знаю, как Ной обращался с животными.

Например, когда слоны изошлись говном, как сейчас мой друг изошелся в ярости свиньячьими слюнями, Ной поджал слонам хвосты. Вот и я ищу у моего друга хвост, чтобы поджать его, но нахожу лишь ногу, потому что не так-то легко ухватиться за одну треть, которую нам оставил шайтан. Да к тому же у слонов хвост такой маленький. И поэтому я хватаю друга за ногу и заламываю.

От этого запрещенного болевого приема мой друг беспомощно бьет рукой по асфальту, мол, сдаюсь, но я вижу по злым искрам в его глазах, что на самом деле он не сдался, а только притаился, и тогда я говорю: «Клянись матерью, что не будешь сегодня больше пить!»

— Клянусь, клянусь! — клянется мой друг от отчаяния и боли, хлопает ладонью по асфальту — мол, отпусти уже.

И вот мы снова идем по пыльной дороге дальше. Мой друг, грязный, как чеширский хряк, время от времени то ли чешется как наркоман, то ли отряхивает с себя пыль, одновременно обтирая пересохшие молчаливые губы рукавом. И я знаю, почему он молчит. Он молчит от злости. И ищет путь и подбирает слова, которыми он мог бы отомстить мне, ударить в самое уязвимое место из тридцати трех имеющихся у нас сердец. И я знаю, что сейчас моему другу больше всего охота дойти назло мне до четвертой стадии опьянения — свиньячьей, и мой друг



собирается с моральными силами, чтобы притвориться свиньей, выдавить из себя свинью наружу, напоказ.

10.

— А ты знаешь, — выдавливает наконец он из себя, — я видел ее сегодня!

— Кого видел? — не понимаю я.

— Твою девушку.

— Где? — я заглядываю ему в глаза. — Ты уверен?

— Конечно. Утром я поплелся на вокзал «поишачить» немного с ручной тележкой. А куда мне еще было идти? — вопросительно и одновременно с явным упреком посмотрел на меня Муха.

— И что? Она пришла на вокзал?

— А сегодня днем, когда уже поток прибывающих поездов схлынул, я помогал одному человеку довести его большой саквояж в багажное отделение. По пути он задержался у касс, чтобы купить обратный билет. В очереди мы как раз стояли за твоей девушкой.

— Это точно? — хватаю я своего приятеля за грудки. — Ты ничего не перепутал?

— Я твою краплю на всю жизнь запомнил! — зло зыркнул он.

— Куда она покупала билет? Ты слышал? — трясу я его что есть силы.

— Я думал, ты знаешь! — зубоскалит Муха. — Думал, вы типа вместе хотите поехать в романтическое путешествие. Ведь она, насколько я помню, два места брала.

— Говори, не медли! — кажется, я уже перешел на крик.

— Дешевых билетов не было, и она взяла два СВ на очень неудобный поезд. Ну, ночной до Москвы. Ты знаешь, наверное. Я еще подумал, что ты чересчур развыпендривался и голову потерял, раз дал ей кучу денег. Билеты-то дорожные в СВ!

СВ на двоих? Это был уже перебор!

— Кстати, ты не опаздываешь? — заржал, как лошадь, высоко вздергивая губу и выставя на мое обозрение свои зубы и свои часы, Муха. — Время полвторого, поезд через пять минут отъезжает.

— Какой у нее вагон? — от ревности я готов был рвать на вокзал и метать запонки. — С кем она едет?

— Вагон не помню, а время хорошо запомнил. Еще подумал, хоть эту ночь проведу спокойно. А все-таки, почему ты не едешь? Или ты недостаточно любезен был с ней в постели в то время, как я ишачил на вокзале? Так ты бы меня позвал. Я бы, по старой дружбе, не отказался тебе помочь!

Глава 3

Маковая революция

1.

В этот день недели, в который, по христианскому учению, Бог, создав землю, небо и всех тварей по паре, собирался было уже отдохнуть, Омара Чилима, он же Грегор Стюарт, разбудили страшный грохот и крики: «Свобода!», «Вы свободны!». Нет, он по-прежнему все еще лежал привязанный к своей стальной койке. Но на этот раз его сознание работало четко. Должно быть, несколько часов назад ему забыли или не пожелали учинять лечебные процедуры.

И в следующую секунду в палату к Омару ворвался тот самый верзила Саур, который собирался завлечь его в свой гарем.

«Все, — возликовал Омар, — я выиграл эту партию, жертвуя фигурой за фигурой и предпочитая остро атакующую игру. Враг оказался удушен цейтнотом. Ему просто не хватило времени».

— Как вы, эфенди? — встал верзила на одно колено перед Омаром, отстегивая его тело от койки и отвязывая конечности.

— Я в порядке! — отвечал Омар.

— Мы на центральной площади перед цитаделью эмира и мэра. Столько народу там — вы не представляете! Люди радуются и гуляют. Уже полиция перешла на нашу сторону. А интеллигенция, что выступала перед эмиром и мэром с танцами живота и горловыми песнями, теперь выступает на сцене перед простыми людьми. Кругом всеобщий восторг, ликование и гражданское единение! Если сегодня до полуночи эмир и мэр не отречется от власти, мы планируем идти на штурм крепости. Ему уже предъявлен ультиматум лидерами оппозиции, среди которых и Ширхан-эфенди, и Хайсам. Они с нетерпением ждут вас.

— А как же Гураб-ходжа? — Омар, слегка морщась, растирал покрасневшие от ремней, затекшие кисти рук.

— Это он все и начал. Мы только подхватили знамя из его рук. Вчера после заседания ЦИКа, когда огласили результаты, кто-то вбросил информацию с истинными данными голосования. Гураб-ходжа, не согласный с этим, подал рапорт об отставке и призвал людей выйти на улицы. А в мечетях муллы сообщали, что в городе появился избранный, посланник Буль-Буля Вали. И что этот махди уже среди нас, и что он обладает тайным знанием о сокровищах, которые хотят присвоить эмир и приближенные к нему иностранцы.

Как только люди собрались на площади перед цитаделью, мы подняли бунт в колонии. Разоружили охрану и тут же с оружием записались в дружины на площади. Ширхан-эфенди, как бывший главный политический заключенный, теперь вместе с Гурбом-ходжой и Прямой Дивой — лидеры оппозиции.

2.

Дослушивал описание событий Омар Чилим уже по пути на площадь. Тысячи и тысячи людей, несмотря на введенное эмиром чрезвычайное положение и комендантский час, наводнили улицы. Праздно шатающаяся биологическая, революционная масса. Готовый коктейль Молотова.

В глаза бросались собирающиеся на обочине дороги группы внушительных парней в черных лоснящихся куртках с капюшонами, спортивных костюмах и кроссовках «Пума».

Гуляющих по торговым улочкам Кашевара было великое множество, словно в дни распродажи. Только теперь все товары отдавались бесплатно. Революция — по-кашеварски — самая грандиозная демпинговая акция, когда обесценивается все.

Омар видел, как директор фирменного магазина слезно умолял: «Переодевайтесь во что хотите, только не громите магазин!» Вот пацаны и устроили примерки. Выходили они из магазина в новых прикидах от «Пумы» и «Лакоста». Зеленый крокодильчик был почти на каждой второй бейсболке и футболке. И он требовал все больше и больше жертв, потому что аппетит разгорается во время еды.

Молодым людям в прайдовом обществе свойственно сбиваться в стаи, чтобы искать себе место под солнцем. У парней с окраин нет иного выхода, как, стекаясь к центру, отбивать у самцов — правителей мира сего жен и дев, зону объедания и среду обитания.

Сушая вакханалия. Подобного всплеска примитивных животных инстинктов Чилим не видел никогда в жизни. Толпа разбушевалась, круша все на своем пути. В маленьких глазах полицейских, охраняющих правительственные здания и выстроившихся «свиньей», был сплошной испуг.

С другой стороны баррикад, наоборот, царила вседозволенность. Самооценка и чувство собственной значимости неплохо поднимались с помощью гашиша и ракии. Тем более что у наркомана или другого зависимого слабака иного шанса откусить от сладкого и жирного пирога, кроме как в этот революционный час, — нет.

Омар своими глазами видел среди погромщиков массу парней, находящихся в состоянии глубокого опьянения. Агрессия и возбуждение, эйфория от

свободы и счастья просто кипели в Кашеваре, как в огромном котле с дурманящим мозг варевом.

3.

Несмотря на двести лошадей под капотом «мустанга», Омар и его спутники передвигались по Кашевару со скоростью черепахи, уступая дорогу стаду взбесившихся от алых полотнищ быков-погромщиков.

Уже там и здесь виднелись результаты мародерства. Пока одни, движимые высокими идеалами, провозглашали лозунги, другие под шумок принялись крушить магазины и кафе. Среди разграбленных торговых рядов были и мастерская ювелира Кундуша, и букинистическая лавка Абдулхамида.

Абреки, как перегруженные верблюды, несли на себе украденные коробки с дорогой японской техникой, мешки с едой и баулы с одеждой из модных бутиков. Кто-то пер на себе ковры, кто-то люстры. Несли все, что могли унести. От золота до плазменных телевизоров.

То тут, то там виднелись перевернутые авто. Некоторые из них были уже освобождены от стального панциря огненной пастью. Одни выгорели изнутри, другие охотники за авто только раскачивали, собираясь перевернуть на спину и подпалить. Машину, в которой ехал Омар, от погрома спасала ленточка с символом оппозиции, привязанная к антенне. Часто лишь по маленькому пятнышку на усике один вид тараканов отличает своих от врагов.

— У вас есть какие-нибудь пожелания? — спросил Омара верзила Саур. — Сейчас мы быстро добудем все, что угодно, взломав любой магазин, — бахвалился он.

— Да, мне нужен фотоаппарат, цифровой зеркальный фотоаппарат, флеш-карта и флеш-ридер, — пожелал Омар.

Через секунду, оторвав от забора столбик и разбив стекло магазина, верзила Саур, выполняющий приказ Омара, уже вытаскивал с витрины фотоаппарат. Быстро разобравшись в новомодной технике, Омар, не слезая с кожаного седла дорогого, наверняка тоже угнанного «мустанга», уже фотографировал творящиеся вокруг бесчинства.

4.

Первое, что попало Омару в объектив, — то, как верзила — лысый череп и стеклянные глаза отражали неон вывески — заходит, прижав базуку к длинному туловищу, в ночной клуб.

Революция неизбежна, чувствовал Омар печенкой, революция победит. Выйти из правового и мо-



рального поля! Пограбить, поубивать, покрушить, понасиловать! Почувствовать превосходство над соперниками, а главное — над обыденностью! Хотя на миг ощутить себя королями этой жизни, выйти из задворков на первый план — ради этого стоит жить!

Не жалели своих же. Брадобреи старались извести лавки брадобреев. Зубные техники — кабинеты зубных техников. В городе, в котором слишком много торговцев-ремесленников-конкурентов, трудно было выживать. И теперь забитый страх быть съеденными более удачливыми коллегами вкупе с черной завистью выплеснулся наружу. Вот они — побочные эффекты революции. Вот она — внутривидовая борьба.

Раньше султаны и падишахи знали, куда направить бурлящую лаву безработных, праздно шатающихся молодых людей в густонаселенной стране. Война — вот рецепт от демографического перепроизводства. И войну никакими площадками для пейнтбола и свободными выборами не заменить. Инстинкт диктует свое. И этот инстинкт заставлял Омара ощущать душевное единение со взбужденной толпой.

5.

Юному и голодному зверю только брось клич и дай поле-майдан для игры, только направь их молодую энергию в определенное русло — и они выйдут на улицы и сметут все на своем пути.

На центральную площадь-майдан, раскинувшуюся перед стадионом, они приехали, когда уже почти стемнело. Сотни шатров-тюльпанов и алых костров-маков полыхали на ветру.

Омар заметил, что с одной стороны площади все шатры были золотисто-огненного цвета, а с другой — бордово-бархатного. Видимо, внутри толпы часть людей сразу обозначила себя как отдельный вид. На лбах активистов, дружинников и сочувствующих были повязаны рыжие банданы, а руки — опять символ новоиспеченной власти — украшали знаки отличия от сородичей. Они варились в одной экосистеме и еле выживали — и вот разом очутились на коньке, как те коралловые рыбки с пестрой окраской.

Всеобщая радость свободы и раскрепощения переполняли майдан. Продираясь сквозь плотные ряды, Омар расталкивал локтями незнакомых людей, многие из которых в ответ на тычки обнимали и целовали Омара, как родного брата.

— Свобода, свобода, брат! — кричали они на ухо Омару.

Где-то здесь же филателист Фахад продавал значки и шарфики с символом революции. Одним —

алые маки, другим — бордовые розы, будто болельщикам двух разных футбольных команд. Поистине, спорт — замена войны для выброса адреналина и тестостерона.

— Ассалам-алейкум! — обнялся с Фахадом Омар, протолкнувшись к тому через людскую гущу. — Какие команды играют сегодня?

— Пока команд, как и положено, две, — попытлся перекричать шум Фахад. — Это сторонники Гураб-ходжи и сторонники Ширхана-эфенди. Но сегодня они выступают единым фронтом. Спор пока идет из-за того, как назвать эту прекрасную революцию — революцией бордовых тюльпанов или золотисторыжих маков. Суть же в том, что одни, как соловьи на аромат розы, вышли на улицу с чистыми помыслами изменить Кашевар к лучшему. А другие, опьяненные маковой соломкой, одержимы низменными желаниями наживы и власти.

— А ты сам за кого?

— Пока еще не решил! — орал во всю глотку Фахад. — Торговля идет бойко. Я приму решение после того, как продам один из двух товаров. Я же хамелеон!

— А, понятно! — крикнул Омар, оттаскиваемый вернувшимся за ним верзилой. — Давай, еще увидимся!

6.

Взятый на буксир, Омар Чилим в мгновение ока был доставлен к трибуне, на которой в этот момент в очередной раз выступал лидер оппозиции — Ширхан-эфенди. Рядом на сооруженном постаменте-трибуне стояли Гураб-ходжа и Лубват Тигровая. Лицо Ширхана сияло, как после крупного выигрыша в нарды.

— Мы освободили дочь эмира, теперь она будет нашей королевой! — выкрикивал Ширхан-эфенди в толпу лозунги. — Мы проведем конституционную реформу! Создадим парламентскую республику и выберем свободный парламент! Отделим должность мэра от пожизненного звания эмира! Создадим стабилизационный фонд в помощь нуждающимся! Проведем свободные выборы президента!

И все в том же духе. Его слова так воодушевили толпу, что она тут же бросилась сносить памятник мэру и эмиру на коне, с соколом на плече и в окружении других зверей. Нечто подобное Омар видел в Питере в Летнем саду. Только Крылов сидел не на коне, а на троне.

Веревки и тросы быстро накинули на шею эмиру и мэру. Один очень смелый летящий юноша, с голым торсом, лихо на брюхе вскарабкался на памятник и уселся на его голове. В трезвом уме на такое не пойдут ни один смельчак. А это сумасшедший накинуд

два каната на массивную бронзовую шею. Другие концы тросов ухватили оранжевые и бордовые и начали перетягивать на себя. Памятник раскачивался из стороны в сторону, словно загипнотизированный волнами народного желания.

«Вот так же, — подумал Омар, — сейчас раскачивается и трещит по швам сам Кашевар».

Откуда-то появился «Бычок»-ЗИЛ. Его подогнали вплотную к памятнику, к рогу под толстолобым бампером привязали трос.

Пробуксовка, рычание, фыркание колес — и памятник полетел под роющие землю разъяренные передние колеса. Толпа просто взорвалась от восторга. Все снова принялись обнимать и целовать друг друга.

Кто-то из выступающих с трибуны призвал немедленно идти на штурм цитадели.

— Рано еще, — взял слово Гураб-ходжа, лихо вскарабкавшись на постамент памятника, — мы с вами соблюдаем договоренности. Поэтому как честные и демократичные люди мы должны дождаться истечения срока ультиматума в одиннадцать часов.

Глава 4

Мнимый принц

1.

Вот оно и полезло — дерьмо моего товарища. Поднабрал так поднабрал. Нашел-таки способ отомстить мне, засранец! Значит, он не прочь покувыркаться с Катей! Ничего, пусть теперь сам жрет свое говно!

Выслушав Муху, я со всей силы бью своего друга в сливовый красный нос, заодно кулачищем попадая и по дынной корке губы. Ведь кулачища у меня здоровые, как арбузы. От этого удара из носа моего друга сочится кровь, темная, словно выдавленный и смешанный сливово-арбузный сок. А его губы, покрываясь трещинами, словно лопаются от спелости.

Он решил стать смелым и сыграть в хама. Возомнил, что будет очень смешно, когда он расскажет мне, что видел на вокзале сбегающую от меня Кэт. И что в этот момент он представлял ее в своей постели. Он думал сделать мне больно. А получилось так, что я хлестко врезал ему по лицу, и от этого неожиданного удара мой друг завалился на асфальт мостовой и начал тихо плакать.

— Ой, я дурак! — тут же пугаюсь я своего поступка.

Ведь так уже было в Ноевом ковчеге! Когда слоны начали гадить и гадить, Ной поджал им хвосты, и слоны превратились в свиней, чтобы сожрать свое собственное говно. Наевшись дерьма, свинья рыгну-

ла, и из ее пасти выпрыгнула мышь и стала подгрызать сандаловые доски ковчега. И тогда Ной ударил царственного льва между глаз, и из его ноздрей выскочили бешеные коты — хвосты пистолетом, глаза пулей — и принялись ловить мышей, сделавшись на всю жизнь их заклятыми врагами.

Слоны — нечувствительность и толстокожесть, свиньи — тупость и пошлость, мышь — зависть, львы — гнев, коты — хитрость и интриги. Замкнутый круг пороков. Порок на пороке, который чуть не погубил Ноев ковчег и погубил не одну дружбу и не одно совместное предприятие по спасению.

— Ну, все, все, будет, — поднимаю я Муху, понимая, что второй раз за вечер был чересчур жесток с ним, — пойдем уже...

Мне вдруг стало очень стыдно за себя. Ведь мой друг только представлял мою девушку, а я чуть не переспал с чужой девушкой в реальности. Я в сто раз грязнее и подлее его. Это я, а не он, потакая своему любопытству и слабостям, обманом проник в чужую квартиру, шкуру, жизнь.

2.

— Пойдем, пойдем скорее на вокзал! — тащу я своего друга в сторону Московского.

— Никуда я с тобой не пойду, — отвечает Муха спокойно. Он уже не плачет, он отрешен.

— Пойдем, пойдем, — уговариваю я, — хватит дурачиться.

— Отстань, — упирается Муха всеми фибрами души, — оставь меня. У меня нет сил куда-либо идти.

— Пойдем же, чертенок, — улыбаюсь я, пытаюсь шуткой сгладить свою вину, и тут же прикрываю ладонью рот. Ведь вот так же Ной, собственным языком уговаривая ишака пройти на палубу, позволил шайтану оказаться в ковчеге. Но с другой стороны, я понимаю, что мой друг не хочет идти на вокзал, потому что не хочет, чтобы я встретился с Кэт. Вот он и тянет время, упираясь из-за всех сил.

— Да нет, это бессмысленно. Уже слишком поздно. Мы все равно не успеем. — Судя по сказанному, он уже постепенно трезвеет, как отпотевшее стеклышко.

Его Ноев ковчег со зверями, его пьяный корабль, пошел ко дну, и ему ничего не оставалось, как выбросить бутылку с криком о помощи. Теперь уже он не упирается ногами, теперь ноги у него не соломенные, а стеклянные. И каждый следующий шаг может разбить все его надежды.

«Вот она, вторая стадия отрезвления, — думал я, разворачивая своего приятеля в сторону вокзала, — которую мой друг, собравшись со всей злостью, пытается выдать за четвертую стадию опьянения, мол,



смотри, какая я свинья. Но я-то знаю, что если павлин, обезьяна, лев и свинья — стадии опьянения, то слон, мышь, лев и кошка — это стадии отрезвления».

— Ну и оставайся, — говорю я в сердцах, — протудишься и пропадешь, и сам же будешь в дураках.

Дальше я иду без него и думаю, что, наверное, мой друг уже не валяется, а сидит в пыли в этом конце Петроградки, будто за бортом Ноева ковчега, сидит совершенно один, как осколок вечерней бутылки, и ему даже не в чем послать сигнал бедствия SOS и, наверное, некому. И он смотрит на мир абсолютно отрешенно.

А может быть, он уже утонул в своем горе и одиночестве. Или, вполне возможно, что он пошел и купил себе новую порцию вина, наплевав на свою клятву самой любимой женщиной — второй у него нет, — и, опять же, утоп.

Какой же он дурак! Кажется, первым на Ноев ковчег попал попугай Дурра, который потом всю жизнь очень гордился своей избранностью, своей красотой и своим умом. Так же и мой товарищ Муха. Сидит в лужи пыли и упивается своим избранным красивым горем, потому что горе — от ума и гордыни.

3.

В ночной тишине отчетливо слышны пугающие звуки: и чей-то плач, и вой автомобильной сигнализации. Брошенный «ягуар» — машину-то я оставил где-то поблизости, на Петроградке, — звал меня. Обойдя ближайшие улицы, я нашел свою кошечку.

— Чего расселся! — высунув голову в окно, крикнул я другу. — А ну быстро в тачку, пока нас менты не забрали!

— Ты что, угнал ее? — вытаращил глаза Муха.

— Чего не сделаешь ради старинного приятеля? — заулыбался я. — Ты же отказываешься ездить на троллейбусе?

В следующую секунду, слегка очумевший, мой товарищ уже прыгнул на заднее сиденье и там притих.

— Чего молчим? — спросил я друга. — Почему не жужжим?

— Крутую тачку ты выцепил, — только и смог сказать он, — прямо в точку попал, всю жизнь о такой мечтал!

— Сейчас доедем до вокзала, а там видно будет, — словно не слыша приятеля, засмеялся я. — Надеюсь, мосты еще не развели.

— Поезжай через Дворцовый, — предложил он, — его разводят только в два часа.

Мы успели. Мост действительно еще не развели. Но перед Дворцовой площадью нас остановил разводящий гаишник.

При виде человека в фуражке Муха замер.

— Лейтенант Копеечка, — взял под козырек постовой, — ваши документы!

Я протянул права. Благо в темноте нас с Грегором Стюартом различить было невозможно.

— Всего доброго! — через секунду вернул права гаишник, покопавшись в них лучом фонарика. — Счастливого пути!

— Что ты ему показал? — просунул голову приятель между спинками сидений.

— Спецдостоверение! — засмеялся я, глядя на очумевшие от испуга и светящиеся счастьем глаза. С вытянутой шеей, с покрытым пятнами лицом он походил на жирафа. — Да шутка это! Просто пятьсот баксов зарядил — и все! — продолжал веселиться я.

4.

До вокзала мы домчались быстро. Встав возле табло, у выхода из залов ожидания, мы стали просеивать взглядом толпы спешащих на поезд. Если время мой приятель запомнил, то номер вагона он не расслышал или не успел зафиксировать. Поэтому нам с ним пришлось фильтровать всех подряд.

— Слушай, пока мы здесь ищем твою бабу, там у нас, в Кашеваре, такие дела делаются! Может, бросим все и поедем на родину? Купим билеты до Москвы, а оттуда на самолет. Все равно мы уже работу потеряли.

— Работу, скажем, потерял только один из нас! — вяло возражал я.

— А я в пролете и по уши в долгах, с этими наркотиками. Мне теперь и за год не расплатиться. И потом, не могу же я остаться на любимой работе, в то время как тебя по моей вине выгнали, — немного лукавил Муха. Лукавил, ибо это работа ему не нравилась. Он чувствовал себя униженным и мечтал вернуться в Кашевар. Я его уже несколько раз отговаривал от скоропалительного решения. Мол, только мать, что тобой гордится и в тебя верит, расстроится.

Но сегодня все было наоборот. Друг меня уговаривал, и я поддавался, потому что у меня не было контраргументов. К тому же Катя все не шла.

— Хватит на мозги капать! Иди лучше посмотри, на какие поезда есть билеты до Москвы! — потянулся я, предполагая, что свободных мест на ближайшие часы и дни уже нет.

Приятель тут же побежал в кассу. Толпы народу сновали туда-сюда. Взгляд ни на чем не мог сконцентрироваться.

Через четверть часа, за которые я успел замылить глаза, Муха вернулся с потускневшим лицом.

— Билетов нет! — выдохнул он грустно. — Этого стоило ожидать!

— И Кати нет, — загрустил я в свою очередь. — Ты ничего не перепутал?

— Может, и перепутал, — с недоверием посмотрел приятель на меня.

— Ладно, бесполезно ждать, мы, кажется, уже опоздали, — помолчал он с минуту и сделал новое предложение: — Давай двигать отсюда потихоньку.

— Куда мы сейчас пойдем? — не соглашался я, готовый стоять здесь до самого утра. — В общагу нас уже все равно вряд ли пустят.

— Можно посидеть в машине и послушать радио. Музыку... Или половить новости из Кашевара.

— Постой, — застыл я на месте, потому что заметил частного детектива, с которым мы встречались в «Пышечной» на Конюшенной. Он выходил из здания вокзала на перрон, перекинув пальто через руку. Ага, значит, уезжает из Питера несолоно хлебавши.

— Слушай, — теперь уже раздражаясь от моего упрямства, начал заводиться Муха, — надо двигать отсюда в Кашевар любыми способами. Я тебе дело говорю, друг. Такой шанс бывает только раз в жизни. Нам надо попытать свое счастье. Главное — оказаться в нужное время в нужном месте. Ну, чего нам терять? Если у тебя есть спецудостоверение, позволяющие ездить на этой машине, может, мы рванем на ней напрямик в Кашевар?

— Это не спецудостоверение. Это обычные права и документы на машину. Просто я очень похож на хозяина авто.

— Так тем более! Давай двинем прямо сейчас. Мой пятизвездный дядя, ну тот, которому я баню плиткой в Кашеваре обкладывал, он на таможне работает. Мы доедем до границы, а дальше переправим тачку, перебьем номера и бац — мы богаты! Таких денег, что мы выучим за эту машину, нам в жизнь не заработать. Продав «ягуар», мы купим себе по дому с участком! Будем выращивать фрукты! Упакуем себя до конца жизни! Женемся, наконец!

5.

Я слушал друга, чувствуя, как учащенно бьется мое сердце. До этого момента у меня ни разу не проскользнула мысль что-нибудь украсть, а тем более угнать машину. Но сейчас соблазн был очень велик.

— Послушай, Фарас, я тебе скажу: такой шанс выпадает только раз в жизни! Кто после Маковой революции будет нас искать? Всем объявят амнистию, потому что по закону самим зачинщикам придется сесть в тюрьму. И еще я смотрел по телевизору: полстраны участвует в мародерстве и погромах. И мы тоже должны свое отхватить. Надо пользоваться ситуацией, ловить рыбку в мутной воде. Одному сыну

президента можно, что ли, гнать сюда наркотики, а отсюда везти в Кашевар машины? А мы чем хуже? Продав эту кошку, мы сможем купить земли. Ты же знаешь, если есть земля, то можно не заниматься поденщиной, а жить, питаясь с огорода. Мы попадем в рай. Станем фермерами. В крайнем случае, — привел Мухач, видя мое сомнение, последний железный аргумент, — доедем до Москвы. Проветримся. Попытаемся там твою Кэт перехватить.

— Насчет Кашевара, — наконец решился я, потому что все еще думал о Кэт, — я не уверен. А вот в Москву сгонять готов. Может, успеем встретить ушедший поезд.

— О, здорово придумал! Давай скатаемся в Москву, тем более это по пути в Кашевар. А там, кто знает, может, дорога увлечет нас и затянет, и мы поедем дальше.

— Но нам надо сделать еще одно дело! — Собственно, я согласился проветриться, потому что не представлял, как буду мучиться, лежа в кровати или сидя в замкнутом пространстве комнаты и тоскуя по Кате.

— Какое еще дело?

— Покормить попугая!

— Попугая? — Муха посмотрел на меня так, будто я чокнутый.

— Да, попугая! Даже двух попугаев, — посмотрел я с иронией на друга. — Дурру и Элиота. И поискать какие-нибудь документы. Поехали, я тебе кое-что покажу и расскажу.

— Да ладно, мы потеряем кучу времени!

— Успеем. Мы не можем рисковать, — на этот раз я не поддавался, — мы должны все продумать и быть осторожными.

6.

Спустя пять минут мы были уже дома у Грегора Стюарта на Конюшенной. «Святой Георгий, — заметил начитанный Мухетдин, — поражающий змея». Тогда еще ни я, ни он не знали, что «Леонардо» означает «отражающий льва».

По пути я рассказал приятелю все, что со мной произошло за последнюю неделю.

— Фьють! — присвистнул Муха, сняв ботинки и развалившись на диване. — Чего бы так не жить!

— Кофе будешь? — предложил я на правах хозяина.

— Не откажусь, — обрадовался Муха. Он уже сидел перед экраном компьютера и читал новости о Кашеваре.

— Только давай быстро! — поставил я напротив Мухи чашку с кофе. — На самом деле я сильно жалею, что попал в эту квартиру. Если бы не злосчаст-



ный телефон Стюарта и не моя лень, не было бы всех перипетий, связанных с Кэт. Я бы так не мучился и не переживал.

— Да брось ты, — оскалился он. — Нашел из-за чего переживать. Лучше радуйся. Такое приключение на всю жизнь запомнится. Может, оно у тебя единственное будет.

— Ты знаешь, — заметил я, — за все это время я понял одну очень важную вещь. Я понял, что в каждом из нас находится целый зоопарк зверей. Носорог — когда мы сердимся. Ленивец — когда ленимся. Сайгак — когда скачем с места на место. Эти звери постепенно овладевают нами. Либо мы ими. И Катя была всего лишь одним из зверей, что попыталась завладеть моей душой. Все, что я про нее придумал, — все лишь у меня в сердце. Все иллюзия. Она лишь плод нашего воображения. Так ведь, кажется, шейх Буль-Буль Вали учил.

— Знаю, знаю, — махнул рукой Муха, — Буль-Буль Вали был аскетом. А я бы сейчас еще немного выпил. Слушай, тут нет ничего выпить?

— Может, компот из сухофруктов? — предлагаю я в эту минуту, пытаюсь отговорить его от следующего буль, буль, буль... — Или сочку?

— Зачем мне сочок? — облизывает мой друг сочные красивые губы.

— Сочок же слаще. К тому же, если бы у тебя был вместо бутылки вина сочок, ты бы не превратился за один вечер в свинью, обезьяну, павлина и льва.

— И что мне теперь, — не соглашается Мухач, — всю жизнь оставаться человеком? Это же скучно.

7.

Мы сделали еще по глотку кофе.

— Так что давай, переключайся со своей Кати на настоящие события и вливайся в ход истории, — поставив чашку Муха.

— Сегодня, когда ты перебрал с вином, я увидел кучу зверей, которые пытались овладеть твоей душой. И меня самого начало отпускать. Я стал забывать Кэт.

— Но теперь у нас есть другая кошка — «ягуар». Поверь мне, друг, это гораздо лучше. Слушай, а что мы тут расселись? — вскакивая с дивана, спохватился Мухач. — Давай уже продлевать праздник и рвать когти в Москву. Встретим там твою Катю, запихнем ее в багажник — и дальше по трассе до Кашевара. Машина мощная. Триста километров в час пойдём, подменяя друг друга.

— Ты думаешь, Катю не хватятся? — Как только друг заикнулся о похищении, я вспомнил безжизненное тело девушки Грегора Стюарта, с которым можно было делать что угодно. Даже запихнуть в мешок.

— После нас хоть потоп! — громко рассмеялся Муха. Его бодрый голос и смех придали мне уверенности.

— Давай компьютер прихватим, — попросил Муха во время сборов, — мои племянники как раз просили меня компьютер привезти на день рождения.

— Бери что хочешь, — сказал я устало, — да, на вот, переоденься.

Я открыл шкаф на роликах и бросил Мухачу костюм.

— Кто нам поверит на границе, если ты в протертых спортивных штанах будешь? Ты же как мелкий воришка в них выглядишь. А в костюме ты будешь как настоящий, солидный бандит на реальной тачке.

— Надо будет заскочить в общагу за моими правами и деньгами, — примеряя костюм, сказал Мухач, — это ж по пути! Пусть попробуют нас только не пустить. Я там такой скандал устрою. Оторвусь, наконец, за все унижения!

Мы так и сделали, заехали в общагу, а потом, сверкнув акульным плавником обтекателя, погрузились в ночную мглу шоссе.

— «В темную-темную ночь», — крутил ручку радио мой приятель, пока я крутил баранку. Через пару часов мы поменялись. И так мы планировали меняться до самого утра. Пока один ищет сон или ловит новости из Кашевара, другой рулит процессом.

Глава 5

Озверение и озарение

1.

Порой, глядя на то, что происходит вокруг, мне кажется, что я схожу с ума и постепенно теряю в себе последние остатки человечности. Войны, революции, желание обрести власть над ближним и прославиться любой ценой — и все ради куска пожирнее и места потеплее. В погоне за властью, деньгами и внешним успехом мы лишились самого главного — веры и искренности.

По ночам я лежу с открытыми глазами и прислушиваюсь к крикам и воплям, к тому, как звери рвут человеческую плоть на куски, к тому, как сильные пожирают слабых, к тому, как насилуют и занимаются мужеложством. Я с ужасом осознаю, что все больше привыкаю к мерзостям, творящимся вокруг, и теряю способность реагировать на страдания ближнего. В похоти даже ослица хороша. Истребляйте друг друга, как крысы в банке. Плодитесь и размножайтесь, моральные уроды и тупые курицы.

Рано или поздно вы все изжаритесь и попадете на стол к дьяволу.

Единственное, что мне остается, — это бубнить себе под нос одно слово из глубокого детства. Слово, которое мне говорила мама, читая на ночь сказки. Слово, которое нельзя забыть, иначе тебе никогда вновь не стать человеком. А чтобы его не забыть — главное не засмеяться над собой и миром. А иначе власть над всем навсегда захватит черный маг.

С другой стороны, «мутабор» — слово, произнеся которое мы уже никогда не будем прежними — мы повзрослеем, прозреем, разочаруемся, будем изгнаны из рая. Мутабор — это что-то невербальное, вдруг обретшее кровь и плоть, но это слово нельзя не произнести. Кто-то должен быть первым. И поскольку моя задача проговаривать — я проговариваю, объясняя, что «мутабор» — всего лишь игра человека в любопытство.

Из века в век каждое поколение должно пройти путь обретения внутренней свободы. Каждое поколение самодостаточно, можно сказать, эгоистично. Каждое хочет прожить свой отрезок жизни с максимальной полнотой. Каждый стремится в молодости любить, веселиться, пробовать опьяняющие вещества, расширять сознание, встречаться с доступными женщинами, участвовать в революциях и искать собственную правду. И каждый верит, что его истина особенная, отличная от истин других и уж тем более от истин минувших поколений. Никто, к сожалению, не учится на чужих ошибках.

Однако, думается мне, нынешнее поколение эгоистично вдвойне. А это всегда готово идти по головам других, когда дело касается собственных интересов. И склонно винить в своих неудачах ближнего и отказываться от личной ответственности. Очень, очень трудно бороться с эго, когда оно разогревается культом потребления. Очень трудно цинично не засмеяться, когда все вокруг только и делают, что хотят, потакая и оправдывая свои и чужие мерзость и похоть, слабость и равнодушие, глупость и злобу.

2.

Наш мир действительно стал безумен, и чтобы выжить в нем, нужно самому сойти с ума. Часа в два ночи тюрьму огласило дикое улюлюканье и озаарило зарево пожарищ. Это что еще за ночные партии и фраер-шоу? Я поднялся с нар и, прижавшись лицом к прутьям решетки, посмотрел во двор. Железная пятерня обдала холодом щеки и лоб, словно рука грубого тюремщика, пытающегося затолкнуть мое любопытство назад в камеру. Но всех не удержать. В соседнем бараке уже жгли факелы из тряпок и бросали их во двор. Это было начало большого бунта, ночь ярких огней и острых камней.

Собственно, я должен был быть в том корпусе, в «Черном дельфине», потому что «дельфин» на воровском жаргоне значит «жертва преступника». И там действительно находились жертвы преступного режима эмира и мэра — политические заключенные. Но меня, как особо опасного «политического», побоялись держать с другими фанатиками. Или чтобы быть ближе к хозяевам, Ширхан распорядился перевести поближе к себе. Впрочем, даже здесь у меня не появилось больше свободы.

— Шахерезад, я с тобой хочу посоветоваться, — оторвал меня от завораживающего зрелища голос за спиной. Это ко мне в камеру пожаловал сам Ширхан.

— Со мной? — искренне удивился я.

— Да, я со всеми сейчас советуюсь. А у тебя, Шахерезад, уже есть опыт политической борьбы с властями. После выборов какая херня началась? Кто-то выбросил настоящие результаты голосования, и люди взбунтовались. У нас в колонии, в башне «Черный дельфин», сам видел, что творится. Там мутабориты-муслимы подняли кипеш. На моих шахтах народ тоже взъерепенился. — Ширхан выглядел очень напряженным и уставшим.

— Это все происки Гураба-ходжи. Он затеял большую игру против эмира со своими мутаборитами, — заметил я.

— Согласен, — кивнул Шершень. — В городе волнения и беспорядки, а мэр и эмир уговаривает меня впрячься и задушить восстание. Нас сегодня, под предлогом восстания, должны выпустить из тюрьмы. Затем мы как есть, в штатском, будто мы сторонники действующей власти, должны будем вытеснить митингующих с площади Свободы. К нам присоединятся члены партии и переодетые мусора. Если понадобится — мы должны будем взять площадь Свободы штурмом и очистить ее от всякой швали. Но даже я, Ширхан, ничего не могу поделать против толпы взбесившихся быков, — горько вздохнул Ширхан.

— Ой ли? — улыбнулся я. — Ты из всего Кашевара сделал рынок сбыта бухла и белой наркоты под крышей иных белых домов.

— Не веришь? Смотри, какую мне тут маляву принесли, — развернул Ширхан перед моим носом сложенный в несколько раз лист бумаги.

3.

Народные волнения (служебная записка с флешки)

После объявления итогов выборов население повело себя непредсказуемо. Ложь, цинизм и вседозволенность власти, внаглую сфальсифицировавшей



итоги выборов, перешли все границы. Народ, который столько времени обворовывают, наконец-то прозревает. На подступах к Дому правительства собралось около десяти тысяч человек. Люди, разозленные тем, что за их голос не заплатили, и взбодраженные вестью об аресте лидеров оппозиции и посланца Балыка-Малика, готовы идти на штурм как Белого дома, так и государственной резиденции эмира. Задержанные правоохранительными органами лидеры кашеварской оппозиции под давлением митингующих были выпущены на свободу. А в это время собравшихся возле Белого дома оппозиционеров пытается вытеснить другая толпа, которую, по слухам, организовали спецслужбы Кашевара. В обе стороны время от времени летит град камней. Противостояние, уже оборвавшее несколько десятков человеческих жизней, грозит перерасти в полномасштабную гражданскую войну.

В Кашеваре наблюдается паника среди гражданского населения. Продуктов питания не хватает, улицы города переполнены автомашинами с иногородними номерами. Все рынки и торговые предприятия закрываются в срочном порядке. Родители забирают детей из школ и спешат отправить подальше от эпицентров противостояния.

Сотовая связь в стране работает с большими перебоями. Операторы утверждают, что сеть не выдерживает перегрузок из-за шквала звонков, но люди уверены, что это эмир приказал основным игрокам рынка связи перестать оказывать услуги населению. Город, лишенный других источников информации, полнится всевозможными слухами. Включения западных телеканалов, передающих новости из Кашевара, прерываются трансляциями местных телекомпаний.

В спешном порядке закрываются филиалы банков. Офисы, находящиеся в центре города, не работают. Из магазинов, расположенных рядом с Домом правительства, вывозят дорогие товары, а из интернет-кафе — дорогостоящее оборудование. В крупнейшем в Кашеваре супермаркете «Омар Бей» сначала люди брали конфеты и другие сладости, чтобы угостить друг друга, а потом, войдя во вкус, понесли все, что представляет ценность. В результате по столице прокатилась волна мародерств и беспорядков. В Кашеваре уже разграблены крупные торговые центры, принадлежащие турецким бизнесменам, — Vefa, а также китайским бизнесменам — «Гоин». Кроме того, разграблены торговые центры «Кара-ван», «Оазис», а также сеть супермаркетов «Народный» и «7 Дней».

В центре Кашевара время от времени слышна стрельба, горят здания генпрокуратуры и налоговой инспекции. Также охвачен огнем и старейший рынок страны — Большой базар. Именно через этот

рынок мог пролегать маршрут сторонников оппозиции к центру города. Другая колонна протестантов, прорвав милицейское оцепление, движется в центр Кашевара с юга. Эту колонну готовится блокировать ОМОН, чтобы не подпустить протестантов к зданию правительства Кашевара.

С целью наведения порядка эмир объявил о введении в Кашеваре комендантского часа. С 22:00 и до 6:00 движение по городу строго ограничено. Гражданам, вынужденным по каким-либо причинам оказаться на улице в это время, необходимо иметь при себе удостоверяющие личность документы. Комендантский час вводится в связи с объявленным в стране чрезвычайным положением. Режим ЧП предполагает запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также приостановление деятельности политических партий и общественных организаций. Впрочем, несмотря на принятые меры, беспорядки продолжаются, а митингующие не собираются покидать площади и улицы. Они намерены и дальше требовать ухода эмира и мэра со своих постов.

Файлы этого тайного дипломатического донесения взяты с сайта Wikileaks.

4.

— Если ты не можешь контролировать какой-то процесс, возглавь его, — изрек я прописную истину.

— Вот и посланец Кош-муллы меня туда же толкает. Он советует не атаковать площадь Свободы, а присоединиться к митингующим. Но я сомневаюсь: стоит ли мне впрягаться? Я боюсь, не потеряю ли я в результате этой заварушки все?

— Значит, он все-таки есть! — обрадовался я. — Давно уже по тюрьме ходили слухи, что в городе объявился посланник Кош-муллы и что власти его преследуют.

— А ты про него байки пускал, сказки всякие про камешки писал, не зная, что он есть? А, Шахерезад?

— Я хотел, чтобы он был. Очень хотел, но слухам до конца не верил, потому что сам их активно распускал. А теперь, раз он здесь, к гадалке не ходи — народ за ним пойдет.

— Его уже здесь нет, вчера он здесь был, а сегодня его перевели в психушку, — раскрыв свои карты, внимательно посмотрел на меня Ширхан. — Гурабходжа боится, что он составит ему конкуренцию в религиозной среде.

— Тогда его надо срочно освободить и сделать своим знаменем! — посоветовал я.

Простой человек — бандерлог, антилопа, форель, верблюд — благодаря вере людей стал знаменем ре-

место под картинку



волюции, символом обновления. Посланник Балыка-Малика был единственной надеждой на чудо, на то, что случайного, но честного, принципиального и сильного человека революционной волной вынесет наверх. И он уже найдет в себе силы духа, воли и ума хоть что-то поменять к лучшему.

Не знаю, меня ли, посланника ли Кош-муллы или еще кого послушал теневой правитель Кашевара, но бунт, поднятый мутаборитами, прошел как по маслу при его поддержке. Боевики Ширхана, что заправляли на свободе, переодевшись в пожарных, захватили пожарные машины, вызванные администрацией. Они ворвались в тюрьму на красном пенном коне под сопровождение мигалок. Администрация не посмела сопротивляться такому влиятельному Ширхану и, опасаясь расправы, разбежалась. Все охранники-гайдамаки, побросав свои служебные обязанности, поспешили переодеться в гражданское. Путь на улицу был открыт.

Вместе с другими я ворвался в город. Волна счастья и свободы оглушила и опьянила меня. Толпа направлялась к Дому правительства, к которому со всех концов двигались небольшие колонны протестующих сторонников Гураба-ходжи. Волны людей с трепыхающимися полотнами стягов-эндорфинов, будоража кровь, накатывали то здесь, то там. Бордовые и золотисто-рыжие символы оппозиции, своими цветами больше напоминавшие пожар, охватили весь город. Митингующие ходили вперед-назад, размахивая огненными полотнищами.

5.

Ближе к центру, к тихой и спокойной территории знати, толпа становилась развязней и агрессивней. Оно и понятно — нервишки. Подходя к площади Свободы, я увидел, что митингующих на площади взяли в кольцо.

— Ату их! Мочи ментов! — завопил Хайсам, и толпа разъяренных и злых эков пошла на прорыв оцепления. Атаковали сотрудников милиции с двух сторон, бросая в них камни.

Восставшие грузовой машиной пытались пробить ворота Дома правительства, но полицаи в ответ начали стрелять резиновыми пулями и поливать ледяной водой из брандспойтов. Митингующие отступили и вновь начали собираться с силами на площади Свободы. Вседозволенность еще больше воодушевляла. К лагерю в срочном порядке организовано подвозили горючие смеси и камни. Все готовились к захвату Белого дома.

Спецназ вновь оцепил само место проведения мероприятия. Пошел слух, что для разгона манифестантов привезли сотрудников безжалостного «Со-

кола» и что в городе появились снайперы-наемники. Мол, они-то уж точно будут стрелять боевыми пулями. В первую очередь со своих точек-высоток будут метить по активистам и журналистам.

И тут — бах-бах — хлопок за хлопком — и площадь окутал едкий дым. Такой едкий и плотный, что я перестал видеть все вокруг себя на расстоянии пяти сантиметров. Это действительно было очень страшно. Такое чувство, что я потерял зрение, что мне выбили пулями глаза и я уже никогда не увижу белого света, а вместо него белое, нет, белесое молоко Млечного Пути.

А я ведь всегда считал себя каким-то особенным, непохожим на других. Таким эксклюзивным и избранным. Мне всегда казалось, что я буду жить вечно и никогда не умру. Что я отличаюсь от прочих тем, как думаю, как одеваюсь и веду себя. Часто, глядя на своего соседа по парте, подъезду, месту, я думал: какой он дурак. Даже в тюрьме, где без взаимовыручки не выжить, я держался особняком.

«Мимо мира», — так говорила про меня мама. И вот теперь я действительно скольжу мимо мира. Я, такой молодой и красивый, должен умереть глупой и нелепой смертью. Я вот-вот могу быть раздавлен паникующей толпой, быть истерт в порошок жерновами ее ног.

К счастью, откуда ни возьмись, будто его послал бог, подул сильный ветер. Дым немного рассеялся, и я увидел море людей вокруг себя, увидел их прекрасные лица и слезы в глазах. Дымовые шашки вызвали першение в глотке. Но это были слезы и кашель радости.

— В шеренгу! — хрипя, орал в мегафон Хайсам. — Сцепились руками в замок, не пускаем псов!

Справа и слева меня схватили за руки, и впервые в жизни я почувствовал себя частью чего-то большего и общего. Звеном живой цепи, ДНК. Я был частью живой биомассы, серого клокочущего вещества, коллективного мозга, общего тела, гражданского духа и всеземного сознания.

Чтобы осветить задымленную темноту, на площади Свободы подожгли полицейскую машину. Кровь возбуждала, огонь будоражил. В двух шагах от себя я видел растрепанную девушку, которая сжимала под мышкой черный пакет. Такой черный пакет с надписью «Кэтс».

— Да зачем он мне! — вдруг растерянно произнесла она. — Пейте все, пожалуйста...

Она вывернула пакет наизнанку. И достала оттуда бутылку молока. Затем отвернула крышку и понесла мужчинам, словно свою белую большую грудь. Перепало чуток и мне. Отпив глоток, я подумал, что впервые в жизни кошка поила людей

молоком. Я пил и чувствовал вкус каждого дерева, каждой травинки, каждого камня и ручья, я ощущал каждый порыв ветра, что ласково трепал меня по загривку, словно собаку.

Отравление углекислым газом вызывало головокружение и легкость в теле. Глоток свежего воздуха и молока, как взрыв счастья, ослепил меня. Я словно встал в потоке бытия и на минуту оторвался от земли. Нас охватило сумасшедшее воодушевление. И я был впервые абсолютно счастлив. И даже обрушившиеся на нас резиновые пули и дубинки не могли этому помешать. Ибо этот миг счастья и свободы искупал сотни лет унижений и страданий.

Глава 6

Гюляровая революция

1.

— А если в одиннадцать эмир не отречется от власти, то что будет? — спросил Омар у Ширхана-эфенди, когда охрана помогла последнему слезть с трибуны.

— Кто знает? — улыбнулся Ширхан. — У нас выбор небольшой. Либо они нас, либо мы их. Да не забивай ты себе голову. Лучше пойдем в штаб, горячего чаю попьем, обсудим наши дальнейшие планы, — предложил он Омару дело по душе.

Спустя минуту они уже подходили к одной из юрт, возле которой на мангале готовилось мясо.

— Откуда хавчик в таких количествах? — поинтересовался Омар, с аппетитом глядя на мясо и прихихливаясь к аромату.

— Как ты и говорил — из гуманитарной помощи. Американские военные пайки. Людей надо чем-то привлекать и кормить. Эмир не смог дать им достаточно хлеба и зрелищ, и это сделали мы.

Оглядевшись, Омар увидел, что время ужина настало не только для них. Тысячи людей с мисками выстроились у полевых кухонь. Это напоминало раздачу еды в дурдоме, если бы не атмосфера братства и равенства, что царила на майдане. И не было здесь никаких санитаров. Вместо них за порядком следили специально подготовленные и обученные дружинники.

— Ладно-ладно, чего встал как вкопанный, заходи в шатер, — Матах-эфенди похлопал Омара по плечу, — разговор есть.

Но не успел Омар войти в шатер, как снова остолбенел. Ибо здесь за дастарханом уже сидели Гураб-ходжа и Прима Дива. И оба не в праздничных шелковых халатах или бархатных платьях, а в походных куртках.

— А, это вы, дорогой гость! — встал со своего места и протянул в знак уважения две руки Гураб-ходжа.

Впрочем, Омар вовсе не собирался жать руки Гурабу-ходже. Сухо кивнув в знак приветствия, он уселся за щедрый стол.

— Напрасно вы так со своим благодетелем, — явно расстроился Гураб-ходжа. — Объявив вас сумасшедшим, я спас вам жизнь.

— Знаем, знаем, — саркастически ухмыльнулся Омар, — сначала организовав травлю, преследование, арест, чтобы потом все прикрыть дурдомом.

— Все было сделано в ваших и наших интересах. Политика — это искусство компромисса. Мы сейчас как никогда нуждаемся друг в друге. В этот ответственный миг, когда появилась возможность изменить ситуацию в стране и помочь стольким людям, нам никак нельзя ссориться. Вы, будучи сотрудником столь уважаемого фонда, как никто разбираетесь во всех подводных течениях западной политики. И поэтому мы вам предлагаем пост министра иностранных дел.

— Вот тебе на! — изумился Омар, вставая из-за стола. — Мне — министерский портфель? И за какие такие заслуги? Думаете, я вам поверил?

Разговаривать, а тем более есть из одной тарелки со своим мучителем Гурабом-ходжей у Омара не было никакого желания.

— Право же, зрелым мужам не пристало ругаться в столь переломный момент истории, — поспешил смягчить пространной речью назревающий конфликт Гураб-ходжа. — Наступает время новой, третьей силы. И эта сила построена не на сатанистском учении Дарвина о естественном отборе и праве сильного помыкать слабым. Она уважает и ценит слабого и незащищенного. Давайте же объединим усилия, Грегор Стюарт.

В чем-чем, а в произношении речей Гураб-ходжа был мастак.

2.

Выслушав пафосную риторику вчерашнего начальника сыскной полиции, Омар почувствовал, что его мутит. После длительной вынужденной диеты ему ни в коем случае нельзя было принимать жирную пищу из военного пайка. Плюс от обильного кушанья вся кровь от головы оттекла к желудку. Он бы давно выбежал на улицу и опорожнил кишки, но ему важно было понять, что от него хотят новоявленные лидеры революции.

А когда все условности соблюдены — самое время подышать свежим воздухом и прогуляться свободным человеком по городу, по которому он еще недавно носился, как затравленный лось, в одной поношенной лососевой рубашке.



Пробираясь среди митингующих, Омар любовался прекрасными и светлыми лицами, окружавшими его, и испытывал чувство любви к простым кашеварцам. Пройдя путь суфия наоборот, который ему и предрекал книготорговец Абдулхамид, он вкусил запретный животный плод и испил чашу страданий до конца. Теперь он понимал ценность быть свободным человеком.

«Если меня сделают министром иностранных дел Кашевара, я постараюсь как можно дороже уступить концессию на алмазы. И тем самым улучшить жизнь простых людей».

Омар гулял и гулял, наслаждаясь воздухом свободы и безопасности, пока не увидел у одного из ковров ювелира Кундуша.

— И вы здесь? — удивился Омар. — Я видел, как эта революция лишила вас вашего магазинчика. На его месте одни головешки.

— Плевать на все камни мира, — смеялся в ответ Кундуш. — Эти минуты счастья и свободы для меня гораздо дороже.

— Хотя сдается мне, что не все так просто, как кажется, — подсел к ним Абдулхамид.

— А что такое? — Омар подкидывал вопросы и ветки в костер, поддерживая, как мог, пламя беседы.

— Я ведь приехал в Кашевар из страны, в которой нечто подобное уже происходило. Хотите, я вам расскажу? Тогда укладывайтесь поудобнее.

— С удовольствием выслушаю, — улыбнулся Омар, помня, что в этом благословенном городе отказываться от историй нельзя. А сам с грустью подумал: неужели эту ночь ему опять придется провести под открытым небом, спать на сырой холодной земле?

«Ну уж нет, дудки! — сжал зубы Омар Чилим. — С меня хватит! Будем надеяться, что толпа пойдет на штурм цитадели и сегодня я буду спать во дворце эмира».

С завистью посмотрел он на красавец дворец, раскинувшийся над массивными камнями цитадели два флигеля-крыла. Облицованный мрамором, он сиял в свете прожекторов. А темные лица окружавших Омара отражали лишь всполохи костра.

«Хотя, — пригляделся Омар, — в эту ночь лица кашеварцев, кажется, сияют поярче дворцовой отделки».

3.

Не успел Абдулхамид начать рассказ, как появилась довольная круглая харя верзилы Саура.

— Куда вы пропали, эфенди? Мы вас обыскали. — Верзила подталкивал Омара к сцене. — Вам же сейчас выступать.

— Как выступать?

Омар взглянул на сцену и увидел, что там выступают звезды местной пентатонической эстрады. Ма-лахаи да кураи, да дикие пляски.

— Гураб-ходжа уже представил вас как свободного международного наблюдателя за выборами, которого якобы хотели купить власти, но он не поддался, — успокаивал Омара верзила, все настойчивее подталкивая его к сцене. — Вы должны подтвердить это.

Пока Омар соображал, что к чему, его подхватили под руки приближенные Ширхана-эфенди и подняли на сцену. Оказавшись на трибуне, Омар взглянул на раскинувшееся перед ним до самых предгорий рыже-бордовое море.

На ломаном кашеварском языке Чилим сообщил, что выборы были действительно сфальсифицированы. Очевидно, что эмир и мэр потерпел на них сокрушительное поражение.

— Да здравствует демократия! — завершил он свою речь лозунгом после того, как переводчик перевел слова Омара. — Да здравствует свободный и процветающий народ Кашевара!

Толпа восторженно зааплодировала. Многие десятилетия в Кашеваре восхищались всем продвинуто-западным, и для этих людей простой представитель свободной Европы был ценнее и важнее, чем местный воротила и монарх.

Собираясь было сходить со сцены, Омар интуитивно почувствовал, что его не хотят отпускать, потому что люди доверяют ему гораздо больше, чем всем остальным выступающим.

И тут на Омара снизошло оранжево-бордовое озарение, и его сердце захлестнула волна воодушевления. Омар уже знал, что без встряски в Кашеваре ничего не изменить. И что Маковую революцию должна сменить революция Гюлярова. Революция надежд для простых людей.

Чувствуя поддержку и восхищение людей одним его присутствием, Омар вдруг подумал, что кашеварцы — дети. Они так свято верят в сокровища Буль-Буля Вали. Их надежды так легко обмануть.

Он стоял на сцене перед раскинувшимся морем светлячков на фоне большой черной ночи. Это горели тысячи и тысячи глаз поверивших в него простых кашеварцев. Они надеялись, что с новой властью жизнь станет легче и сытнее. И Омар тоже верил в изменения, если только к власти не придут такие мерзавцы, как объявивший себя оппозиционером Ширхан-эфенди, недалекая и алчная Прима Дива, преследующий его Гураб-ходжа.

4.

— А теперь внимание! — успокаивая толпу, поднял руку Омар Чилим. — Ибо, клянусь, я не только иностранный наблюдатель, которого не смогла купить и запугать власть, но я еще и тот иностранец, к которому всю эту неделю во сне являлся Буль-Буль Вали. Клянусь, я тот самый иностранец, что послан Балыком-Маликом спасти вашу страну!

— И что сказал тебе Буль-Буль Вали? — словно вопрошала тишина после прокатившихся вокруг оаций.

— Святой сказал мне, — отвечал Омар, — что ответственность за паразитирование властей на изнывающем и деградирующем ослином теле народа лежит на каждом из нас. На каждом, кто из последних сил на пределе возможностей не сопротивлялся сложившемуся паразитическому режиму, а, наоборот, подчинялся ему. Кто пусть нехотя, но принимал правила порочной игры и плясал под дудку власти, как безмозглое животное.

Ибо нашими главными врагами являются наши пороки. Свинная нечистоплотность, крысиная зависть, слоновая толстокожесть, змеиные интриги, крокодилова жадность, бегемотова лень.

Мои скитания в Кашеваре научили меня, что чудеса делают обычные люди, живущие в обычных домах, ходящие по обычным улицам и говорящие обычные слова.

Чтобы нам, кашеварцам, выжить и выстоять, мы должны победить эти пороки. Но при этом нам надо научиться быть абсолютно честными перед собой и ближними, задавшись целью своими руками сделать нашу жизнь правдивее и богаче. Моральная революция и нравственное возрождение будут болезненными, потому что линия фронта проходит по трещинам душ. А граница между убивающей ложью и воскрешающей правдой идет не по межевым линиям и неживым картам, а по сердцу каждого из нас.

Омар говорил с придыханием, чувствуя, что его сердце вот-вот разорвется. Может быть, он говорил самые важные и, главное, выстраданные слова в своей жизни, убивая свой звериный нафс. Говорил несмотря на данное себе обещание больше ни разу не упоминать о святом, дабы не прослыть сумасшедшим.

5.

— А еще, — прижимал Омар к сердцу микрофон, который через эфир расцветал в сердце каждого собравшегося, — святой сказал мне, где зарыты несметные сокровища Кашевара. Алмазные копи

спрятаны в районе Чинчигарских гор. И если мы не отдадим этот участок в концессию, а создадим свою национальную корпорацию, будем дружно и честно трудиться на его разработке, то в Кашеваре жизнь станет намного лучше.

Но Буль-Буль Вали просил при разработке месторождения бережно относиться к природе. К природе вообще и природе человека в частности. Мы должны прислушиваться даже к горам, где живут розовые скворцы. Необходимо отменить байские охоты с загонами и перестать продавать воду из водохранилища соседним странам в таком вопиющем количестве.

— Да! — заревела толпа. — Все правильно говоришь! Мы со всем согласны!

— Бог с ними, с агентами западных мировых корпораций, — выразительно посмотрел на Гураба-ходжу Омар. — Для процветания наших кишлаков и городов нам придется бороться с самыми опасными шпионами и преступниками — с собственными самоубийственными животными привычками, накопленными за жизнь, включая лень, разврат, корысть, зависть, трусость и продажность с разобщиенностью.

Так, кажется, нас учил Буль-Буль Вали... А еще, — добавил Омар, вновь ловя волну и чувствуя колоссальную поддержку, — одиннадцать часов уже пробило, и пора всем идти на штурм цитадели, чтобы смести эту проворовавшуюся и завравшуюся власть.

Если мы не сделаем этого сейчас и здесь, то коррумпированные, повязанные друг с другом клановым родством чинуши и силовики найдут, как усидеть в своих крутящихся креслах и остаться у власти. И будут вечно устраивать из своего народа зоопарк. Мы не звери, у нас есть человеческое достоинство, и мы не дадим больше обращаться с собой, как со скотом!

Все на штурм! — уже срывая голос, указывал пальцем на цитадель Омар. — Я знаю, дворец эмира соединяет со стадионом тайный переход, и кто первый им овладеет, тот и победит. Все к стадиону!

И в этот самый момент, внезапно осветив площадь, полыхнула молния и полил дождь.

И тут же — это отлично было видно со сцены, — словно подхваченная стихией, толпа, запрудившая площадь, прорвала плотину оцепления и ринулась по проспекту к цитадели Кашевара. И эту могучую реку уже ничем нельзя было остановить.

6.

На этот раз толпа несла Омара во дворец, не сворачивая на футбольный стадион. Не стали преградой и сметенные в долю секунды ворота. Не остановились



кашеварцы ни перед золоченой лестницей со львами у подножия-основания здания, ни перед орлами на двух столбах в самой верхней точке перил. Потом крышу у толпы сорвало, и она проникла внутрь через рухнувшие двери.

Мародерствовали без удержу. Кто-то откручивал золоченые ручки, кто-то выдирает с корнем позолоченный шпингалет на память.

Вместе с Ширханом Омар одним из первых очутился в личном кабинете эмира и мэра. Он до сих пор не мог поверить, что ему удалось произвести с трибуны столь зажигательную речь и направить людей на штурм. Расхаживая по черно-белым плиткам, а затем встав напротив большой фигуры короля белых, он снова и снова вспоминал, как стоял на трибуне и как по мановению его руки свершилось то, что народ Кашевара давно заслужил.

Омар чувствовал себя победителем и самым счастливым человеком на всей земле. Волна необъяснимого воодушевления поглотила его с головой и захлестывала всех, кто в этот момент был рядом. В остро атакующей игре он поставил сначала шах, а теперь вот и мат королю Кашевара.

Конечно, никакого эмира и мэра во дворце не было. В это самое время его «белолобый верный гусь» уже, должно быть, набирал высоту.

Салон самолета по размерам был не меньше, чем личные апартаменты, и мэру казалось, что он по-прежнему в своей резиденции и что это флигели дворца, а не крылья лайнера отбрасывают тень на плантации риса и чая.

Удобно развалившись на диване, правитель Кашевара получал по телефону гарантии личной безопасности от президента одной из дружественных стран. Экс-мэр знал, что серые гуси живут в таком сообществе, где царит сплошной альтруизм и где узы любви и дружбы не позволяют членам группы бороться за власть, нанося друг другу вред. А еще серые гуси выбирают исключительно экологически чистые и безопасные места.

7.

Что касается зоопарка эмира, то захватившие дворец увидели весьма интересное зрелище. Взрослые хищники сидели в вольерах и клетках. В пруду-бассейне во внутреннем дворе расхаживали фламинго и плавали цесарки. Детеныши кошачьих, словно хозяева, вольготно и вальяжно разгуливали по залам резиденции. Черная пантера, кавказский гепард, пустынный леопард и снежный барс. Темные представители четырех основных кланов страны.

Собравшиеся за общим столом Гураб-ходжа и Прима Дива рассказывали Чилиму, что эмир и мэр очень плохо кормил своих зверей и постоянно истязал их. Например, задирает юных хищников палкой с острым крюком и веревкой на конце. Стоило кошке в порыве инстинкта броситься в атаку-погоню, он старался поймать их головы в лассо и затянуть удавку. Собственно, так же он обращался и со своим народом, дразня людей реформами и тут же требуя подтянуть пояса. А когда хищники чуть подрастали и начинали представлять реальную угрозу, он сам их убивал из автомата. Часто, предварительно отпустив на свободу, эмир стрелял своим питомцам в спину. Так он самоутверждался.

Омар, слушая рассказы о зверствах, наблюдал за одним львенком, который забрался на большое тронное кресло.

«А вдруг это и есть эмир, — мелькнула в голове у Омара крамольная мысль, — или его дух? Кто еще может так царственно развалиться на троне и свысока, с презрением смотреть на все происходящее вокруг и на всех собравшихся?»

Подойдя вплотную к львенку и не отводя взгляда от глаз юного хищника, Омар хотел подтвердить или опровергнуть так напугавшую его догадку. В какой-то момент Чилим, сам не заметив как, заговорил с львенком: мол, хороший, хороший, ты же не можешь быть перевоплощением эмира, ну скажи, где твой хозяин?.. Тот старался не обращать на Омара никакого внимания и даже зевнул.

Омар еще помнил, как во сне разговаривал с птицами и рыбами, и протянул руку, чтобы приласкать дикую кошку. Впрочем, он так и не решился потрепать молодого льва по загривку. А когда, разочарованный, скорее, своей нерешительностью, Омар встал и повернулся к хищнику спиной, то львенок сам потрепал его, вонзив когти в спину.

Лев разорвал лососевую рубашку и разодрал кожу Омара, который, в отличие от эмира, не знал, что нельзя поворачиваться к хищникам спиной после того, как ты выдержал их прямой взгляд. Пришлось срочно вызывать придворного медбрата, делать укол от столбняка и бешенства и накладывать швы на рассечение. Но то, кажется, была единственная жертва штурма дворца эмира в гуляровую революцию.

И это обстоятельство вызвало широкую улыбку на лице нашего героя.

«Р-р-р-р», — оскалившись, зарычал в ответ львенок, и Омару показалось, что он сказал: «Революцию сменяет реакция». Он готов был поклясться, что слышал это.

ЭПИЛОГ

Я меняюсь

1.

Мы мчались вдвоем на четырехстах лошадях, триста километров в час всю ночь. Спали и ели на ходу, по очереди сменяя друг друга. Сама дорога и бешеная скорость вызывали страх погони.

С каждым километром, который накручивал счетчик, фобии нарастали. Так кошка гоняется за своим хвостом, видя в том хитрого и опасного соперника. Пусть попробует догнать и схватить, если сможет!

На вокзал в Москву приехали засветло. Кэт, растрепанную, в расстроенных чувствах перехватили у вестибюля Ленинградского вокзала.

— Зря стараешься! Шахмат у меня все равно уже нет! — злорадствовала она, как только Муха представил к ее подтянутому гибкому животу жало заточки.

— Так ты из-за шахмат все это затеяла? — спросил я, когда мы сели в машину. Во мне до последнего теплилась надежда, что мы расстались из-за моей лжи. Большинство отношений распадается из-за лжи, возникшей в самом начале. А позже не знаешь, как с ней справиться. Сначала пускается пыль в глаза, преувеличивается собственная крутизна. А потом уже ты не можешь соответствовать созданному образу и начинаешь прятаться.

— Не из-за шахмат, а из-за алмазов, местоположение которых открывали шахматная карта и шахматная загадка.

— Ты всерьез поверила в сказку про клад?

— Эти шахматы принадлежали Буль-Булю Вали. Он нашел кимберлитовую трубку в Чинчигарских горах! А это несметные сокровища!

— И из-за каких-то бездушных камушков ты разрушила наши отношения! — рассвирепел я.

— Я же тебе объясняла, — пыталась защищаться Кэт, — все отношения — это всего лишь животные проявления инстинкта!

— Пусть животные. Но ты хуже животных, ты бездушная тварь! Безделушка, б...!

Моему разочарованию не было предела. И чем больше я думал, тем больше ужасался, пока, в конце концов, не почувствовал полное равнодушие. Словно кто-то отрезал от меня кусок души, и я, как таракан, оказался без нервных окончаний. Может, это была реакция на чрезмерную душевную боль, но я превратился в самый твердый камень — в алмаз, к которому так стремилась Кэт. Когда алмаз пытаешься задеть и поцарапать, он сам царапает другие камни.

2.

Муха сел за руль. А мы с Кэт расположились на заднем сиденье. Время от времени я смотрел на ее изысканные кошачьи повадки, на плавные движения, на нежные скулы и раскосые глаза.

Чтобы не лицезреть противного лица Кэт, через пару суток мы решили спрятать эту суку в багажник. Связали ей руки и ноги скотчем. Заклеили рот пластырем. На голову надели пакет Cats.

Получилась матрешка из кошек. Первая стальная, затем целлофановая, затем раскосое лицо Кэт, а под ним ее пластмассовая душа.

— Вот так, — сказал Муха, захлопывая крышку багажника, — я видел в общежитии, когда хотели убить кошку, ее, прежде чем скинуть с крыши, помещали в пакет. Так она теряет ориентацию, не может извернуться и встать на мягкие подушечки.

Дальше мчались по трассе с ускорением, равным ускорению кошки, падающей с крыши девятиэтажного дома.

Только однажды на какой-то серебристой извивающейся реке мы остановились. Ополоснуть лица, вылить на головы холодной воды, вдохнуть прозрачного утреннего воздуха — словно река была тем Рубиконом, через который надо перейти. И еще несколько раз на заправках, где мы нюхали сизые испарения бензина, покупали несвежие чебуреки, должно быть, из кошатины и ядреную бензиновую кока-колу.

К концу третьего дня мы достигли границы Кашевара. Чинчигарские горы, разрезанные морщинами ущелий и венами ручьев, с изредка встречающимися зелеными реликтовыми рощами выглядели по-отцовски величественно. Горная речушка, брызжа слюной, облизывала отвесные, обглоданные временем склоны. Над извивающейся серпантином дорогой возвышались красноглиняные безлесо-беззубые, словно десны, гряды отрогов. Чернотой раскрытого рта зияла пропасть.

На мосту, отделяющем Кашевар от прочего мира, мы застряли надолго. Грузовые фуры выстроились в длинную очередь к таможенному терминалу.

— За что мне эта красота? — Воспользовавшись возникшей паузой, я уселся над обрывом горной речки, любясь лысым известняковым плато и зелеными альпийскими лугами, снежными долинами и сверкающим в реликтовых рощах солнцем. Внизу, в бурлящем потоке, словно солнечные зайчики, мелькнули на лодках туристы в ярко-рыжих спасжилетах.

— Знаешь, — сказал я подсевшему Мухе, — когда я угодил в квартиру к Грегору Стюарту, у меня было такое чувство, будто Бог создал для меня новый



мир. Потом, стоя перед зеркалом, я думал: вот Бог создал нового человека. Когда передо мной лежала чужая девушка, мне было так больно в груди, будто одно ребро у меня вырвали и из него слепили это чудо. А сейчас в багажнике лежит моя бывшая полуживая девушка, и мне абсолютно все равно. С самого начала меня не покидало чувство, что все это не мое, не мне принадлежит. Я много раз вспоминал старуху и боялся остаться, как она, у пустой коробки. А вот теперь я сам — у пустой коробки. И мне все равно. Единственное, что меня мучает, — почему Бог меня так любит, что не убил сразу за все мои прегрешения?

— Все здесь как раз понятно! Видишь седовласые вершины? Они похожи на твоих предков, которые сейчас по ту сторону жизни вносят за тебя залог. Откупают и отмаливают твои грехи. Иначе бы нас давно не было, — заявил Муха, вставая; иногда и ему удавалось выдать глубокую мысль.

— Постой, — догнал я направляющегося к машине приятеля, — значит, нам поскорее надо влиться в родовое ярмо, трудиться, не покладая рук, и помогать нашим предкам словами и делами вымаливать у Всевышнего прощение.

— А я о чем? — сел за руль Муха. — Нам надо поспешать! А то вернемся к шапочному разбору завалов.

3.

Как только пересекли границу и поменяли симку на мобиле Мухетдина, на телефон пришло сразу несколько СМС. «Если ты настоящий кашеварец, то больше никогда не плати взятки и не унижайся перед чиновниками!» «Если ты сын революции, не доноси на своего соседа!» «Будь достойным кашеварцем — не загрязняй город, не плюй на улицах».

Началось! На таможене Кашевара мы планировали заплатить взятку и — вперед! — обойтись без досмотра. Но действовать по налаженной схеме не получилось — возникли неожиданные сложности. Разглядывая документы и читая в паспорте имя «Грегор Стюарт», таможенники как-то ошарашенно переглядывались.

Я делал вид, что плохо понимаю по-кашеварски, и Муха старался говорить сам.

Нет, с нами обращались вежливо, даже провели в ВИП-комнату и предложили, на европейский манер, жженный кофе. В кои-то веки чинуши так обходятся с простыми смертными? Неужели революция их так пробрала? Затянувшееся ожидание напрягало.

— Что-нибудь не так? — спросил Муха.

— Нет, все правильно, — отозвав его в сторону, извинялся таможенник, — просто в нашем скромном кишлаке нечасто таких больших гостей встре-

чают. Можете вы уделить немного времени нашим аксакалам и отужинать с нами? Сейчас как раз стол накрывается. Сами понимаете: село у нас маленькое, пограничное. Уважьте стариков, не обидьте. А потом мы вас с эскортом проводим.

— Неужели на них так подействовали «ягуар» и костюм? — шепнул мне Мухетдин, передав просьбу старшего по посту.

— Может, и правда поедем? — осторожно согласился я. — Уже несколько суток лагман не ели. И чаю с лимоном и урюком жуть как хочется.

— Я не против, — заметил Мухетдин, — но только недолго.

Обрадовавшись нашему согласию, таможенники тут же препроводили нас в самый большой дом кишлака, под навесом которого уже собрались старики.

Особняк, возвышающийся среди теснившихся друг к дружке глинобитных лачуг, принадлежал то ли местному начальнику таможенного поста, то ли капитану милиции.

4.

Не успели мы уважительно поздороваться со старейшинами, как нас, проявив еще большее уважение и почет, попросили выбрать барашка для плова. На заднем дворе, где мне, как молодому члену семейства при сборе аксакалов, и было самое место, я почувствовал себя уютнее. Как только выбранного Мухетдином барана потащили за рог и связали ему бечевками ноги, а овцы, сбившись в кучу, жалобно заблеяли «бе-да-бе-да-бе», я вновь почувствовал себя плохо. Я вспомнил, что сейчас вот так же, со связанными конечностями, лежит и Кэт. А если она умрет? А если сварится в стальной фольге багажника, если запечется на углях солнца?

И тут, ледяной иглой проникая в сердце, зазвонил телефон. Это была мать Таи. Помертвевшем голосом она сообщила, что ее дочь сегодня погибла. Сердце не выдержало колоссальных нагрузок, возникших из-за огромного количества антибиотиков и ослабления контроля со стороны мозга.

— Очень жаль, — это единственное, что я мог сказать. Самому мне захотелось прижаться лицом к прохладному мраморному биде в квартире Грегора Стюарта и выплеснуть все содержимое желудка: все беляши с котятами.

— Похороны в среду, — сказала Валентина Юрьевна. — Я не хотела вас звать, но потом поняла, что не имею права. Вы сделали все, что могли.

«Наверное, не все, раз такой печальный итог!» — подумал я, вспоминая, что любви к тому куску мяса под именем Тая не испытывал. Впрочем, я не стал, конечно, говорить об этом несчастной матери.

— Вы придете? — спросила Валентина Юрьевна.

— Приду, — соврал я и отключился, а сам вернулся в персиковый сад под навес веток, где уже пили чай с лимоном и урюком местные старожилы.

Как часто мы хотим вновь оказаться в райском саду и как много делаем, чтобы вновь туда вернуться. Совершаем революции, влюбляемся, приносим себя и других в жертву.

5.

Усевшиеся за столом в порядке возрастного убывания старики в ожидании молодого мяса сдержанно судачили о тяжелой жизни. Мы с Мухой чувствовали себя неловко под пристальными изучающими взглядами в незнакомой компании. Но тут один старейшина, улучив момент, спросил:

— Как планируете страну переустраивать, уважаемый, после революции? Вот я смотрю, вы ведь с южным сюда приехали. — Под южным аксакал имел в виду Муху. — А мы люди простые, северные. Скажите, все будет по справедливости?

Не понимая, о чем талдычит этот Талдык Талдыкович и чего от нас хотят старики, мы смущенно переглянулись.

Надо было что-то отвечать, и Мухач, сообразив, что старик спрашивает о переустройстве после цветной революции, начал говорить о демократии и равенстве, о том, что такой шанс для страны и народа надо использовать по максимуму...

Но было уже поздно. Собравшиеся заметили наше смущение и невнятность речи. Оказавшийся среди гостей капитан полиции, фуражка которого была увенчана символом новой власти — крабовидной кокардой, — отправил нас в столицу для выяснения личностей. Прямоком к лидеру новой демократической коалиции и негласному фавориту грядущей президентской гонки Омару Чилиму. Резиденция эмира и мэра, расправив оперенье многочисленных ажурных балкончиков и карнизов, грелась в солнечных лучах над разлагающимся городом.

Мир — все более усложняющаяся анфилада залов. Пролетев, как на парусах, через отделанные розовым мрамором и голубым гранитом комнаты, мы очутились в самом сердце предвыборного штаба новой демократической коалиции — тронном зале.

6.

Муха с беспокойством заметил, какая суматоха творится в его стенах, пока я, задрвав голову и открыв рот, рассматривал расписанные причудливым орна-

ментом парусные своды, что несли на себе сферический купол.

Каково же было мое удивление, когда на этих шатровых куполах нас, словно на парашютах, заставили опуститься на землю и повели в спальные покои эмира. Там я и увидел того самого господина, которого я вез на вокзал в Питере.

Это был настоящий, а не поддельный Грегор Стюарт, без пяти минут новый эмир и мэр Кашевара Омар Чилим! Он лежал на кушетке совершенно бледный, изможденный, лицо было изуродовано какой-то мелкой сыпью. Всего несколько дней, проведенных в Кашеваре, — и этого холеного европейца уже нельзя было отличить от местных бедолаг.

— Это ты? — указав на меня пальцем, спросил Грегор Стюарт.

— Да, — уверенно заявила советник в штатском.

— Действительно похож! А я и не заметил в ночи, что ты так похож на меня. Не до этого было. Ну да ладно... — задумчиво помолчал с секунду Омар Чилим. — Ну давай рассказывай, рикша!

— Что рассказывать? — Я быстро сообразил, что, идя на президентские выборы, Грегор Стюарт принял новое гражданство, религию и официально сменил имя на кашеварское. Так почему я не могу позволить себе подобное?

— Рассказывай, самозванец, как ты попал в мою квартиру и украл мою машину? Да я смотрю, на тебе еще и моя одежда!

— Хотел покормить попугая, — робко начал я, ловя себя на мысли, что совершенно не готов оправдываться, хотя уже тысячу раз про себя репетировал эту речь.

— Неужели? — Омар расплылся в горькой улыбке. — И имя мое доброе присвоил? Мне после этого ничего не оставалось, как взять себе новое имя. А машину зачем угнал? А может, ты и жизнь мою украл?

— Хотел догнать шпионку Кэт, она ваши шахматы украла, а я не знал, что она шпионка... — Я понял, что реплика опять получилась неуклюжей. Вот как в жизни получается: хотел я ее догнать и загнать в клетку, а в итоге сам угодил в ловушку.

— А шахматы, где они теперь? — привстал с кушетки Грегор Стюарт.

— Не знаю, но зато я знаю, где зарыты сокровища Балька-Малика.

— Значит, разгадал-таки загадку шахмат, — еле сдерживая горькую улыбку, выдавил из себя Леонардо Грегор Омар Стюарт Чилим. — А удалось ли тебе за это время пройти путь от человека до животного и дальше до растения и бесчувственного камня, как это удалось мне?

— Ваша шпионка Кэт поневоле заставила меня пройти этот путь, — отвечал я.



— Если бы вы знали, как он по ней иссохся! — нашелся и вступился за друга Муха. — Совсем она ему голову вскружила, все соки выпила!

— Выходит, ты мой настоящий двойник, Фарас Аббас!

— Может, и двойник, — пожал я плечами.

7.

— Ну раз уж ты назвался моим двойником, то поезжай в кузов, — быстро заговорил Стюарт. — Посмотри на меня. Видишь, как я слаб и как ужасно выгляжу. Это потому, что меня отравили. Я, наверное, скоро умру. Я слабею день ото дня. А не хотелось бы. Ибо в революции мы сделали только первый шаг. Еще предстоит поменять конституцию и провести свободные выборы.

— Кто вас отравил, эфенди?

— Видимо, те, кто хотели другого итога и желали прийти к власти сами или поставить своего человека. А может, и те, кто хочет столкнуть страну в хаос, расколоть ее на несколько частей.

— Какие мерзавцы! — старался угодить хозяину я.

— Они поняли, что я не дам осуществить их план, и потому запустили паразитов в мой организм. Я прорастаю лишаем и грибком. Я чувствую, как моя душа, словно озеро, начинает заболачиваться и цвести. Лубват-трава уже прорастает сквозь мое тело. Она растет, а я теряю силы.

— Вам надо в горы к нам в аул Гулизор. У нас там старики кого угодно на ноги поставят.

— Мне уже никто не поможет, кроме тебя. Потому что мне нужен двойник, который бы довершил начатое.

— Я не справлюсь! — сразу честно признался я.

— Не якай, ибо, как я убедился, нет никакого «я». Все мы часть чего-то большего, часть одной страны. Мы и пожухлая трава на поверхности, и богатые недра в глубинах нашей земли, мы и животные, и кусты розы, что сейчас наполняются соками дождя, и дерево граната, что выгорает изнутри. Либо мы справимся все вместе, либо все скопом погибнем. Да, мы все умрем. Сначала я, а потом и ты.

8.

— И потом, — продолжал убеждать меня Грегор Стюарт, поднимаясь с кушетки, — ты думаешь, хоть один президент — будь то Барак Хусейн Обама или Джордж Буш — самостоятельные фигуры? Они такие же подставные. Ими управляют те, чьи фамилии не указаны в списке «Форбс» самых влиятельных и богатых людей. Зачем, если им и так принадлежит весь мир. Все самостоятельные фи-

гуры, вроде настоящего Саддама Хусейна или настоящего сына Африки Каддафи, давно смещены и убиты. Их страны захвачены и поделены на разные части. Думаю, тайные властители решили разделить Кашевар на две части — на север и юг, чтобы отрезать Китай от Чинчигарских гор с их несметными богатствами.

Я слушал, открыв от удивления рот.

— Так что ты будешь не первым и не последним подставным президентом, не переживай, — продолжал пояснять Грегор Стюарт, — но это и хорошо. Поскольку уж ты мой двойник, и поскольку на нас обоих свалилось одно несчастье, и поскольку мы разделили его пополам, предлагаю тебе одну взаимовыгодную сцепку.

— Какую еще сделку? — спросил я, не поднимая головы.

— Пока у меня еще есть силы, я буду управлять страной. А ты станешь моим лицом и пойдешь вместо меня на выборы. Выборы мы объявим через два месяца, предвыборная кампания уже началась. Тебя подготовят, и ты будешь ездить по малоодступным горным аулам и агитировать за меня, рассказывать, как мы модернизируем страну. Будешь делать то, что тебе не удалось в этот раз, — но, как известно, первый блин комом. Пойми, это нужно мне, как и тебе, потому что только мы все вместе сможем поменять эту страну и от итогов выборов будет зависеть наше будущее. Сейчас важно посетить как можно больше домов. Ты хорошо владеешь языком. Что и как говорить — тебя подскажут и научат. Да ты и сам потом разберешься и поймешь. Сам понимаешь, это восточная страна, и здесь нужно проявить уважение ко всем, особенно к старикам. Глядишь, слух пойдет, что я, как святой Балык-Малик, совершаю карамат и бываю одновременно в нескольких местах.

— Ну допустим, — согласился я, — а что потом?

— Здесь план дальнейших действий, — потряс Стюарт перед моим носом зеленой тетрадкой. — Я тебе его оставляю. По нему и будешь управлять страной, если я погибну.

Делясь своим планом, Грегор Стюарт так завелся, что встал с кушетки и быстро-быстро заходил по тронному залу.

— Подумай, времени мало, надо действовать стремительно.

Я стоял, опустив голову, и соображал, что к чему. Странное дело, Омар Чилим просил самозванца стать двойником двойника. Конечно, он говорил правильные вещи, но почему-то я ему не доверял.

9.

— А где я буду жить? В резиденции правителя Кашевара?

— Поселишься в моей резиденции, будешь каждый день выступать по телевизору и ездить по районам и городам Кашевара. Есть-пить только самое лучшее. А я пока буду жить и лечиться в Чинчигарских горах, как шейх Балык-Малик. Я ведь стал мутаборитом, и сейчас для меня специально возводят тайную летнюю резиденцию. Но у нас с тобой всегда будет прямая связь.

Я представил, как буду жить в этом прекрасном дворце, а он — в каменном особняке, специально построенном в райской горной долине. В таком красивом, напоминающем больше шкатулку для драгоценностей, особняке.

— А дальше что? — скептически спросил я. — После выборов?

— Будешь моим двойником и дальше, если я выживу. На всяких там парадах и официальных приемах.

— Это вы не хотите подвергать себя лишний риск?

— Я хочу подстраховаться. Если я умру, сам станешь президентом. Зарплата у тебя будет хорошая. А в помощники можешь взять своего друга, — указал Грегор Стюарт на Муху, а затем на Кэт, — а ее в секретари. Если хочешь, мы тебя женим на Кэт. Она хороший и честный работник. Она всего лишь выполняла задание по поиску шахмат святого. Она служила стране, которой теперь должны послужить и мы. Кроме нас, некому для Кашевара постараться.

— Классная халтура, соглашайся! — подначивал Мухач. — Будешь кататься как сыр в шоколаде, да еще на «ягуаре». И ничего делать не надо. Второе после президента главное лицо в государстве.

«Конечно, неплохо», — мне вдруг снова захотелось обнять Кэт.

— Могу я подумать немного? — попросил я.

— Конечно, подумай. И подумай хорошенько! — продолжал давить Грегор Стюарт. — Мы и семью твою не обидим. Участок плодородной земли выделим. Новый дом построим! Только ты должен будешь добросовестно играть свою роль. Появляться на футбольных матчах и концертах в то время, когда я устану. Ездить в кортежах, когда служба безопасности узнает о готовящемся покушении на мою личность. В общем, обычная работа двойника.

— Куда ты пойдешь? Кем ты будешь? — пристально смотрел на меня Муха. — Опять впряжешься в ярмо трудовой жизни, как лошадь?

— Пойду искать самого себя, честно трудиться и отмаливать грехи рода. Пора уже и мне быть со своими предками. Во всяком случае, я больше не буду прежним безмозглым ишаком. Фарс Фараса окончен.

— Ну и дятел! — сплюнул прямо на мраморный пол Муха, мол, чего тут думать и решать.

— Не мешай ему! — заступился Грегор Стюарт. — Я думаю, он примет правильное решение.

10.

Грегор Стюарт со свитой остались, а я с тощим Мухой вернулся в прекрасный тронный зал. Я уселся на его президентское кресло и представил, как буду управлять страной из этого кресла, как буду изображать другого, и говорить написанные спичрайтерами речи, и вещать чужие мысли.

Я представлял, что мне предстоит снова быть двойником, а, по сути, тенью и пылью, возможно, уже не существующего Грегора Стюарта. И так, вероятно, уже всю жизнь. Что мне опять нужно будет жить в золотой клетке и копировать движения и речи нового президента. И что меня, возможно, тоже где-нибудь убьют.

Грегор Стюарт утверждает, что это все во имя блага страны, но могу ли я ему верить?

Так я думал, ища ответа то в расписном потолке, то в больших, раскрашенных живой листвой, окнах дворца, пока мой взгляд не привлекла книжка, что лежала рядом с тронном Омара Чилима. Я взял книгу в переплете из кожи эрзерумских быков и открыл на последней странице, собираясь погадать по этой книге.

Небо в алмазах**(эпилог из второй книги)**

Вода небесная превращалась в снег. Алмаз Алексеевич вышел с завода на сверкающий льдом и хрустящий под ногами мир. Старушка зима давно сняла волшебные зеленые очки лета, сказка закончилась, и все вернулось на круги своя. Теперь мороз словно законсервировал и улицу, и дом, и завод — все, что более всего в жизни ценил и любил Алмаз Алексеевич. А в это время, схватившись за сердце, рухнул на пол конторы, как подкошенный, Диамант. Микроскопический осколок алмаза, как каяк Кая, пройдя порогами кровеносных бурных рек, ткнулся острием о берег сердца, вгрызся носом в эластичную плоть, зарылся, словно в илистый берег. Диамант лежал, закатив глаза, и видел, как идет снег, сыплет



и сыплет себе спокойно и неторопливо. Он чувствовал, как постепенно холодел и отмирал один орган за другим. И зачем ему была нужна земля в алмазах, когда все небо выстелено перед ногами? Постепенно снег успокаивал и вносил небесную ясность ума, засыпая белым саваном все в округе, в том числе и эту историю.

11.

Дочитав книгу до конца, я принял решение. Я понял, что если я откажусь быть двойником Стюарта, то это будет ударом по нему. Пусть не физическим, но психологическим, ибо рухнет его вера в «мы».

И потом я не смогу помочь простым людям вроде Мухи и Кати, мамы и брата Аббата. А им помочь я просто обязан, даже если мне придется ради этого отказаться от самого себя и стать тенью Стюарта.

— Я согласен, — сказал я, глядя появившемуся Грегору Стюарту в глаза, — но при одном условии.

— Говори!

— Я согласен быть твоим двойником, если только ты тоже станешь моим двойником. При условии, что ты поменяешься и перестанешь пренебрегать человеком в себе, каким бы маленьким и глупым он ни был. Перестанешь им пренебрегать, даже если он тебе покажется тупым, как камень, или глупым, как лошадь. Ибо теперь нет никакого «я», а есть только «мы»!

— Ровно это же я предлагал и тебе.

— Значит, ты согласен стать двойником гужевой лошади Фараса Аббаса? — спросил я после короткой паузы, пристально посмотрев в глаза Омару Чилиму, понимая, что в эту секунду решается, будут ли наш народ и наша страна одним единым целым.

— Я согласен! — ответил Омар Чилим, увидев свое отражение в моих глазах. — Я меняюсь. А ты?

— И я меняюсь! — увидел я отражение своего отражения во все более стекленеющих глазах Чилима — ровно до тех пор, пока это отражение не появилось еще и в слезе. — Мутабор!

Дмитрий БОБЫШЕВ



Продолжение.
Начало в № 7–12 за 2009 г.,
№ 1–12 за 2010 г., № 1, 2, 3, 4, 5 за 2011 г.

УВИЖУ САМ

ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ, КНИГА 3

Странности книгопечатания

Что ж, поговорим об этих странностях — их, вероятно, не меньше, чем у любви. Уже шестой год я находился за границей, в условиях свободы печати, много писал и где только не публиковался: во Франции и США, в Израиле и Германии, — а новой книги после той, первой, все не было... Критики ложно снобировали меня, издатели откровенно отворачивались. Если Пушкин под странностями имел в виду извращения, то и здесь они нашли место. Неужели парижская — нет, не ведьма, но фея — составит мое авторское счастье? Вернувшись в жизнь урбанскую, я стал так и эдак перестраивать рукопись. Будь у меня возможность, я бы издал две книги подряд: большую поэму отдельно и с предисловием (увы, теперь уже не Буковского), а затем — все остальное, написанное до и после. Но раз выпал такой фантастический случай, пусть будет одна, озаглавленная по доброй традиции: «Русские терцины и другие стихотворения».

Розановой я звонил по утрам, и хотя временная разница с Парижем была семь часов, то есть там было хорошо после полудня, она тоже отзывалась бодрым голосом: «Бобышев!» (с восклицательным знаком). Я хотел облегчить ей набор и послал дискету (тогда уже появились компьютеры) с выверенным текстом, тем самым желая избежать опечаток. Но оказалось, что их агрегат этого не переваривает и приходится все набирать заново.

— Егор сидит невылазно в типографии, — успокаивала она меня. — Набирает ваш текст.

Я бы хотел и обложку оформить на свой лад — с помощью профессионала, разумеется.

Тем временем наше Славянское отделение пополнилось Натальей Ушиной, специалисткой по Чехову. Ее наняли на четыре года с перспективой на постоянное место. Бывшая москвичка с круглыми карими глазами, с широкой и несколько робкой улыбкой, пухленькая, живая, она бывала очень симпатична. Иногда острила с долей цинизма, но в точку. Знала прекрасно самиздат и вообще весь московско-питерский неофициоз. Словом, мы подружились и стали встречаться домами.

Ее Эрик, жилистый, петушиного склада мужичок, позиционировал себя как художник-нонконформист, и мы с Ольгой устроили у нас просмотр его слайдов. Крупные планы с деталями были особенно хороши: советские реалии с саркастическим осмыслением и абсурдным, неадекватным текстом. Вот одна из надписей к изображению длинноносой птицы, любящей постучать по трухлявому пню: «Дятел мясной породы». Если мысленно расставить после каждого слова восклицательные и вопросительные знаки, становилось очень смешно.

И я попросил Эрика сделать макет для обложки «Русских терцин». Он охотно согласился. Мы сошлись на стиле «ретро», входящем тогда в моду. У меня была книга Н. Пыляева «Старинный Петербург» со множеством гравюр, которую мне удалось вывезти в обход таможни. Выбрали вид Невской перспективы на пересечении с Фонтанкой, но с еще деревянным Аничковым мостом. Укрощаемых коней там пока нет, но уже присутствуют родовые приметы: чуть смещенный с точки схода шпиль Ад-



миралтейства да волей гравера поставленная туда игла Петропавловки с ангелом. Дом Разумовского, или Аничкин дворец (так у Пыляева — мост Аничков, а дворец Аничкин), еще не заслоненный классической колоннадой со стороны реки, всю красуется барочным фасадом. Уже в иные времена слева на задах его сада встали дома, позднее надстроенные до шести этажей, и там наверху жила моя зазноба, заноза, от которой и посейчас посвербливает у меня в сердце. Сговорившись со мной по телефону, она балетной походкой пробежала вдоль отсутствующей на гравюре колоннады, пересекала Невский и, минуя угловую аптеку, шмыгала под дворовую арку. Ни арки, ни аптеки на гравюре еще нет, там стоят пакгаузы таможенных служб, и спустя столетия их накроет многоэтажный дом с богатыми квартирами, впоследствии переделанными на коммунальные клетушки, одну из которых я снимал ради свиданий с той самой, что прибегала по черной лестнице и дарила мне (и себе!) счастливые минутки.

Эта гравюра середины осмнадцатого века, помещенная на обложку, была бы для меня тайной картой зарытых во времени сокровищ, а для читателя стала бы знаком моего неопетербургского стиля. Имечко автора парило бы в низких тучах над шпилями, а название книги пересекало бы Невскую перспективу где-то в районе Садовой. Обложка делалась уже под вторую корректуру. Первая пришла с тучей ляписов, пропущенных строк и, конечно же, опечаток. Опечатки — это моя особенная докуча, вроде слепней и оводов для стреноженного коня на выпасе, я от них бешусь. С одной стороны — знак того, что работа идет, а с другой — жжет эта нечисть в чувствительные места, превращая текст в глупость, в нелепость, а то и в посмешище.

Отослал я правку, и жду, и жду, и жду, бия себя по рукам, тянущимся к телефону. Наконец, приходит пакет, и что ж? Сгоряча ругаю лодырей и обманщиков из Фонтене-о-Роз! Шлют те же самые опечатки, да еще и прибавили новых. Но зато вложена записка:

«Дорогой Бобышев!

Посылаю Вам вторую корректуру во второй раз. Надеюсь, что все исправили. Дефисов у нас нет других и не будет. Что же до ударений и точек над «е», то их делаем от руки летрассетами. В новой корректуре обязательно их отметьте.

Для портрета хотелось бы иметь оригинал рисунка, т. к. с Вашей фотографии очень трудно сделать уменьшение. Не забывайте, что книга будет маленького формата. Как Айги.

И не давите на меня, пожалуйста, не звоните мне в два часа ночи: давления я не выношу — механизмы сопротивления включаются автоматически.

А какая будет обложка?

Ваша М. В.»

Эрик отказался от платы за работу, и мне пришлось ему чуть ли не силой вручить подарок: все ту же книгу Пыляева, из которой я ранее набрал деталей для «Ксении Петербургской», и вот теперь она пригодилась для обложки. Но у меня оставалось репринтное издание, и я им утешился. А многострадальную корректуру с дефисами, ударениями и макетом обложки выслал в очередной раз Марье Васильевне. Ее телефонный ответ был таков:

— Мне эта гравюра не нравится. Пришлите другую, я сама сделаю обложку.

Прислал другую, тоже с мостом и тоже с упрямыми во временах кладами — такой уж город! Но оригинал портрета не выслал — еще искромсает драгоценную работу Тюльпанова! По моей просьбе Игорь сделал именно к этой книге карандашный рисунок. Конечно, надо было бы съездить к нему в Нью-Йорк, попозировать, да куда там... Взамен этого он предложил послать ему как можно больше фотографий, сделанных единым махом, и в очередную из тогда еще милуокских суббот Ольга взяла свой «Найкон» и нащелкала целую пленку, снимая с утра мою непроспавшуюся физиономию.

Тюльпанов прислал озадачивший меня рисунок: два лица, сросшиеся общим глазом и черепом. Одно из них принадлежало озабоченному алконавту с растянутым воротом и веночком — нет, не из лавра, но какого-то плющика, а другое — спокойное и уверенное — джентльмену с галстуком-бабочкой.

Сознание заметалось в поисках смысла. Что это — двуличие? Может быть, останься я там, левое лицо было бы у меня с утра в очереди к пивному ларьку, а правое — это я здесь, на вечернем приеме в «Астронавтике»? Однако меж левым и правым, тамошним и здешним было врезано в общий лоб пустое место, зияние — что это? Из объяснений Игоря следовало, что пустое — это угол чистого листа, и мне надлежит собственноручно вписать туда стихи по моему выбору. Портрет тогда обретет третье, истинное лицо. Вот это — по-тюльпановски!

И я взял стихотворение «Перо и кисть» из той же готовящейся книги и вписал наискосок заключительные строфы, скрепленные дружески, даже более того, побратимски, двойной опоясывающей рифмовкой. Вообразите перо павлина, пишущее такие строки:

Навершие парит, себя наведши
и плоские вперяя око ввысь.
Здесь как ни изумрудно изумись,
древнейшее становится новейшим,

расплывчато-лазоревым. Но пусть
любой из нас заплакан и не вечен.
Живем не мы — немые наши вещи
вбирают хищно опыт, вкус и пульс.

А чудо ангелического слога
и радужные звуки свежих уст,
и самобытие мазка, боюсь,
даются только за чертой итога.

Но этот минус перекрестят в плюс
перо и кисть щепоткою от Бога.

Портрет таким образом получил соавтора, а дву-
личие превратилось в триединство.

Между тем книга застопорилась, словно кто-
то песку подсыпал в подшипники типографского
локомотива: все заклало, зашрипело, задерга-
лось... Стоп, машина! Даже прервалась телефонная
связь — причем самым пошлым, на уровне вранли-
вых школьников, образом:

— Слушаю! — ответил на мой звонок недоволь-
ный, но несомненно розановский голос.

— Это Марья Васильевна? Бобышев звонит.

— А Марь Васильны нету, — пропищала вдруг
какая-то кукла.

— Марь Васильна! — заорал я в отчаянье.

— Нету ее, нету, — настаивал тот же кукольный
голос.

Я покраснел от стыда за нее и вместо того, чтобы
сказать: «Как вам не совестно?», тупо ей подыграл:

— А когда она будет?

— Не знаю...

Разговоры через океан изнурили не только мои
нервы, но и семейный бюджет, и, обнаружив, что де-
ловые разговоры я могу вести с рабочего телефона,
я такой возможностью не пренебрегал.

— Как дела с вашей книгой, профессор? — спроси-
ла меня секретарша Бонни, полуседая леди с румя-
ным лицом, всегда глядевшим на собеседника впло-
борота. Это у нее стало после неудачного падения
с велосипеда.

— С рукописью все хорошо. А напечатать ее не
удается.

— У меня то же самое. Никакого ответа от из-
дателя.

— Бонни?! О чем ваша книга?

— О древней Элладе.

Я молчаливо изумился. Вот какие у нас самоце-
вты, какие таланты сверкают вокруг! Почему же все
они писатели? Хоть бы один заваливший издатель
нашелся!

— Да, об Элладе. По ночам я вижу сны и записы-
ваю их. Они сложились у меня в книгу сновидений.

Галантного продолжения этой темы мне удалось
избежать, но с той поры каждый раз, заходя в канце-
лярию, я вынужден был обмениваться сочувствен-
ными репликами с моей «сестрой по перу». Как низ-
ко вы меня опустили, любезная Марья Васильевна!

Месяц молчания толсто наслаивался на другой,
такой же безмолвный, на третий, четвертый...

И вот, наконец, я узнал, что издательство «Син-
таксис» широко рекламирует только что вышедшую
книгу стихов... поэтессы Малкиной! Чтоб узнать, кто
ж она такая, предлагаю любознательному читателю
заглянуть в более ранние главы моего текста: это
та самая особа, что, распустив волосы на похоро-
нах Яши Виньковецкого, похвалялась близостью к
Бродскому, а две дуэньи — Фрида Штейн и Наташа
Рымова — внимали ей с умилением и сладкой зави-
стью: «И тоже Марина»!

Я почувствовал, что меня не только обокрали, но
и зло разыграли при этом, как упомянутую Фриду с
ботинками на похоронах...

И я решил написать в «последнюю инстанцию»,
а для меня ею был великий писатель земли русской,
гулагской, вермонтской и прочая, и прочая...

Вот этот текст.

Здравствуйте, Александр Исаевич!

Возможно, Вы уже знаете мое имя и мне не надо
представляться — во всяком случае, Юрий Кубла-
новский рассказывал, что во время его визита в Вер-
монт Вы упоминали обо мне. Наверное, это было
в связи со статьей «Два лауреата», где я отстаивал
Вашу сторону в одном деликатном споре, и, кажется,
успешно.

Но все-таки я не критик, а стихотворец, начинал
в Питере и еще в конце 50-х вошел в круг младших
друзей Ахматовой, которым она благоволила —
примерно в то же время, когда и Вы познакомились
с ней. В самиздате мои сочинения ходили, а вот с
официальной периодикой отношения не сложились:
печатался лишь изредка, да и то с искажениями. Все
же рукописи моих сборников лежали сначала в «Ле-
низдате», а затем в «СП» — причем по их же предло-
жению. Лежали годами, но из этого так ничего и не
вышло. Я стал догадываться, что держать рукопись
и подогревать авторские надежды было с их сто-
роны лишь удобным приемом контролировать мое
поведение. Поэтому я решил иначе, и в 1979 году
с помощью Натальи Горбаневской выпустил свой
сборник в ИМКЕ. В том же году у меня в жизни про-
изошли большие перемены: я женился на американ-
ке русского происхождения, которая изучала в Со-
юзе археологию, и переехал к ней в Америку.

С тех пор я, конечно, понаписал и понапечатал
уйму новых вещей. Эмиграция пошла мне на поль-



зу: вызвала столкновение двух опытов — тамошнего и здешнего, заставила мыслить обоими полушариями... Эту «стереоскопичность» я и пытаюсь выразить: в стихах об Америке («Звезды и полосы», «Жизнь Урбанская») и особенно в «Русских терцинах». Это было уже напечатано в «Континенте» и других журналах.

С публикациями в эмигрантской печати у меня не было особых затруднений. Но с изданием второй книги давно уже создалась тяжелая хроническая проблема. В «Ардисе» и ИМКЕ мне сказали прямо, что «предпочитают Бродского». В «Руссике» дело завяло.

И вот шесть лет назад я обратился за советом в «Русскую мысль», где не раз печатался, к Арине Гинзбург. Она неожиданно порекомендовала мне «Синтаксис». Зная репутацию М. Розановой, стал я размышлять... Но тут вдруг звонит она сама с предложением издаваться у нее, за ее счет — причем книга выйдет через полгода. Предложение было слишком привлекательным, чтоб от него отказаться, и я передал ей рукопись с просьбой прислать договорное письмо. Договор она, конечно, не прислала, и — началось: долгое ожидание, через год — гранки с тучами опечаток, что потребовало еще одних гранок и еще одного года. Затем однажды, выбравшись во Францию, я просидел несколько дней с издательницей, выклеивая макет, пока все не стало, наконец, готово для типографии, и я спокойно вернулся домой, ожидая сигнальные экземпляры через месяц-другой. Но так и не увидел их и по сей час!

Что там стряслось, я не знаю — на письма Розанова не отвечала, по телефону давала ложные обещания, а затем даже стала менять голос по ходу разговора, как только услышит, что это я звоню. Наконец, обратился я к ней просто слезно: отдайте макет, я найду другого издателя. В ответ — ложные посулы, и снова ничего.

Конечно, мне досадно, но здесь уже больше, чем досада. Это — подножка, вред моей литературной репутации: более десяти лет я на Западе, а результатов не видно. Но, что существенней, есть у меня чувство предназначения, уверенность в том, что «Русские терцины» и стихи об Америке нужны сейчас там, откуда мы родом.

Я сделал уже все, что мог, сам: набрал книгу на компьютере лазерным шрифтом, дающим хорошее качество при печати. Остается найти нового издателя, который взял бы мои диски и довел дело до конца.

И здесь я взываю к Вам: помогите! Советом ли, рекомендацией, письмом или запиской — уверен, что одного Вашего слова будет достаточно, чтобы такой издатель нашелся и книга все-таки не пропала.

Шлю с этим письмом и оттиск книги. Пожалуйста, взгляните: а вдруг она этого стоит?

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш Дмитрий Бобышев.

И он ответил:

«Уважаемый Дмитрий...

(простите, Вы не назвали Вашего отчества)...»

Тут я должен прервать цитату деловым соображением: а не засудит ли меня Наталья Дмитриевна с сыновьями за то, что я печатаю записку без их разрешения? Чья это собственность — моя или их? Слышал я о таком толковании, что цитировать или давать выдержки в любом случае можно без опаски. Вот я и привожу эту записку в сокращенном виде, как цитату:

«Сожалею, но Ваше представление о моих связях с издательствами — нереальное. У меня просто их нет — никаких, ни единого знакомства, кроме ИМКИ. Вы сильно ошибаетесь, что “достаточно письма, записки” от меня, чтобы издатель нашелся. Во многих издательствах будет даже как раз наоборот: достаточно моей рекомендации, чтобы утопить рекомендуемого (такие случаи уже бывали, вовсе и не в издательствах).

Я снесся с Никитой Алексеевичем Струве по поводу Вашей просьбы».

Тут я еще раз прерву цитирование, на этот раз с целью прокомментировать. Зачем же он обратился к Струве, если я ему сообщил, что тот напрямую мне отказал со словами «предпочитаю Бродского»? Может быть, чтоб разузнать обо мне? Ну, тот его и просветил... А мотивировал совсем по-другому.

«Он мне объяснил: при новой динамике на родине и именно теперь, когда ИМКА из проклято-запретной перешла в центр внимания, льются к ней запросы по литературе религиозной, философской, исторической — по всему тому, что пропущено десятилетиями, — а при ничтожных производственных возможностях ИМКИ заниматься сейчас новым сборником стихов они никак не берутся.

А в советских издательствах? Да там сейчас жалуются, вообще чуть ли не вся литература умерла или замерла. Такое время.

Увы, не могу Вам помочь в печатании.

Всего Вам самого доброго».

И — подпись закорючкой.

Отказала мне в помощи «последняя инстанция». И этот отказ я могу понять, особенно если насплетничал Струве. Но остается загадкой поведение Розановой: там ведь больше, чем обычное наше неряшество. Но что это — неужели она специально обманывала и тянула, чтобы книга не вышла в свет? Тогда — зачем? По своему ли, по чужому ли злему умыслу? Много тут можно нафантазировать, но я не стану. Лучше приведу еще свидетельства, подобные моему.

25.3.91.

Уважаемый Дмитрий !

/простите, Вы не назвали Вашего отчества/

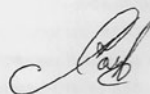
Сожален, но Ваше представление о моих связях с издательствами — нереальное. У меня просто их нет — никаких, ни единого знакомства, кроме ИМКИ. Вы сильно ошибаетесь, что "достаточно письма, записки" от меня, чтобы издатель нашёлся. Во многих издательствах будет даже как раз наоборот: достаточно моей рекомендации, чтобы утопить рекомендуемого /такие случаи уже бывали, вовсе и не в издательствах/.

Я снёсся с Никитой Алексеевичем Струве по поводу Вашей просьбы. Он мне объяснил: при новой динамике на родине и именно теперь, когда ИМКА из проклято-запретной перешла в центр внимания, — лютятся к ней запросы по литературе религиозной, философской, исторической — по всему тому, что пропущено десятилетиями, — а при ничтожных производственных возможностях ИМКИ заниматься сейчас новым сборником стихов они никак не берутся.

А в советских издательствах? — да там сейчас, жалуются, вообще чуть ли не вся литература умерла или замерла. Такое время.

Увы, не могу Вам помочь в печатании.

Всего Вам самого доброго.



А.Солженицын

Вот, например, Эдуард Лимонов в «Книге мертвых» описывает совершенно близнецовую — слово в слово — историю, как он приезжает в тот же пригород Парижа с цветистым названием, желая издать у Синявских свою книгу, кстати, одну из лучших: «Дневник неудачника». Розанова обещает, Синявский нахваливает, обнадеженный автор даже помогает по хозяйству: снимает пиджак и целый день вкалывает, выгружая хлам из подвала особняка. Даже подмел его, наконец...

Результат — тот же: «С «Дневником неудачника» не получилось. Они тянули с публикацией, издательство было маломощным...»

Свой диагноз для нашей общей феи с метлой поставил Сергей Довлатов 8 апреля 1986 года, то есть примерно тогда же, в письме Игорю Ефимову. Его характеристикам не всегда можно верить, но эту я подтверждаю:

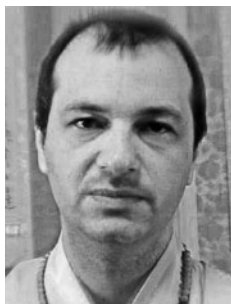
«Марья Синявская издает нашу (с Бахчаняном и Сагаловским) книжку, но это отдельная, страшная, мистико-патологическая история. Она, уверяя Вас,

абсолютно сумасшедшая женщина. Она посылает мне назад мои к ней нераспечатанные письма и параллельно задает вопросы, на которые я подробно отвечаю, а потом эти ответы опять-таки возвращаются ко мне нераспечатанными... Ужас, ужас!»

Но книги тем не менее вышли. Только — в других местах, поздно, плоховато... Моя — тоже. Носил я диски с рукописью, ступая по шатким доскам, настеленным на место уже украденных паркетов Шереметьевского дворца, где все еще находился эфемерный Союз писателей и притулившиеся к нему крохотное издательство. У него было мегаломаниакальное название: «Всемирное слово». Книга вышла, ее тираж долго где-то валялся на складе с тараканами, а дворец сгорел — в точности как булгаковский «Дом Грибоедова».

Но это случилось потом. А тогда в тяжелый момент протянул мне руку один волшебник, виртуоз линий, цвета и форм, оказавшийся по совместительству кабардинским князем.

Продолжение следует.

*Продолжение.**Начало в № 4, 7–8, 10 за 2010 г., в № 1, 4 за 2011 г.*

ИНДИЙСКИЙ ДНЕВНИК

19 ноября 1998 г., четверг

Все ушли в кино — я же остался специально, чтобы написать вам это письмо и таким образом побыть наедине с вами, мои женушка и сынок. Странно: когда мы вместе в Москве, я мало с вами разговариваю, а тут столько всего хочется сказать... Впрочем, это не странно.

Итак, мы в Патне и будем отдыхать здесь еще один день. До этого большого города мы добрались не полностью пешком — от Раджгира подъехали на поезде. Приходится смириться с тем, что и последняя часть нашего Марша мира не совсем пешая.

Да ведь и Будда не всегда шествовал на своих двоих, хоть легенды и гласят, что тело его было гигантским, а стопы, судя по сохранившимся отпечаткам, — в полметра. Как же он перемещался? Перелетал на дальние расстояния с помощью своих божественных сил? А может быть, входя в особое состояние — самадхи, — просто являлся людям в других местах, не вставая с того места, где он сам пребывал, показывая им свои «частные тела»?

Скорее всего, именно так он оказался в Варанаси, где произнес свою первую проповедь после того, как обрел просветление. Меряя Индию собственными ногами, мы теперь хорошо представляем, как велико расстояние от Бодхгаи до Варанаси — нынешнего Сарнатха. Пешком Будда бы и за две недели туда не добрался, а предание повествует, что он очутился в Оленьем парке в Варанаси чуть ли не на следующий день после обретения просветления. Он посетил этот город специально для того, чтобы первыми его учение услышали те пять аскетов, с которыми он вместе шесть лет практиковал самоистощение и которые покинули его, увидев, что Сиддхартха принял пищу из рук Суджаты. Они подумали, что в тот момент он предал духовный Путь. Поэтому Сиддхартхе, ставшему Буддой, было так важно поведать им,

что он ничего не предал, а, наоборот, нашел Срединный путь, на котором подвижник одинаково далек как от крайностей мирской распущенности, так и от духовных крайностей аскезы.

Пять аскетов сначала не хотели с ним общаться, но вдруг увидели сияние, исходящее от тела Будды, и неожиданно для самих себя упали ему в ноги. Они стали его первыми учениками.

В тот же день Будда вернулся под дерево Бодхи и, как подтверждают историки, уже точно пешком направился в Раджгир. Как это сделали мы. У нас это заняло пять дней.

Последний переход, от Джестивана до Раджгира, мы шли по абсолютно безлюдной долине меж двух горных гряд, по «джунглям», как назвал Учитель эти заросли невысокого, в человеческий рост, но очень густого кустарника. Во времена Будды именно на месте этих «джунглей» располагалась Раджагриха — столица древнего царства Магадха. Эта долина хорошо видна с горы Гридхракута, и видна извивающаяся ниточка дороги через них. Бывая на Гридхракуте, я всегда хотел пройти по этой тропинке. И вот, наконец, мы шли по ней, и заняло это целый день. Тень от кустарника была не ахти, и мы изнывали от жары. Хорошо, повстречался источник диаметром около трех метров, но достаточно глубокий, и мы по очереди с наслаждением погрузили в него наши потные тела.

Где-то посредине пути к нам вышли два индуса с винтовками, перетянутые патронташами. Они пригласили нас свернуть в сторону, там обнаружился небольшой поселок из классических соломенных хижин прямо на утопанной глиняной земле, которая и является их полом. Нам предложили остаться на чай, но Учитель поспешил продолжить путь. «Это гангстеры», — сказал он нам.



Пагода мира в Дхаули

Индия — не Америка, здесь редко кто носит оружие, хотя много отверженных людей, неприкасаемых. Есть крестьяне, лишившиеся земли из-за разлива рек при строительстве ГЭС и не получившие никакого жилья взамен. У нас-то старухам из «Прощания с Матерой» Валентина Распутина хоть квартиры в городе предоставляли, этим же — вообще ничего, кроме какой-то смешной финансовой компенсации. К тому же затапливается множество святых мест.

Индусы запомнили, что программа строительства ГЭС была разработана Радживом Ганди совместно с Михаилом Горбачевым, и потому не очень-то жалуют президента исчезнувшего СССР. С таким же неожиданным для нас неприятием Михаила Сергеевича мы сталкивались несколько месяцев назад на Кавказе, в начале нашего Широкого марша мира по Евразии. Это в Москве и на Западе Горбачева чтут за то, что он дал стране свободу и демократию и как президент-мироходец положил конец ядерному противостоянию, а для бывших республик СССР он чуть ли не кровавый диктатор. Действительно, ведь поначалу он посылал туда армию на подавление мирных националистических митингов. Правда, потом, после ГКЧП в 91-м, отпустил республики на все четыре стороны. У новой России оказались не такие мудрые президенты...

Ведь мудрость — это искусство отпустить то, что уже не твое. Именно это умение и тренирует буддийская медитация...

За эти пять дней мы прошли по деревням, где никогда не было электричества, а по вечерам жгут керосин. Люди принимали нас сердечно. Правда, далеко с нами не шли: боялись оторваться от родных поселков, в каждом из которых своя особая живая традиция. Городским жителям трудно понять этот страх, для городских «традиции» — это что-то вроде условностей, пережитков, легко превращающихся в игру и балаган. Да что там городские — достаточно появиться в поселке телевидению, как древние обряды быстро начинают терять смысл. Есть тут и практическая причина: для сельских жителей, не познавших прелестей цивилизации, храмовые обряды и сезонные праздники — это единственный способ организации досуга и общения. Телевизор дает суррогат общения, выхолащивает праздники до уровня пустых развлечений. В городской Индии это произошло. Хотя религиозность вроде бы сохранилась и индуистские праздники — чуть ли не каждый день, но это торжества пластмассовых кукол, а не живых божеств. Что-то вроде Диснейленда.

24 ноября 1998 г., вторник

И вот мы в Вайшали. Отсюда Будда уходил в Кушинагар, где три месяца спустя вступил в нирвану. Будда окончательно прощался с вайшалийцами, ибо заранее знал: его ждет нирвана, подразумевающая



Будда у входа в Храм Махабодхи



Марш мира недалеко от Древа Бодхи

исчезновение видимого физического тела из этого мира.

Впрочем, для тех, кто обладает внутренним зрением, тело Будды нерушимо, как алмаз, и может оставаться таким всегда. Свое исчезновение он показывает как уловку для неразумных живых существ.

Прежде чем принять решение об уходе в нирвану, Будда трижды сказал своему ближайшему ученику Ананде: «Если я пожелаю, то могу пребывать в мире вечно». Но Ананда трижды промолчал. Он не понял, что Будда намекает: если ученики попросят, Будда сможет вечно находиться среди людей в своем неумирающем теле. Но только если попросят...

И тогда Будда Шакьямуни сделал вывод: ни его ученики, ни тем более все остальное человечество не готовы к тому, чтобы Учитель всегда физически жил среди людей. А если они не готовы к этому, то не будут ценить, станут с пренебрежением относиться к Великому Святому, даже оскорблять его, и тем самым отяготят свою карму. Чтобы у нас возникла тоска по Будде, он решил уйти из этого мира и вернуться, только когда сердца наши очистятся, а мысли станут простыми и искренними. И Будда сказал: «Через три месяца я вступлю в нирвану». Ананда опечалился и просил Будду изменить свое решение. Но было уже поздно...

Вся эта беседа имела место в Вайшали, находящемся на другом берегу реки, на которой стоит Патна. Оказывается, река эта — не Ганг, а Гандак, чуть ниже сливающийся с другой маленькой рекой Гангис, так же, как и он, текущей прямо с Гималаев. Соединяясь, они и рожают Ганг.

По карте Вайшали расположен гораздо ближе к Патне, чем Раджгир — в Бодхгае, но шли мы от Патны до Вайшали те же самые пять дней. Ведь в деревнях люди останавливали нас, собираясь толпами, жаждущими проповедей, которые Тэрасава-сэнсэй

горячо произносит на хинди. Он знает только простой разговорный язык индусов и не умеет ни читать, ни писать на нем. Возможно, поэтому крестьяне так любят слушать Сэнсэя. Остановка для общения из короткой незаметно превращалась в длинную: индусы начинали готовить нам еду.

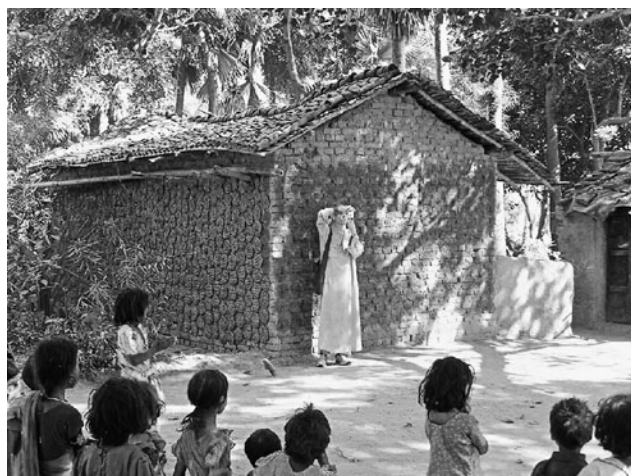
Вы и представить себе не можете, как они долго готовят! Но это их подношение нам. Это не ресторан и не «тур а-ля натур». Монахам нельзя высокомерно отказываться от подношений, даже если приходится испытывать неудобства. Таково наше послушание — давать людям шанс накопить добрую карму благодаря почтению к буддийской общине, не абстрактному, а конкретно выраженному. Реальное проявление глубоко спрятанных чувств дается всегда непросто, и к этому необходимо относиться с пониманием. Так мудрый взрослый терпеливо дожидается, когда ребенок научится делать что-то, чего не умел раньше, не обрывает и не сердится на его неловкость.

Но странствие наше затягивалось не только по этому. Утром мы могли предупреждать индусов, что хотим отправиться натошак, и они бы не обиделись, напоили бы чаем — и все. Мы же упускали этот важный момент, и они уже начинали готовить нам завтрак. Приходилось ждать. В итоге наш выход фатально затягивался, и мы плелись уже по жаре, естественно, очень медленно.

Только сегодня мы наконец смогли выйти полвосьмого — и прохладное утро было наше. Мы быстро дошли до ворот, обозначающих въезд в селение Вайшали. От них всего четыре километра до ступы нашего ордена «Ниппондзан Мёходзи». Однако мы заблудились и проплутали десять километров без перерыва: нам все казалось, что вот-вот — и придем, и поэтому не делали привал. С тяжелыми рюкзаками три часа на ногах — это был



Под Древом Бодхи



Китайский монах на фоне коровьих лепешек

поистине «подвиг веры» в появление ступы из-за каждого поворота. Наконец наша вера была вознаграждена. Потные и злые, мы грохнулись на колени в маленьком храме у подножия ступы, и Учитель строго отчитал нас за недостаточную глубину практики.

Он сказал, что в деревнях, через которые мы проходили, люди, порой совершенно неграмотные, хранят редкую культуру, привитую им 2500 лет назад настоящей странствующей буддийской общиной — Сангхой, какой почти не осталось в наши дни. Хотя такой Сангхи почти нет, эти села, не затронутые еще цивилизацией, из поколения в поколение передавали благодарную память об истинной общине, несшей Дхарму, и поэтому нас так почтительно встречали и взрослые, и дети.

25 ноября 1998 г., среда

Отдыхаем в Вайшали. Продолжу воспоминания о последних пяти днях пути.

В деревнях нас встречали толпы ребятишек. Так приятно смотреть им в лица. Здесь я отдыхаю от московской защитной реакции, когда не смотришь людям в глаза, чтобы не увидеть в них агрессию. Тут я как дома, это словно мои братья и сестры, мои сыночки и дочки. Господи, как же хорошо в индийской глуши!

Сэнсэй часто заканчивает свои проповеди тем, что учит детей произносить «Наму-Ме-Хо-Рэн-Гэ-Ке». У них не сразу получается делать это слаженно, громко, хором. Некоторые детишки презабавно давятся смешинкой, прикрывая рот ручонками. А потом вдруг все разом как гаркнут «На!», потом «Му!», «Ме!» и так далее.

Вспомнил, как ты называла Женечку буддочкой, когда он был совсем маленьким, и записывала в ма-

люсенскую, с детскую ладошку, тетрадку все его необычные слова, и называла ее «сутрой»...

Один из трех тхеравадинских монахов, идущих с нами, делает всем массаж, да такой сильный, что аж кости трещат. Особенно налегает на ноги — мы же идем пешком. В деревнях Сэнсэю почти на каждом привале массируют ноги местные пацаны, сразу вдвоем или троим.

Электричества почти нигде нет. Долгую темноту после раннего заката освещают керосинкой. Она негромко шипит, и запах ее отпугивает комаров.

В очередной раз принимая душ под колонкой на улице под сотней взглядов, поймал себя на мысли, что, поскольку я, намыливаясь, не снимаю трусов, получается, я и моюсь, и стираюсь одновременно. Жара здесь такая, что можно мыться вообще в одежде — высыхает мгновенно. А еще подумалось: возможно, индусы воспринимают не только наше купание, но и вообще все, что мы делаем, как некий специально устраиваемый спектакль, а нас — как бродячий цирк. В конце концов, почему бы и нет! Каждым шагом и каждым жестом своего шествия мы действительно доносим до них Учение Будды. Недаром в «Махапаринирвана-сутре» сказано: когда Будда решил искупаться, посмотреть на это собрались все звери и птицы, не говоря о людях. Они сделали это не из пустого любопытства — просто абсолютно любое действие Учителя они воспринимали как проповедь Дхармы, которую ученик не может пропускать.

Что же до трусов, они здесь не надеваются, а завязываются, как и вся остальная индийская одежда. Она не похожа на привычные нам мешки маек и брюк. Ты не влезаешь в них, а даешь им обнять тебя, сплестись на тебе.

Сегодня утром, прогуливаясь по садику возле ступы, захотелось практиковать хождение, как учит вьетнамский монах Тит Ньет Хань, медленно делать каждый шаг, стараясь наиболее полно ощутить и осознать его. В Бодхгае я видел монаха, занимавшегося этой практикой. Меня поразила тогда его необыкновенная медлительность, но потом вспомнились уроки Тит Ньет Ханя, о которых я только читал, и пришла радость, что могу видеть их воочию. На один шаг у того монаха уходило не меньше минуты. Попробовав сделать, как он, я ощутил потребность снять обувь — так каждый шаг действительно чувствуешь во всем его своеобразии, ощущаешь каждую неровность под босой ногой, каждое изменение температуры. Ты не просто видишь тень, а стопами щупаешь ее прохладу, иногда сырость.

Тхеравадинские монахи, которых индусы называют «банте-джи», а Илья — «бантиками», упорно ходят только босиком. Они уже поранили себе ноги,



забинтовали и продолжают ходить так, пачкая себе бинты. Обет у них, что ли, такой... Хотя нет, ведь тот банте-джи, которого ударило током, был в кроссовках и перестал их надевать, видимо посчитав причиной того происшествия.

Мы шли из Патны в Вайшали как раз между двумя речушками, которые, сливаясь, образуют Ганг. Одну ночь мы ночевали в деревне, где из светло-серой глины, добываемой из берега речушки, вручную изготавливают кирпичи. Я видел, как рабочий формочкой с буквами МАА зачерпывает глиняную смесь и шлепает уже готовый кирпич рядом с сотнями таких же. Кирпичи высушиваются на солнце, а потом обжигаются в печах, после чего становятся красными. В изготовлении глиняной смеси участвуют две коровы, привязанные к коловороту, они ходят по кругу, подгоняемые вторым рабочим. Вот и все производство.

Земля в междуречье ровная, деревца — только изредка. На ум пришли строки Осипа Мандельштама: «О, этот медленный одышливый простор — я им пресыщен до отказа! И отдышавшийся распахнут кругозор — повязку бы на оба глаза!» После деревни с кирпичами мы километров семь шли по чистому полю без единого домика — редкость для Индии. Наконец мы вошли в село с необычно заторможенными обитателями. Даже дети не сразу решились подойти, чтобы поклониться нашему походному алтарю с шарирой (мощами) Будды, который мы поочередно несем вдвоем на плечах, на носилках, а на привалах ставим на землю. Тэрасава-сэнсэй долго уговаривал детей, и наконец они робко стали подходить к алтарю. А потом нам приготовили необыкновенную сладкую рисовую кашу на молоке. Мы уж и не чаяли отведать такое лакомство, всем приелись рис и гороховый суп, составлявшие весь наш рацион на завтрак, обед и ужин. Разнообразие изредка вносила длинная, похожая на морковь белая редька «мули», ужасно щиплющая рот.

После сладкого ужина нас уложили спать в заброшенной школе, расположенной в стороне от села, посреди рисовых полей. Сквозь дырявую крышу ночью были видны звезды, а утром нас разбудили галдящие воробьи. Они настолько обнаглели, что летали прямо над головой и садились на рисовую



Проводы Солнца над долиной Раджагриха

солому, ставшую нашей постелью. Солома, кстати, тоже роскошь. Зачастую нам просто выделяли помещение с бетонным полом, прямо на котором и спишь, для мягкости распределив одежду между копчиком, лопатками, пятками и головой. Никто не простудился: в жаркой Индии бетон только на пользу осанке.

В одной деревне серьезным испытанием для всех стал котенок, оравший всю ночь. Толя наконец вскопчил, чтобы придушить его, но, слава богу, не нашел...

26 ноября 1998 г., четверг

Сразу после утренней церемонии и короткого завтрака чаем с лепешками и неочищенным тростниковым сахаром, похожим на помадку, вышли из Вайшали. К нам присоединились два местных ученых-«пандита», один из них и нашел шариру Будды в раскопанном археологами основании древнейшей ступы, передал ее в музей Патны, а мы недавно ее сопровождали в Бодхгаю на голубом автобусе. Пандиты вели нас весь день извилистым путем в направлении Кушинагара через абсолютно все места, связанные с пребыванием Будды в Вайшали. Воистину неутомимые старички!

Мы уже в пятнадцати километрах от Вайшали. Нас здесь ждали, приготовили постели и еду, угостили пальмовым вином. Все это организовали пандиты.

Продолжение следует.



Здравствуйте, уважаемая редакция!

О себе: 24 года, студентка исторического факультета Тверского государственного университета. Сотрудничаю с литературно-художественным журналом «Дарьял» (Северная Осетия). Помимо поэзии занимаюсь переводом (английский, итальянский), пишу прозу.

Публикации для меня — возможность найти того, кто сможет услышать мое слово. Поэт пишет для читателя, для славы — только графоман. Только есть ли этот читатель?

С уважением, Ольга Никифорова

* * *

Правдива только боль,
а жизнь — ее оттенки.
И сердце бьется,
как Магдалина, у креста
мертвеющего тела.
Час одиночества — час смерти,
где ни живых, ни мертвых —
только Бог.
И только бесконечность веры —
бесконечность.
И вестники у входа...

* * *

Я только мрак во мраке
и неуклонно лечу
в черную яму
слепого пространства,
сохраняя в себе Твой свет,
как искру бытия
на пепелище смерти.

* * *

О, земля голоса Христова —
пространство крика со Креста!
Masmera min haselub¹ —
в глубоком сердце.
Жизнь Имени стучит, как кровь, в висках
на трудном переходе.
С Твоих высот я узнаю себя
в той долгой пропасти вокруг Голгофы.
В пространстве мира —
masmera min haselub —
насквозь,
как благодатный дождь.

¹ Masmera min haselub — длинные гвозди креста (иврит).

Длинные гвозди Креста —
в пространстве крика:
— Lama sabahtani!..
В пространстве одиночества Твой Крест.
И страшно узнавать...

* * *

Неутоляющее время исчезает
в трещинах беспамятства земли.
Богатое зерно смерть сеет,
и карты городов обломками начерчены.
Но сквозь Хаос
пробивается свет веры,
как рассветный луч
нового Иерусалима.

* * *

Время шумит
в мертвой раковине мира,
как эхо множества
одиночеств.

* * *

Земную разрывая грудь,
Тишайшей высоты вдохнуть
В пространстве пристально-знакомом...
А мир сей — мост, а мир сей — путь:
Иди, не строя себе дома.

Бездомен на земле любой,
В сгущающейся мгле слепой.
А путь один, и ты — один,
Как Он, принявший эту боль
От холода людских пустынь.



Елена ХАНТЕР

Елена Хантер родилась на Крайнем Севере, где родители-геологи искали нефть, а нашли ее. Карьере фотомодели предпочла заманчивую учебу в политехническом институте, который без успеха окончила в 1975 году. Затем с упоением трудилась на заводах, НИИ, обрела уверенность в себе, работая в СМИ. Замужем, воспитывает собачку. Живет на две страны — США и Россию (Самара).

БЕЗ ПОШЛОСТИ? или 14-8

Киноповесть

*Когда наш нрав не искушен и юн —
Застенчивость наш лучший опекун.*

В. Шекспир

Сто часов счастья... Разве этого мало?

В. Тушнова

США

— What are you doing my little Princess? — слышу я за спиной. Подкрашенные усы мужа щекочут мне шею, а его глазки-буравчики исследуют экран моего компьютера.

— Ищу прошлогодний снег, — пытаюсь прикрыть сайт одноклассников, отвечаю я.

— I love you, — слышу я уже за закрытой дверью.

— Me too, — вторю ему.

Да, да, love, love. Особенно сейчас, когда у меня в России — две квартиры, сравнимые по стоимости с неплохим домом с бассейном здесь, в Оклахома-Сити, Охламоновке, и когда надо оплачивать наш американский кредит.

Ну щедрый, красивый, талантливый, сильный, но скользкий, как угорь, не удержишь. Пока еще любит, но как-то я сомневаюсь в долгосрочности этой любви, чувствуется

какая-то фальшь, в пушку рыльце от своих подружек, престарелых гризеток. И в бублик меня скрутил своей властью, хотя «босси» называет командиршей.

Опять залезла на «Одноклассники». Тридцать пять «лет замираний и криков, все мои бессонные ночи»... Леша, Леня, Леонид, Пыжик, Дударских, 1952 г. р. Вот и открывается его сайт. Мои руки дрожат, пальцы прыгают по клавиатуре. Что с ними? Что со мной? Чужой дядька с раздутыми щеками самодовольно смотрит на меня с экрана. Пузранчик. Не он!!! Он??? Нет!!! Имя и фамилия довольно редкие. Курск. Да. Елы-палы! Время вылепило из Давида Микеланджело Михаила Евдокимова в последние годы. Да и я, собственно, уже не девушка Джеймса Бонда, правда, с ее еще талией: детей-то своих не было, только племянниц воспитывала. Ну

неужели он? Все-таки? С интуицией у меня всегда тяжело. Не поверила б ни в жизнь при личной встрече, даже с паспортом. Я долго вглядываюсь в монитор, затем правой рукой мышью выключаю компьютер, закрываю глаза.

1974

Открываю глаза и вижу себя в студенческой аудитории 1974 года, в левой руке — логарифмическая линейка. Люда Гречникова с арифмометром склонилась ко мне:

— Ленка, Дралинский рисует твой профиль.

— Да вижу, вижу.

Преподаватель:

— Подшипники качения работают на трение качения с небольшими потерями на трение между телами качения и сепаратором.

Тетрадками прикрыт па-
сьянс. С умным видом, как буд-
то я вся в науке (для Люды), во-
прошаю:

— Нуждаются ли подшипники
качения закрытого типа в частом
обслуживании?

— Нет, практически не нуждаются,
а вот открытого типа — очень
чувствительные до попадания ино-
родных тел, что часто приводит к по-
ломке подшипника, — с радостью
кидается объяснять доцент Филин,
пытаясь снять скукотень с наших
зевотных лиц. — И, пожалуйста, мне
список распределения студентов для
производственной практики по горо-
дам для деканата. (К Люде.) Вы куда?

Люда:

— В Брянск.

Преподаватель (ко мне):

— А вы?

— Я тоже в Брянск... Сити... побли-
же к цивилизации.

Преподаватель:

— Кто же в Куйбышеве останется?
Есть желающие? (Все уткнули голо-
вы в тетради.) Так, понятно, подаль-
ше от дома. Ну, готовьтесь к реаль-
ной жизни. Вы почти инженеры.

(Звонок на перемену.)

Перемена

Следующий семинар по научному
коммунизму — НК. Этот пред-
мет мне вообще никак не давался:
памяти у меня ноль, логики там еще
меньше, лектор тот еще Дерьмоген.
Достаю учебник по НК и заяв-
ляю в сторону одногруппниц:

— Ну не могу читать эту мурню.
Знаете, какая моя любимая пес-
ня? Я с ней ночью ложусь и утром
просыпаюсь. (Пою пафосно.) «Ле-
нин в тебе и во мне...»

Кто-то прыскает, кто-то делает не-
доброжелательное лицо. Наш остряк
Миша Тренбич подхватывает:

— А моя вот, не помню название,
но слова такие: «Сняла решитель-
но, а он не попросил...»

Ребята засмеялись, девочки пыта-
ются скрыть улыбки. Люда поворачи-
вается ко мне:

— Ты знаешь, тебя *все* девчонки
ненавидят.

Я остоленбелела:

— Ну, спасибо за информацию...

Все девушки в нашей группе были
приезжие отличницы из районов,
пригородов, не куйбышевские.
Механический-то факультет нико-
гда не котировался. А большинство
ребят было из интеллигентных
семей (руководящих работников,
инженеров, врачей...), и учились
они хуже девчачьей половины, не-
много выдавая себя за гусаров... Да.
Это правда, я потом только поняла,
что в юности мои сверстницы не
любили меня за то, что я языка-
стая, худая и самая высокая, ну
гадкий утенок, в зрелом возрасте —
что я все еще худая и моднуче вы-
сокая. Но язык малость прикусила,
больше приходится проглатывать.
Так и порхаю по жизни белой воро-
ной, скорее, щипаной кряквой.

Сквер

После занятий мы с Людой пошли
прогуляться в сквер. Был хороший
солнечный денек накануне празд-
ника Победы. Мы сели на скамейку
около детской песочницы и подста-
вили свои лица солнцу, пытаюсь пой-
мать загар и веснушки, которые, как
мы считали, нам идут и нас молодят.

Люда:

— В Брянск поедет через Москву.
Там в «Лейпциге» прикупим по-
маду. Пананченко ездила на про-
шлой неделе, четыре часа простоя-
ла в очереди, урвала перламутровую
помаду и босоножки на платформе.
Правда, на два размера больше. Это
при ее росте! Буратино! А ты почему
губы не красишь?

— Мне не идет.

— Как это не идет?! Помада всем
идет!

— У меня пухлые губы. Не модные.
Вот тонкие губы говорят о тонком
вкусе...

— ...а пухлые — о доброте!

— Кому нужна твоя доброта?!

— Это правда, только для пенсио-
неров.

— Мой брат говорит, что добрые —
обычно некрасивые девочки. Кстати,
он очень долго один рассматривал
твою фотографию в своей комнате.

Мальчик лет шести подхо-
дит к нам:

— А вы в каком классе учитесь?

— В 14-м.

— Такого нет!

— Ну тогда мы задержались со сво-
им обучением, не отличницы.

— Помогите мне вон ту стрекозку
поймать.

— Мы поймаем. А ты ей крылья
оторвешь. Да?

— Да.

— Ей будет больно. Давай мы тебе
самолетик лучше сделаем.

Люда вырывает лист из общей те-
тради. У нас это быстро получается.

— Смотри, истребитель.

Запускает бумажный самолет.

— Спасибо. А вы придете сюда еще?
Приходите!

Мы переглядываемся. Далеко
пойдет!

— Нет, мы скоро уезжаем на два
месяца.

— Жалко. Ну, до свидания.

— До свидания, маленький Принц.

Дома

Распахиваю дверь в свою кварти-
ру. Ключа не надо — у нас всегда
открыто и глазок отсутствует. Все
как-то стыдно его врезать. Позво-
нил человек, а за дверь решают,
пускать его или нет. В нос ударяет
запах тушеной квашеной капусты.
Как я его не люблю! Почему-то это
было любимое блюдо отца, и он
часто просил маму готовить ему
этот голливудский десерт. Синеватый
смог от его сигарет привычно
окутывает всех входящих. Может,
поэтому у нас никогда не было
тараканов, у соседей они прыгали
прямо с люстры. Но я люблю свой
дом. До сих пор. У нас была масса
интересных книг, хорошая посуда.
Отец из экспедиции привез олени
рога, и они украшали прихожую. По-
купались и дарились экзотические
сувениры — клык белого медведя,



голова крокодила, океанские раковины, панцирь гигантской черепахи.

Слышу мамины жалобы своей подруге в телефонную трубку:

— Лена совсем худющая. Кормлю-кормлю ее, а она все равно 58 кг при своих 174 см. Ну где найти для такой жениха?

Я (поддерживаю тему):

— А мужа надо было нормально-го выбирать. Карлика. Вот у Норы Станиславовны супруг красавчик, так и дети ленинские стипендиаты.

— Лена, не дерзи.

— А я и не держу... марку... модели...

Из своей комнаты выглядывает старший брат (выше меня всего на 3 см), деланно приседая, смотрит на меня снизу вверх:

— Тетя Достань Воробушка, куда едешь?

— В Брянск-Сити. Поближе к границе. Цивилизация!

— Какая цивилизация! Вши одни!

Захожу в кабинет отца. Он прикуривает из огромной янтарной трубки и пускает колечки дыма. На письменном столе — круто заваренный чай в стакане с серебряным подстаканником. Какой-то бывший ээк на Севере научил его чифирить.

Отец (строго):

— Почему не в Куйбышеве остаешься?

Я:

— Не было ни одного места! Всех в кандалы — и по российским заводешкам, в глубинку. Подъемные уже получила — восемьдесят рублей.

Отец:

— Ладно, езжай. Вот тебе еще восемьдесят рублей. Понюхаешь жизнь. Тебе это полезно. Ты у нас ничего не боишься.

Ура! Я забогатела! Пол-Москвы можно скупить! Мы заработаем еще и на заводе!

Дорога

До Москвы долетели на самолете. В моем билете ошиблись на одну букву — вместо «г» записали «з», и, к всеобщей радости, я получилась Пузачевой. Отныне и до сих пор эта

компашка кличет меня так. Ну, я в долгу не осталась, потерпела-потерпела — и навешала на всех достойные прозвища. Так они за всеми и закрепились, но об этом попозже.

Сначала поутру отстояли очередь в Столешниковом переулке за платформой, потом пельменная с сырыми пельменями. В ГУМе Люда приобрела болоньевый плащик. Немодно, конечно, но фасон был что надо — короткая, парящая разлетайка. Гречникова была в ней как гриб-дождевик розового цвета. Мужчины оборачивались и без дождевика — лицо Гуттиэре даже красивей при макияже. Без грима — чистый лист. Несмотря на кривоватые ноги, отсутствие шеи и талии, многие считали ее первой красавицей на нашем курсе.

Еще с нами поехала Света Агеева. Она всем рассказывала, что один раз ее как-то в трамвае перепутали с Мариной Влади. Оч-ч-чень фигуристая! Правда, моя мама перепутала ее с Фросей Бурлаковой из комедии «Приходите завтра». Но было определенное сходство с этими типажками. Из других групп к нам примкнули Раечка с джокондовским носиком, широкоскулая татарочка Сайда, скорее похожая на индианку, и Лида, секс-бомбочка с рыбьим взглядом.

В этот день мы успели заполнить в Третьяковку, полюбоваться тюльпанами в Александровском саду, а к вечеру уже сидели в поезде, несущем нас в маленький Париж тире Брянск. В плацкартном вагоне с нами ехала большая компания, возвращавшаяся со свадьбы. Мужички храпели, и это напоминало ночные джунгли с тигринными рыками. Попеременно они падали с верхних полок, как созревшие кокосы. Но никто, к счастью, ничего себе не поломал. Юная проводница, не моргнув, выдала нам серые катанки — постельное белье многоцветного пользования без стирки. Наевшись яиц, сваренных вкрутую, и хлеба, мы уселись мечтать в предвкушении приключений.

Я:

— По окончании практики из Брянска до Куйбышева поедем через Прибалтику поглазеть цивилизацию. Вильнюс, Рига, Таллин. Ночь в поезде, день — по городу с экскурсиями. Мы со Светой (держу в правой руке вилку и перекладываю ее в левую) целый год тренировались с ножом и вилкой. Там такие высокие прибалты! Два года назад я с одноклассницей Ольгой останавливалась у ее тети. Ее братья-кузены — Олев и Эоген. Я даже не поняла, кто мне больше нравится. Старший — спокойный, рассудительный. Младший — ироничный и, как шмель, кружит, кружит, закидывает шуточками. И кому я больше понравилась — тоже не поняла.

Люда:

— А я жду своего Андрюшу, Ломтика.

Света:

— Почему «ломтика»?

Люда:

— Да он ростом 192 см, у него башмаки 47-го размера. Ломать такой! А ласково — Ломтик.

Я (уточняю):

— Андре Де ля Моть. Мусье. Мусьен.

Люда:

— Как он там без меня, бедный, на сборах в Семипалатинске?

Я:

— По танцам ходит твой Кюхельбекер. Ребра пересчитывает у сибирячек. А ты, Раечка, о ком задумалась?

Рая:

— Мне б Витю Дралинского охмурить! Симпатичен очень. И, кажется, положил на меня глаз...

Люда:

— ...а другой в стакан с водой. Смотри, Драля — атас! Что надо. Но выпить не дурак. В ЛТП¹ может загреметь в будущем.

Света:

— А за мной одни стариканы ухаживают. Мельников, препода-

¹ ЛТП — лечебно-трудоустройственной профилакторий.

ватель с электротехники, тридцать лет, приходил домой, чинил выключатель.

Я:

— Разведенный?

Света:

— Да...

Я:

— Не надо. В Брянске полно потомков аристократов. Я точно знаю!

Сайда подает голос с верхней боковой полки:

— Вы угомонитесь? А? Завтра ранехонько вставать — и сразу на завод.

Света (расстроено):

— Погрезить не дают!

Брянск

Сонные, с чемоданами и авоськами, мы спускаемся с подножки поезда на платформу. Брянск — никак не европейский город, и без всяких намеков на тысячелетнюю историю. А он старше Москвы! Где-то блеет коза. У вагонов старушка предлагает живого петуха. Девочка продает на газете вареную картошку, политую постным маслом. Вразвалку, не торопясь, нехуденькая тетенька несет две сетки пустых молочных бутылок на обмен.

Люда:

— Сразу видно, где-то совсем рядом граница с парижской областью.

Я:

— На метро, конечно, кататься не будем. Зато места аэробные, как на Елисейских лугах! Spaciousness! Именно здесь и осела настоящая русская интеллигенция!

Рядом с вокзалом, напротив, — большая гостиница. Но нам не туда. Мы будем жить в общежитии, что недалеко от завода. Я, Света, Люда, Раечка — в одной комнате на пятом этаже, Сайда с Лидой — на втором.

Завод

И вот мы на машиностроительном заводе. Нашу группу причесанных и нафуфыренных ведут в цех на освоение рабочих мест.

— Девчонки — забодай комар прибили, — радостно сообщает токарь, подмигивая другу.

— При маникюрах! Думают, на панинах придется наигрывать, — вытирая ветошью промасленные руки, отвечает второй.

К счастью, мы вдвоем — я, Люда, Света — попали не к станкам, как остальные, а в инструментальную кладовку выдавать инструмент рабочим (на одно рабочее место, сменяя друг друга, в три смены.) Облачившись в черные халаты и синие косынки, мы выглядим уже не так загадочно. Ноги разъезжаются на полу от машинного масла. Синюшная гарь проникает в нос, пропитывает одежду и волосы, оседает на коже. Работающим женщинам здесь не до маникюра. Их руки заскорузлы от эмульсии, под серыми ногтями полосы вечного черного траура. Ночью, а иногда и днем, по территории завода пробегают тощенькие крысы.

Ночная смена

Ненавистная. Первый раз в жизни я работала ночью, и произошел сбой организма — началась бессонница, которая продолжалась три недели. Грелкину тоже выматывала ночная, и у нее начались глюки. Однажды она в полудреме привстала с кровати и с закрытыми глазами произнесла: «Мам, смотри, три кошки сидят и курят... Ну, ладно. Я пошел к Битлам». После опять рухнула в постель и засопела.

В окно кладовки заглядывает рабочий:

— Девушка, мне фрезу, твердо-сплавную, диаметром 200 мм.

Ташу в рукавицах, а она тяжелая.

— А что вы делаете в обед, то есть в перерыв?

— Ем.

— А партия в домино? Слабо?

— Почему ж? Отнюдь.

Стою в очереди в столовке. Какое-то непонятное оживление. Народ перемигивается, что-то необычное. Не пойму, в чем дело. Слышу — окрошка, окрошка, окрошка. На свекольной заправке. Понятно. В городе везде пустые прилавки, полки. Можно купить только молока,

подсолнечного масла, хлеба, лапши, соли, горчицы, сахара, пряников по праздникам, сметаны. И все. Вот из этой комбинации надо приготовить что-то, да еще с изыском.

За мной, близко, встает рыхловатый дядя со студенистой зелено-голубой кожей. Мне становится жутко, и я отшатываюсь в сторону. Дядя заглядывает в глаза, мило улыбаясь. Схватив поднос, я быстро ставлю тарелки, повернувшись от живого трупа на девяносто градусов.

Похлебав немудреной трапезы, я бреду к месту отдыха. За столом, покрытым коричневым линолеумом и подбитым металлической лентой, меня уже ждут два варлагана в татуировках и маленький мужикашка с беломориной во рту, не достающий ногами до пола со своей скамьи.

— Садись, бедовая. Набуздыкалась окрошки в рыгаловке? (Киваю головой.) Ну, погнажи пчел в Одессу, — заявляет Филиппок, перемешивая костяшки по часовой стрелке. (К коллегам.) Игнатича со сборочного помните? Шустрый такой, все клизмой из рукава спирт отсасывал у лаборанток. Сгорел на работе. От этилового. Яким Кондратьич! Вчера схоронили. Поминки, скажу вам, были ве-ли-ко-леп-ные!

— Но нас там не было, — удрученно отвечает партнер, почесывая левое ухо через голову правой рукой.

— Сейчас в очереди я видела синезеленого свежееоткопанного мертвеца. Б-р-р-р! — делюсь я эмоциями.

— А-а-а. Максютя с гальваники. Полгода пил на участке техническое серебро для оздоровления, и его пигмент, Яким Кондратьич, стал как у сома из-под коряги, — выдает информацию для меня мой новый приятель.

— Рыба! — восклицаю я, как будто сдала зачет по сопромату. — Слава богу, не сом!

Лихо у меня получается — я постоянно выигрываю и завоевываю авторитет. В следующий раз мои коллеги уже вдвоем спешили пригласить



меня на партию «козла», и около нас всегда собиралась болеющая публика.

— Вон та, долговязая, практикантка из Куйбышева, играет в домино, как Шифер в шахматы, — однажды я услышала за своей спиной уважительный комплимент наладчика, поигрывающего гаечным ключом.

— Футы-муты, ручки гнуты. Интегралы каждый день вычерчивает. А тут единственная извилина рассасывается от принятия, — поясняет ситуацию другой пролетарий.

Никого нет, я одна сижу в кладовке и почитываю местную заводскую прессу. Заглядывает очередной ухажер и незаметно поджигает газету в моих руках. Это знак внимания! Я подпрыгиваю и вскрикиваю:

— Паря, ты чего? Яким Кондра-тьич! В ряды ку-клукс-клана вступил? Мне это не нравится.

Хохотнув, он вприпрыжку удаляется, довольный собой.

Вбегает разъяренный пожилой мастер и окидывает кладовку недо-брым взглядом:

— Ну, где этот козлотур? (Я пожимаю плечами.) Квартальный план горит, а он все по девкам скачет. Вот поймаю, отвинчу ему седалищный нерв к едрене-матрене под наволочку. Не зарадуетсЯ сводкам погоды. (Убегает, в сердцах роняя урну с окурками.)

Как хочется спать! Все труднее и труднее стоять. Время ползет очень медленно. Еще четыре часа ночи или утра. На борьбу со сном я бросаю свой интеллект. На стене висят графики работы, выходов, дежурств, лозунги, указывающие на светлый путь и верную дорогу куда-то. Я их разрисовываю, подписываю вымышленные статусы. Хорошую принарядную взбучку получу я поутру за свои художества от начальницы кладовки, старой гримзы лет тридцати семи.

Иду разыскивать нашу Раечку. Она в штамповочном цехе ваяет детали на огромном прессе. Под косынкой спрятаны ее золотистые

волосы. И правильно — здесь самый высокий процент травматизма, можно и без скальпа остаться. Люди, проработавшие на станках даже по десять-двадцать лет, отштамповывают себе пальцы, кисти. После работы в штамповке обычно часа на два глоснешь от шума. Приходится кричать в самое ухо:

— Как служится?

Ответ в самое ухо:

— Дали блатное задание — за тысячу заглушек семьдесят копеек.

— Не шишли-мыжли!

— Вчера по двенадцать копеек за тысячу шайбочек вкалывала!

— А мыжли-шишли! Идем в Булонский вечером?

— А как же!

Брянский парк

Парк в Брянске — это как Булонский лес для Парижа. Конечно, обязательные качели, тир, пересохший фонтан с лягушками, забеленные скульптуры пионеров, Ленина, партизан, оленей. Вечером прогуливается одна молодежь. Парочек мало, в основном ходят небольшими стайками. Все серо и буднично. Мы в клешах вносим какое-то разнообразие. Вот, однако, появились две местные девушки в самодельных цилиндрах, красном и черном. Тут же к ним подошли знакомиться два высоких молодых человека. Мимо нас проплывают, держась под руки самоваром, три грации — Ткачиха, Повариха и Бабариха, кидая нам через плечо:

— Манекенщицы из Софилореновки.

Рая (нам, прикрывая рот ладошкой):

— Осиротело Кайфловлино без этих комбайнерш!

Мы сворачиваем на другую аллею, и сразу же перед моим носом стреляет новогодняя хлопушка. Я, побледневшая и пошатнувшаяся, стряхиваю конфетти с одежды, волос, выковыриваю из глаз. Это заводской поджигатель газет решил продемонстрировать мне свое расположение.

Люда (Рае):

— Одни потомки аристократов!

Нас догоняет Света:

— Только что один паренек из Курска, тоже практикант на нашем заводе, Володя, угостил меня домашним пирожком с луком.

Я:

— Ну, не советую особенно налегать. Может произойти отрывка в благоуродном обществе Вольдемара.

Света:

— Сайда знает всю их группу ребят по волейболу. Может, организует знакомство.

Я:

— Мы-то тут причем?

Света:

— Компания!

Мы с Людой переглянулись.

Не в наших правилах было навязываться. Мы барышни романтические — чтоб *лицары* с орхидеями на белых скакунах промчались мимо балкона нашего общежития. А мы, облаченные в жемчужно-сиреневые одеяния с конусообразными колпаками на голове (в наших руках обязательно лира), надменно приветствовали всадников.

Кефир

Скромно мы были одеты. А хотелось сразить нарядами. Журналов мод, приличной материи было не достать. Фасоны срисовывали, подглядывали друг у друга. К концу четвертого курса все девчонки поголовно мечтали приобрести французскую махровую тушь, польские духи «Быть может», плащи под кожу (зипун), платформу (обувка), лапшу (свитерок) и брюки клеш. За неимением в магазинах последнего мы сами настроили себе модняцкие костюмы. Экономии на материале — денег-то было в обрез, стипендия сорок рублей, ну кому родители иногда подбрасывали. У некоторых брюки получились коротковатыми. Наша Златовласка Раечка (Раиска-Переписка) тоже сэкономила на длине, и при ее моряцкой поход-

ке с развернутыми носами она выглядела весьма уморительно.

Удобно расположившись на кроватях в нашей комнате, мы ожидаем для игры в бридж Раечку. Люда, ненакрашенная, в своих сильных очках и в обрамлении бигуди, держит в одной руке веером карты, в другой — бутылку кефира. Она только что зажевала сайку за шесть копеек, отхлебнула кефирчика из горлышка. Раечки все нет, и я говорю:

— Что-то наш Чарли задерживается.

Гречкина прыснула от смеха, впервые услышав «Чарли», и все, что еще не успела проглотить — жеваную булку с кефиром, — выплеснула изо рта мне на лицо. Я выковыриваю мякиш из глаз, протираю полотенцем волосы от кефира, но все равно довольна, что развеселила подругу.

— Не ради компанства, а ради приятства. Спасибо, Люся.

Гречкина просила меня об этой истории никому не рассказывать. Тсс!

Секс-наклонности

(можно не читать)

Света имела волнующе-опьяняющие формы, и мы восторгались ей в открытую.

Разыскиваем руководителя практики на заводе в приемной директора. Входить не осмеливаемся. Света через приоткрытую дверь с очень серьезным лицом (у нее это хорошо получалось) спрашивает:

— Как найти Вороничева?

Она, кстати, ему очень нравилась. (Вороничеву как-то Бог послал кусочек секса.) В этот момент я за ней, близко прислонившись, тоже заглядываю в приемную и одновременно легко поглаживаю ее ниже талии. Просто так. Это было очень фризовольно для того времени, да и сейчас тоже! Агундяпина не смогла удержаться смеха и заржала в приемную. Попятившись, она захлопнула за собой дверь, так и не получив ответа. Вперемешку со смехом и негодованием она набросилась на меня:

— Что за сексуальные наклонности?!

Потом эту историю я прошу ее рассказать Гречниковой в общаговской столовке. От избытка чувств, перепутав фамилии и демонстрируя быстрое овладение одесским говором, Мухопоркина начинает:

— Некая Гречкина пруживляет сексуальные наклонности...

Люда:

— Что?

Света (опять заново начинает свой рассказ):

— Некая Гречкина пруживляет сексуальные наклонности...

Люда:

— Что?

Я не поправляю и давлуюсь от хохота.

Света (в третий раз):

— Некая Гречкина пруживляет сексуальные наклонности...

Гречкина (в нетерпении и злости):

— Что-о-о?

Наконец до Светки дошло, что она переврала мою фамилию, и она начинает извиняться:

— Прости, Людок. Пузомойкина всех с толку собьет. Это она, ма-нячка плейбоевская, читалась журнала «Голос Америки» со своим папашей-диссидентом. Не то что мы, порядочные девушки, выкройки из «Работницы» срисовывающие.

Я:

— Пузомойкина — святая перед семьей и Отечеством! Старушкам помогаю улицу на красный свет перейти.

Света (Люде):

— Давай, ешь, Людок, котлетки с кашей гречниковой, то есть нет, с гришей гречиной. Ой! Что это со мной опять? Прозомбирова-на я сегодня — или это огурцы я попринимала с сырым молочком?

Мастер

Мы идем набирать материал для курсового вдоль цеха. У нас уже появились знакомые, коллеги, напарники. С Гречиной уважительно заговаривает молодой симпатичный

мастер лет двадцати шести — двадцати семи. Люда корректно ведет беседу, все время кивает головой. Видно, что она нравится этому кудряшу, и это ей льстит. Закончив разговор и отойдя от него, она сообщает мне, что он студент вечернего техникума.

Я:

— Нам не нужны такие. Только с институтом или с кандидатской!

Люда набрасывается на меня:

— Да что ты из себя представляешь? Он хороший парень, и этого достаточно!

— Сама-то кружишь лейтенанта, генеральского сынка из Москвы. Не хухры-мухры!

— У меня зарождается любовь к нему! Я больше ни о ком не думаю.

— Да-а-а, мухры-хухры... И под серой спецовкой кладовщицы бьет-ся и дребезжит благуродное и страстное сердце... матери-одиночки.

Мои ноги разъезжаются на скользком полу, и я опрокидываюсь на спину.

Люда (через плечо):

— Халява, ты где?

Я:

— Обратилась к низам. В поиске истины.

Она права. Но поучать она любила всегда, дерзко ставила всех на место.

Подиум

В какой-то субботний вечер от нечего делать мы взяли у комендантши проигрыватель, завели музыку и начали шейковать и твистовать. Потом стали примерять платья. Света привезла целый чемодан с гардеробом и бижутерией.

Я:

— Притравилась ведь Монро, увидав твое добро!

Эх! А мы и не продумали свое турне, взяли только необходимое. На мне все ее платья выглядели нелепо: Света была значительно ниже и шире меня. Но позировала я с удовольствием, расшагивала меж кроватей, как по подиуму. Агундяпиной нравилось меня называть



«Твигги», Тростинкой, известной своей худобой английской моделью.

Грелкина случайно взглянула в окно и завизжала — из всех окон пятиэтажного мужского общежития, что было напротив, выглядывали его обитатели. Кто-то разглядывал нас в бинокль, кто-то приветственно махал нам руками, приглашая к себе. Мы быстро задернули шторы.

— С Азербайджана они, что ли, понаехали?

Курские

В следующее воскресенье вся страна планировала идти на выборы. Подключили к этому празднику и общежитие. Сайда решила отметить грядущий хolidей вечеринкой с курскими ребятами. Она давно с ними пересекалась и даже знала их по именам. У Светы наметился ухажер среди курских, она постоянно о нем говорила, и ей хотелось подружиться с пареньком поближе, а проявлять инициативу самой было как-то неловко.

Мы с Людой ни за что не хотели идти знакомиться. Как это так? К незнакомым ребятам? В мужское общежитие? Самим навязываться?

Куряне сами зашли как-то в кладовку. На разведку. По-видимому, они тоже побаивались гастролерш из Куйбышева. Люда была как раз при косметике. Ее длинные беледые ресницы были яро подкручены вилкой и покрашены в несколько слоев ленинградской тушью. Волшебные губы обманчиво зазывны, золотисто-розовые кудри обрамляли безупречное личико. Не зря она проспала всю ночь на железных бигуди! Светин Вольдемар остолбенел, двое других, а это были Альтман и Николай, как-то приосанились. Ребята засуетились. Видно, что они остались довольны увиденным. На прощание Вольдемар подарил Свете и Люде два зеленых яблока.

Нос

Потом в нашей комнате у нас со Светой происходит такой разговор.

Света (попивая сметану из молочной бутылки):

— Приходили курские в пересменку в кладовку. Уставились на Людку. Она зенки накрасила нахально. Что в ней красивого? Ну разве что только нос?

Я (грызу морковку):

— Да, в женщине главное — нос... и прическа. Если у тебя шнобель, никакие глаза, ноги не помогут. Тем более душа. Кому она нужна, душевность твоя? Мужчины думают, что глаза — главное. Но подкorkа срывает на нос, его размеры и форму. Конечно, бывают исключения. А вот как ты думаешь, что такое шарм?

Света:

— Обаяние, манкость.

Я:

— Мне думается, это в первую очередь спокойствие. Вот у детей нет шарма, а у какой-нибудь старой бабушки есть. В канве шарма — несуетливость, мягкая уверенность в себе. Я смотрю на наших мам, учительницу по математике, соседку — милые, спокойные женщины, умные, не очень, но их любят все. А мы какие-то дерганые. Мне мама говорит: а ты выдавливай из себя раба. Сначала зажали в клещи — то нельзя, это нельзя, а потом выдавливай всю жизнь и становишься патрицием.

Света:

— Но у стerv успешная жизнь, в первую очередь они пристраиваются.

Я:

— Да, и жизнь у них стervозная, не позавидуешь.

Света (не может успокоиться):

— Людка всем рассказывает, что она из Одессы, у папы «Волга».

Я:

— Правда? Я знаю, у нее батя под Крыжополем шахтером вкалывает. Может, гегемону и дают «Волги». Мне помнится, она ездила в детстве в Одессу к тетке двоюродной.

У Светы на лице усы от сметаны. Хвостик от моркови я приставляю себе под нос.

Я:

— Почему я ранше нэ видэл такой красивый, спэлый дэвушка? Нани Бригвадзе нэ твой сэстра?

Света:

— Нэт, нэ мой. Я бэдный студэнк Сулико Самарашвили, в к'ладовкэ ынструмэнт выдаю.

Я:

— Так выдай мне под твой ынструмэнт душевный пэснь с карданбалэтом!

Света:

— О, я знаю одын такой важный и нэжный пэснь!

Света затягивает «Лышь толко вэчер утэплится сыный, лышь толко звезды прыжгут нэбэса, на чэремух завалится иней, жемчуга налампадит роса...», на плечи прикидывая, как шаль, штору с окна, пританцовывает. Я подхватываю песню. Гардина падает на нас.

Я (трогая себя по голове):

— Мэня сылно затронул этот гардын-балэт...

Волейбол

На заводской спортивной площадке идут тренировки по волейболу. Сайда с мячом в левой руке, правой незаметно придерживая на талии резинку черных трико, подходит к группе студентов из Курска. Она всю задружилась с ними и уже заочно распределила предстоящие партии. (Профессиональная сваха Роза Сябитова из передачи «Давай поженимся!» могла б пройти мастер-класс у нее — не просто так молодой муж отлупил ее, как сидорову козу!)

Сайда:

— Привет всем! Ну как все-таки по поводу грядущих демократических выборов? Могли б так же обсудить определяющий год пятилетки в милой обстановке ликования и единения блока коммунистов и беспартийных. У нас очень симпатичные девчоночки.

Валера Изжого:

— Кто такие?

Альтман:

— Юные леди из Куйбышева.

Сайда:

— Самарские мы. С Волги.

Ребята переглядываются.

Вольдемар:

— Да, очень ничего. Выше среднего.

Дима:

— Женщины — слабые, незащищенные существа, от которых невозможно спастись.

Юра:

— Можно и поприбавить. А то мы совсем тут одичали без магнитофона.

Сайда:

— Ну договорились. По два рубля с каждого. Значит так. Света будет с Вольдемаром, Люда с Юриком, Лена — Леша, остальные по интересам.

Леша:

— Никуда я не пойду. С какой стати я должен ухаживать за незнакомой барышней? Выбор всегда за мужчинами. Это мы охотники.

Сайда:

— Ничего, ничего. Все будет «аляулю». Как чашечка с блюдечком. Вы с Ленкой самые длинные здесь.

Юра:

— Интересно. А вдруг действительно какая-то экзотика, тайна под чадрой?

Леша:

— Шесть оленеводок из аула.

Дима (поправляет):

— ...из чума.

Павлик:

— Я вообще в женщинах не разбираюсь и отличаю их от мужчин только по их полу.

Валера:

— Главное, приготовили б хорошо. Давно оливье не едал...

Павлик:

— ...и салата из коры дуба и ягеля.

Николай:

— А что ты хочешь за два рубля?

Валера:

— Но будут еще и танцы... и на нашей территории...

Сайда:

— Ну, хорэ. Договорились. По коням.

Она убегает, постукивая мячом о землю.

Леша:

— Это приглашение или распоряжение?

Дима:

— Построение. На матриархат (кидает мяч Леше и попадает ему в голову)... с пожизненной контузией.

Вечеринка

Об этом разговоре Сайда поведала другой встречающейся стороне, то есть нам. Мы с Людой наотрез отказались идти и в последний момент встали в позу.

Люда:

— Гуляйте без нас!

Я:

— Дурь какая-то: плестись в мужскую общагу. Мы остаемся.

Остальные девочки погрузнели. Вечеринка оказалась на грани срыва. Тогда все та же Сайда, уже приготовив с Лидой праздничный стол у мальчиков, стала уговаривать их зайти за нами в общежитие.

— Наши отказываются идти. Пир под вопросом, — сообщила она сидящим за накрытым столом голодным курыкам.

— Да я для доброго друга последний кусок съем! Расправь паруса! В погоню, капитан Флинтус! — решительно встает Дима, на ходу прихватывая кружок огурца.

— Что это еще за принцессы, ожидающие осады в тереме? — нехотя поднимается Леша, откладывая на кровать гитару. Остальные ребята с напускной медлительностью устремляются к выходу.

Мы пофырчали-пофырчали и спустились вниз в вестибюль при всем параде, про себя решив исчезнуть через час по-английски.

На мне было платье из модной лоскутной материи (фасон из таллинского журнала «Силуэт»), конечно, туфли без каблуков; полудлинные волосы не просохли от бигуди и ложились на плечи сплошной массой. Раечкины же локоны вились до талии — царевна! Гречкина несла впереди свой бюст, подчеркнутый эффектной кокеткой, а Света об-

лачилась во что-то удивительное фиолетово-зеленое, набросила нитку черных бус из своей сокровищницы. На двух последних были новые, одинаковые желто-коралловые босоножки-платформы на два размера больше необходимого. Три Белоснежки и длинная Шахерезада! Насильно пригнанные Сайдой, мальчики поднялись со стульев. Возле меня сразу вырос Принц. Это был Леша. Он обаятельно улыбнулся, давая понять, что все чудесно, его сердце открыто мне. Моя же заячья душонка начала трепыхаться, а лицо ничуть не выдавало зародившейся симпатии. Маска снобизма и легкого высокомерия приросла ко мне еще со школы. Как же иначе? Длинношея дылда без особых выпуклостей никогда не пользовалась успехом в классе. Затравленная старшим братом, я старалась делать вид, что мне никто не ин-те-ре-сен!

Так, искусственно скомплектованными Сайдой парами мы шествуем в соседнее мужское общежитие. В небольшой комнате уже накрыт праздничный стол — мойва, обжаренная с яичницей, соленые огурчики, салат с помидорами, плавленые сырки, несколько бутылок красного вина. Вроде были еще «Кавказские» конфеты и, может быть, яблоки. Кто-то предложил сыграть в карты. Пределом наших дамских возможностей был бридж. Ребята заевали — они надеялись на преферанс.

— Интеллектуальная игра, — саркастически произнес Валера Изжога, пижонистый и никогда не улыбающийся парень.

Высокий большеротый Дима с очаровательной фамилией Коврижко в позе Чацкого провозгласил тост:

— В деревню, в глушь, в Самару!

Он только что приехал со своей свадьбы. Жена, уже окончившая институт, осталась дома, и он был ни при ком, блюл себя. Это был самый раскрепощенный оратор среди своих однопольчан. Периодически он встав-



лял «ошибаешься» с интонацией модного тогда кабацкого пана Зюзи.

Мы-то за словом в карман не лезли, но только между собой. Взяли оборонительно-наступательную позицию для курских соловьев.

— Сколько в Курске институтов? Всего четыре? У нас шесть плюс два заочных и один университет.

— Есть ли профессура в вашем политехе? А кафедра фехтования? Как, нет? А мы втроем (Люда, Лена, Света) рапиристкой второго разряда.

— У нас есть Дворец спорта. Там смотрим широкоформатные зарубежные фильмы. Правда, сидим, как курочки на шесте — очень узкие сиденья, колени упираются в плечи сидящих впереди...

Кто-то взял гитару и затянул «Ах, зачем нас бабы балуют и губы, падая, дают...». Для нас это было не совсем прилично. Ребята поняли и заперли «Если дождь пойдет, ждать ты будешь, значит, любишь ты, значит, любишь...».

— Сайда, умираю, хочу в туалет, — шепчу я ей на ухо.

— Пошли.

Прихватив Раечку, мы тащимся по темным лабиринтам общаги, и в самом тупике мне указывается на дверь:

— Иди!

— Это дамский?

— Иди!

— Ты точно знаешь?

— Я сказала можно, значит можно, — Сайда подталкивает меня.

Я уверенно распахиваю дверь и вижу следующую картину: на корточках сидит очкарик и читает огромную газету. Он медленно поднимает глаза и только тихо, удивленно, видя разряженную куклу — меня, — произносит:

— Вот это да-а-а!

Я мгновенно выскакиваю под веселый хохот подруг.

Вернувшись в комнату, я чувствую, что мы засиделись, и шепчу Раечке:

— Давай линять!

Леша, услышав это, запирает дверь изнутри на задвижку. И начинаются

танцы. Конечно, мы с ним танцуем. Его мягкие ладони на моей талии. Он притягивает меня к себе, я упираюсь, держа положенную дистанцию. Один, второй, третий танец. Он что-то сказал Коврижко, и Дима приглашает меня, мы медленно кружимся. Коврижко как-то вольно пытается меня обнять — я жестко отштытываюсь. И мне думается, эта была проверка на дозволенность — мальчики наблюдали. Я опять танцую с Лешей. Когда нас никто не видит, он, как будто случайно, невзначай, касается губами моей щеки. На следующем круге, в этом же месте, это повторяется. И мне это нравится.

Люду наперебой приглашают. С Солнышко она танцует чаще, чем с другими. У него красивое, доброе лицо с крупными веснушками и сложение Аполлона-культуриста. Юра поведал ей с легкой грустинкой, что он несостоявшийся врач: мама-терапевт умоляла его на коленях не идти в медицинский.

Света с очень серьезным лицом рассказывает своему Вольдемару о замечательной выставке открыток-репродукций с картин Рериха. Он кивает головой, делая вид, что заинтересован русским индусом, но мысли его давно оторвались от Гималаев, его Шамбала где-то здесь, рядом.

Около Раечки суетится Сергей Альтман. Она сразу стала называть его Серым. Лида с рыбьими глазами закружила импозантного Валеру. Уж она-то не манерничает. Вскоре они куда-то надолго исчезают.

Все танцевали твист, шейк, но в основном медленные танцы. Сайда сидела на кровати с грустными глазами. Она одна устроила вечеринку — и без кавалера. Застенчивые и очень интеллигентные Николай и Павлик в черных костюмчиках держались особняком от всех.

Коврижко с бокалом вина все пытается взять внимание на себя:

— Как говорил Сократ, Платон мой друг, а истина в вине!

Его никто не слышит, все увлеченно болтают друг с другом, как будто

мы из одной группы. Компания! Около десяти вечера всей гурьбой пошли провожать нас до общежития. На ком-то был уже накинут мужской пиджак.

Утро

Мне опять надо идти в ночную к двенадцати часам. Через ночной город я топаю к заводу темными переулками, сокращая путь и ничего не боясь. Проходная недалеко — всего в трех троллейбусных остановках. Это сейчас после семи вечера в Самаре я предпочитаю на улицу не выползть.

Опять инструмент, окрошка, партия «козла», крысы, инструмент, инструмент... Отстояв непростую для себя ночную вахту, я иду в общественную умывальную и брызгаю каплями воды на лицо.

— Лена как котенок умывается. Все форсит, без напупника работает, думает, женишка себе найдет, — слышу я от нашей грузчицы Паши, снимающей с себя большой дерматиновый фартук и рукавицы. Она-то за смену до полутонны металла перекладывает и чувствует себя огурцом, несмотря на почтенный возраст и вес. Ей хочется по-матерински поучать меня:

— Никого не выглядишь: здесь одна шелупень отирается. Ты птица другого полета.

Конечно, я без косметики, а то поутру я бы выглядела как Арлекино — с черными кругами туши вокруг глаз. Ну не встретить бы курских, думаю я, и тут же носом к носу сталкиваюсь со всеми ребятами. Они идут завтракать в заводскую столовую перед работой.

— Лена, доброе утро! — здороваются Леша.

— Доброе, доброе, — отвожу я свой холст лица в сторону.

По дороге в общежитие меня обгоняет грузовик. Все солдаты, переполнившие его кузов, начинают дружно орать и колотить кулаками о борт, приветствуя меня. Ну начинается денечек!

Душ

Поспав и поев, где-то под вечер мы втроем — Света, Люда и я — спускаемся в общественный душ, что находится в подвале здания. Я постоянно стучаюсь головой о трубы, следуя по катакомбам. Здесь в войну могли б партизаны скрываться: шаг в стору — и ты в каком-то темном провале. Где-то капало и парило. Каменный пол был в жиже, и на деревянных решетках можно было свернуть шею. Не замечая этих прелестей, мы стали раздеваться. Света напоминала Венеру Милосскую, только с руками. Люда с благоговением рассматривала ее торс, щуря близорукие глаза. Она даже потрогала изгиб у талии, как будто сомневалась в реальности прекрасного. Я чувствовала себя вешалкой из-под детского платяица. Далеко мне было до этих созревших смоквиц!

Я (Свете):

— Клеопатрой из Египта
В прошлой жизни ты была,
А сегодня манускрипты
Для техмаша принесла.

Света:

— А ты прям Ах Матова Ньюра!
(Помедлив.) Ну как, куряне понравились?

Я:

— Инлителигентные мальчики, не колхозаны. Сейчас нас обсуждают.

Люда (Свете):

— Твой Вольдемар непорядочный.
Он стал ко мне липнуть, делать намеки, что готов на все. Ухаживал за тобой и сразу переключился на меня. С ним лучше не связываться...

Я (перебивая ее):

— Да, твой-то генеральский, Ломтик. Забыла или простила?
На первой же вечеринке, куда его пригласил наш староста, так меня зажал в танце, что все девчонки паль-

цем тыкали, что якобы я его у тебя отбиваю. И к Барановой Тане он тоже так же подъезжал. Она мне говорила об этом. Тебе тоже с ним лучше не связываться?!

Люда как-то обмякла сразу. Да, себе много можно простить, проглотить даже измену друга. Поучать проще. Вымывшись и обмотав головы вафельными полотенцами, мы поднимаемся в свою комнату.

Света (мне):

— Ты, ненакрашенная, выглядишь лучше всех нас.

Ну, почти комплимент. Мне его хватит на всю оставшуюся жизнь.

В нашу комнату заглядывает девушка-практикантка из Кривого Рога:

— Девочки! Кто оставил золотое колечко в душе?

Я глянула на пальцы:

— Ой, я! Спасибо.

Просто «спасибо», балда!

США — Россия

Продолжение следует.

Виктор АФОНИЧЕВ

КАК Я ГРАФОМАНИЛ

За все школьные годы я за сочинение ни разу не получил пятерку, а так хотелось на этом поприще быть отмеченным отличными оценками. Уже давно не школьник, но желание из слов составлять предложения, потом из предложений выстраивать красивые законченные высказывания с вложенными в них глубокомысленными умозаключениями не пропало.

Историй знаю множество. Пытаюсь рассказать себе — получается увлекательно и смешно. Пробую другим — публика делится на две части. Одни перебивают рассказ, так и не дослушав его, и тут же начинают излагать что-то свое. Другие пялятся задом и уходят прочь.

Неудачи донести свою мысль до окружающих ранили, но не убили. Выплескиваю все на лист бумаги — ожидания не оправдываются. На лист бумаги почему-то ничего не выплескивается. Опять

рассказываю себе — снова получается увлекательно и смешно. Но в письменном виде сидящий в голове сюжет не излагается. Действующие лица отказываются друг с другом разговаривать.

Заинтересовываюсь: как там у них, у классиков? Беру с книжной полки томик Бунина, открываю на первой попавшейся странице, глазам предстает рассказ «Роман горбуна». Я на чистом листке сверху посередине строки пишу: «Роман толстяка». Читаю дальше: «Горбун получил анонимное любовное письмо, приглашение на свидание...» Я пишу: «Толстяк по электронной почте получил анонимное любовное письмо...» У Бунина: «Будьте в субботу пятого апреля, в семь часов вечера, в сквере на Соборной площади...» У меня: «...в центральном парке...». Далее: «...Я молода, богата, свободна и — к чему скрывать! — давно знаю, давно люблю вас, ваш гордый и печальный взор, ваш благородный умный



люб, ваше одиночество... Я хочу надеяться, что и Вы найдете, быть может, во мне душу, родную Вам... Мои приметы: серый английский костюм, в левой руке шелковый лиловый зонтик, в правой — букет фиалок...» В моей редакции: «...белая ветровка, в левой руке газета “Из рук в руки”, в правой — сотовый телефон...» Читаю дальше: «Как он был потрясен, как ждал субботы: первое любовное письмо за всю жизнь! В субботу он сходил к парикмахеру, купил новые (сиреневые) перчатки, новый (серый с красной искрой под цвет костюму) галстук...» Я пишу: «...купил новую бейсболку, кроссовки, брюки и джинсовую куртку...» У Бунина: «...дома, наряжаясь перед зеркалом, без конца перевязывал этот галстук своими длинными, тонкими пальцами, холодными и дрожащими...» У меня: «...дома, наряжаясь перед зеркалом, без конца на голове крутил бейсболку — то козырьком вперед, то назад, толстыми пальцами, влажными от волнения...» У классика: «...на щеках его, под тонкой кожей, разлился красивый, пятнистый румянец, прекрасные глаза потемнели... Потом, нарядженный, он сел в кресло — как гость, как чужой в своей собственной квартире, — и стал ждать рокового часа. Наконец в столовой важно, грозно пробило шесть с половиной. Он содрогнулся, поднялся, сдержанно, не спеша, надел в прихожей весеннюю шляпу...» Я исправил: «...бейсболку...» И дальше продолжил переписывать текст: «...и медленно вышел. Но на улице уже не мог владеть собой — зашагал своими длинными и тонкими ногами быстрее...» Я изменил: «...зашагал своими толстыми, неуклюжими ногами...» У Бунина: «...объятый тем блаженным страхом, с которым всегда предвкушаем мы счастье. Когда же быстро вошел в сквер возле собора...» Я исправил: «...в центральный парк...» В оригинале: «...оцепенел на месте: навстречу ему, в розовом свете весенней зари, важными и длинными шагами шла в сером костюме и хорошенькой шляпке, похожей на мужскую, с зонтиком в левой руке и фиалками в правой — горбунья». В моем изложении: «... в белой ветровке, с газетой “Из рук в руки” в левой руке и с сотовым телефоном в правой — толстуха». Бунин закончил рассказ следующими словами: «Беспощаден кто-то к человеку!» Я не стал ничего менять, переписал слово в слово, как у классика, и поставил точку.

Сотворив, можно сказать, бессмертное творение, я решил донести его до современников. Найдя в Интернете несколько десятков адресов литературных

журналов, отправил к ним свой шедевр, подписавшись: Ваня Букин из Орловской области.

Три журнала ответили: «Рассказ читается с интересом, к сожалению, опубликовать его в журнале не сможем. Не наш формат», «В настоящее время мы не заинтересованы в произведениях представленной тематики», «Ваш рассказ не подходит к формату нашего альманаха. Мы публикуем произведения в стиле традиционной русской прозы и поэзии. Уделяем внимание внутреннему миру героев, а не эпатажу».

И тут меня не убили. Раненый, но непобежденный, решил на писательский олимп подниматься из низов. В Интернете зарегистрировался на одном из литературных сайтов и как раз попал под один из конкурсов под названием: «Ералаш». Под ником Ваня Букин мой рассказ был опубликован. На сайте пошли отзывы: «По-моему, рассказ тонет в подробностях, а конец неожиданно хорош. Вот если бы пара слов, как он представлял себе незнакомку», «Не совсем понимаю, о чем рассказ. Думаю, и Миша (авторитет, старожил сайта) тоже самое скажет. В плане техники — ниче. Нормально, в принципе. Средне. А вот с сюжетом автор не додумал, история яркой не кажется. Автор явно спешил под конкурс», «А Миша скажет вот что! После “Какого цвета облака” (по всей видимости, конкурсный рассказ самого Миши) этот рассказ мог стать вторым лучшим на конкурсе. Но!!! Если бы автор не скомкал интересную идею в комок и не похоронил ее под словами “...навстречу ему в белой ветровке с газетой в левой руке шла толстуха...”». Все что угодно, но не толстуха! Но и не красавица с рыжими волосами. А просто девушка в каком-то не по годам одетом пальтишке и в круглых очках. Она и газету спрятала под пальто. И делала вид, что просто гуляет под дождем (у меня не было осадков), и когда наш толстяк собрался уходить, она подошла к нему и дрожащим голосом спросила: “Извините, это я вам писала. Я, мне... извините, если я вам не нравлюсь, то я уйду”. Жаль, очень жаль, что это не моя идея и не моя история. Я бы из нее все кишки вытянул. Мне даже не интересно, кто автор. Так как попрошу разрешения продолжить историю толстяка, а он не разрешит, а я больше просить не буду. И рассказ уйдет в неизвестность».

Беспощаден кто-то к человеку!

Новосибирская область, г. Искитим



Валерий Ильичев родился в Москве в 1939 году. В 1956 году поступил на службу в органы милиции, в которых проработал до 1996 года. Значительный опыт работы в уголовном розыске позволил В. Ильичеву детально изучить психологию представителей криминального мира и тайные механизмы подготовки и совершения преступлений. Литературную деятельность Валерий Ильичев начал в 1966 году. Его рассказы печатались в журналах «Советская милиция», «Социалистическая законность», «Сыщик России», «Человек и закон», газетах «Щит и меч», «Петровка, 38», «Вечерняя Москва», «Московская правда». В издательствах «Эксмо», «Вагриус», «Олимп» были опубликованы его повести «Перстень с печатькой», «Эlegantный убийца», «Псих против мафии», «Гильотина для палача» и ряд других. На страницах журнала «Юность» в последние годы печатались такие произведения Ильичева, как «Ставка на зеро», «Тайна “Семи грехов”», «Страсти сыщика Перова».

С июня 2011 года наш журнал начинает печатать новую повесть Валерия Ильичева «Похождения “Подмигивающего призрака”», в которой детально прослеживаются особенности криминального мира России на протяжении последних ста лет. Надеемся, что острый сюжет, неожиданные повороты в судьбах героев вызовут у читателя живой отклик.

Похождения «Подмигивающего призрака»

В основу повести положены подлинные истории, рассказанные мне людьми, встреченными на долгом жизненном пути.

Автор

Глава I. В начале пути

Купец Буйнов допил чай, перевернул и поставил вверх дном широкую фаянсовую чашку. Вытер ладонью пышные усы и внимательно уставился на угреватое, в красных прожилках лицо Вадима. Тот поминутно вытирал несвежим платком пот, обильно стекающий со лба, и озабоченно сдвигал брови в ожидании начала серьезного разговора.

А Буйнов мучился сомнениями: «Этот родной племянник покойной жены явно любит выпить в свобод-

ное от полицейской службы время. Ему бы сейчас не чай, обжигаясь, глотать, а холодную водку соленым огурцом заедать. Пьющий человек ненадежен. Да другого все равно нет. Дело я задумал рискованное. Без охраны не обойдешься. Придется брать с собой Вадима».

Пауза затянулась, и Буйнов решил:

— Слушай, Вадим. Возьми отгул или хворь себе какую-нибудь выдумай. Поедешь со

мною в Ригу. Я крупную сделку провернуть задумал. Мне нужна надежная охрана. А на кого, кроме родного племянника, понадеешься? Ты все в долг у меня денег клянчишь. Не иначе как в карты поигрываешь без удачи либо зазнобу на стороне завел помоложе своей Таньки. Но не мое это дело. За охрану и риск пару сотен ассигнациями получишь. Согласен?

— Нет, дядя Ваня. Я свою жизнь менее чем за пять сотен разменивать не стану. Да и за обман начальства



мне нагореть может. Так что не дешеви.

— Ну ты и мазурик, Вадя. Родного дядю средь бела дня грабишь. Креста на тебе нет.

— А ты меня не укоряй. Я тоже пожить по-господски хочу, и у меня свои запросы имеются. А дело, видать, непростое, раз ко мне обратиться решился. Так что раскошелейся: не на базаре, чай, торгуешься.

— Вон ты как заговорил дерзко. А когда за подаванием ко мне регулярно являешься, то елей с языка расточаешь. Ладно, в память покойницы Полины дам тебе пять сотен. Любила она тебя, подлеца.

— Хорошо, когда выезжаем?

— Да хоть завтра. Ты с начальством вопрос сегодня реши. И оружие не забудь взять.

— Казенный револьвер не могу. Сдавать положено вне службы. А есть у меня свой личный, официально приобретенный браунинг. Его и захвачу. Может, мне в форме поехать?

— Ты, видать, совсем ума лишился. Нам светиться нельзя. Приехали, дело завершили — и в тот же день назад, в Москву, не привлекая внимания. Я сейчас пойду депешу отобью, чтобы ждали. Да и в банк забегу: деньги надо снять. Крупную сумму повезем.

— А назад налегке поедem?

— Не твое дело. Ты ухо остро держи, чтобы нам живыми и не ограбленными домой вернуться. А иначе я в один миг нищим стану, победнее тебя.

— Мне надо знать, кого бояться, революционных эксов или разбойничьего кистеня?

— Да хоть бы тех и других! Боевики точно кокнут, а разбойники лишь богатство возьмут. Но давай о беде разговор вести не будем. А то накликаем.

— Ладно, дядя Ваня, только, похоже, я задешево в чужое рискованное дело втемяшился. Набавь еще пару сотен за риск.

— Хорошо, если все пройдет гладко, то дам тебе семьсот целковых и о

прежних долгах забуду. Иди, готовься к отъезду. Завтра зайдешь за мной сюда. Я с большими деньгами без тебя за порог не выйду.

Глядя вслед высокой плечистой фигуре племянника, Буйнов уважительно подумал: «Хоть и недалекий парень, но силушка есть. А с браунингом за поясом авось не даст меня в обиду. Время уж больно беспокойное. Того гляди, вновь, как в 1905 году, на улицах баррикады появятся. Ассигнации в пепел и тлен превратятся. А драгоценный камень всегда в цене. Да и спрятать его легче. Риск хоть и велик, да так все надежнее будет. Ох-хо-хо, прости нам, Господи, грехи наши тяжкие!»

На душе по-прежнему было тревожно.

До Риги добрались благополучно. Сначала встретились с рекомендованным друзьями ювелиром. Солидный господин с нездоровым хриплым дыханием держался спокойно и уверенно. Сквозь темные стекла очков серые, почти бесцветные глаза смотрели на приезжих с явным равнодушием. Буйнов почувствовал раздражение: «Этому типу плевать на мои заботы. Его дело — убедиться в подлинности бриллианта и определить стоимость. За десяток минут огребет за свою услугу крупную сумму — и в сторону. А доберусь ли я живым и с камнем до дома, ему плевать. А ну как с французиком сговорились меня облапошить и дешевое стеклышко вместо бриллианта всучить?»

Словно прочитав его мысли, толстяк, медленно растягивая слова, пояснил:

— Вам нечего беспокоиться. Я навел справки о хозяине бриллианта. Приехал француз в Ригу два года назад. Открыл магазин модного платья. Думал разбогатеть. Но прогадал: ныне в России не до богатых нарядов. Да и дело повел неумело. Прогорел: в долгах как в шелках.

Вот и решил продать фамильную ценность. По семейной легенде, его прадед с наполеоновским войском всю Европу прошел. Вернулся безруким инвалидом, но вот с этим бриллиантом. Рассказывал, что взял у убитого вражеского офицера на поле боя. Может быть, так оно и было. С тех пор камень почти сто лет в их семье хранился как символ удачи. Хотя какая там удача, если предок за этот камень руку на войне потерял. А мне как специалисту интересно на старинное изделие взглянуть.

— Как бы французик не заломил цену несусветную.

— Не беспокойтесь, я цену определю справедливую. Мое имя как опытного ювелира известно даже за Уралом. А репутация честного человека для меня дороже денег. Так что проявлю старание, чтобы и вы остались довольны, и господин из Тулузы обо мне лестно отзывался.

— А далеко ехать?

— Здесь у нас в Риге все близко.

Поймав извозчика, ювелир потребовал ехать на Мельничную улицу. К месту прибыли довольно быстро. Поднялись на второй этаж и вошли в квартиру. Хозяин был не один. В углу в кресле сидел господин с пышными усами. Несмотря на теплую погоду, он был в плаще и шляпе. Буйнов сметливо догадался: «Этот тип мрачный субъект нанят для охраны. Под плащом наверняка револьвер прячет. Подстраховался французик. Тоже подвоха боится. И немудрено в нынешние смутные времена».

Инициативу на себя взял ювелир:

— Мы все здесь заинтересованы в скорейшем завершении дела. Так что покажите товар.

— Сначала предъявите деньги.

Не препираясь, Буйнов раскрыл саквояж. Француз вытащил наугад пачку ассигнаций, тщательно проверил и вернул на место: все в порядке. Не фальшивки.

Затем подошел к буфету, достал пузатый заварной чайник, извлек из

него аккуратно завернутый сверток и передал ювелиру. Тот ловко развязал узел и достал напоминающий кусок холодного льда камень. Не спеша зажег настольную лампу и, вставив в глаз лупу, поднес предназначенную к продаже вещь к свету. Как только электрические лучи коснулись драгоценного камня, все его грани внезапно заискрились, словно игриво подмигивая собравшимся ради него людям. Ювелир восхищенно присвистнул:

— Надо же, никогда не видел столь игривого бриллианта. Прямо-таки юнец, впервые попавший на бал и увидевший вблизи прекрасных и желанных девиц. А ну-ка налейте из графина в стакан воды и подайте мне.

С торжеством отпустив в воду бриллиант, ювелир повернулся к Буйнову:

— Вот видите, он исчез, как будто его и не существовало. Так и должно быть с настоящим бриллиантом — он полностью сливается с чистой водой. У каждого драгоценного камня должно быть имя собственное. Он нам игриво подмигивает и легко, словно бесплотный дух на глазах, исчезает из виду в стакане с водой. Давайте назовем его «Подмигивающий призрак».

Француз нервно перебил:

— Все это очень лирично. Но мне не до сентиментальных бесед. Я хочу знать, какую сумму я получу за эту дорогую моему сердцу вещь. Я понимаю вашу выгоду, так же как и интерес господина Буйнова.

— А потому назову среднюю цену, способную удовлетворить обе стороны.

Назначенную ювелиром сумму Буйнов и француз не стали оспаривать. Обоим хотелось побыстрее завершить сделку. Почувствовав ответственность момента, Вадим и охранник француз встали по обе стороны стола, угрожая засунув руки в карманы. Но все прошло гладко.

Получив деньги, француз написал расписку о переуступке права вла-

дения бриллиантом купцу Буйнову. Завернув драгоценность в носовой платок, покупатели с облегчением покинули квартиру неудавшегося предпринимателя. На улице, перед тем как расстаться, ювелир на минуту задержал Буйнова:

— Хочу вас предупредить. Судя по следам на камне, он когда-то был вынут из родного гнезда. Может быть, из эфеса шпаги или из оправы предмета религиозного культа. Подобные украшения всегда стремятся вернуться на свое место. А пока судьба заставляет их метаться по земле среди людей, они несут в себе злой дух недовольства. И всякий их обладатель должен ощущать себя лишь временным хранителем, а не истинным обладателем сокровища. Иначе беда.

— Да не каркай ты, старый филин. Получи расчет — и пожалуйста безбедно здравствовать. А в чужие дела не лезь.

— Как хотите, но я обязан был вас предупредить. Такие редкостные чистые бриллианты не часто встретишь. Мне сегодня посчастливилось.

— Тебе, значит, повезло, а мне бояться камушка прикажешь? Запутался ты, господин хороший. Или свою выгоду какую в голове держишь? Смотри, я этого не люблю. Иди от греха подальше. Поехали, Вадим. Что с ним зря ласы точить?

Глядя вслед пролетке, увозящей купца с охранником на вокзал, ювелир с тоской вздохнул: «До чего же люди неосмотрительны. Не зря я дал такое звучное прозвище этому изящному бриллианту. Он, словно призрак, будет переходить из рук в руки, с дьявольским издевательством игриво подмигивая своим новым жертвам».

Поправив на голове сбитый набок сильным порывом ветра котелок, старик, тяжело переставляя ноги, направился к своему дому. Его мало волновали чужие судьбы новых владельцев бриллианта.

В вагоне поезда Буйнов старался лежать на боку, постоянно ощущая

упирающийся в ребра твердый кусочек драгоценного камня: «Этот очкарик-ювелир дал удачное имечко моему новому другу. “Подмигивающий призрак” звучит интригующе, как в романе Конан Дойла. Вроде и невелика безделушка, да света от нее много. Так и кажется, что лучи сквозь жилетный карман в тело проникают и душу греют. Вот только сидящий напротив Вадим меня беспокоит. Явно завидует чужому богатству, гаденыш. Еще при расчете на Мельничной улице глазами жадно по пачкам денег рыскал. Зря я его привлек. Хотя это теперь хорошо говорить, после удачного завершения сделки. Но еще рано радоваться: до дома надо добраться».

Но купец зря беспокоился. Все завершилось благополучно. Рассчитавшись с племянником, Буйнов поспешил выпроводить его из дома:

— Ну все, Вадим. Как говорится, спасибо за службу. С деньгами поосторожнее обращайся. В долги больше не влезай. Запомни: пьянство да девки развратные до добра не доведут. Да у тебя и своя баба Татьяна справная и в пышном теле. Незачем от такого добра в чужие постели скакать. Я уже в преклонных годах, и то ею люблюсь. Смотри, бросишь девку, я на ней женюсь. Не обижайся, шучу я по-родственному.

— Ладно, Иван Алексеевич, пойду я. Ты только камушек спрячь понадежнее. Не ровен час, обокрадут мазурики. Вон негоцианта Теплова месяц назад обчистили. Все золотишко из дома утащили. А ведь в стене тайник оборудовал. Думал, не дознаются жулики. А те расторопнее его оказались. Хочешь как специалист помогу драгоценную вещь спрятать понадежнее?

— Нет уж, уволь, обойдусь в этом деле без помощников, надежнее будет. И тебе, кстати, соблазна никакого.

— Обижаешь, дядя, разве я позволю?! Ведь сам на страже закона службу правлю.



— Ладно, Вадим. Недосуг мне с тобою пустые разговоры вести. Иди домой подобру-поздорову. А я уж без тебя как-нибудь управлюсь.

После ухода племянника Буйнов тщательно закрыл дверь и, достав бриллиант, принялся играть камнем, вращая его в лучах солнечного света, упорно пробивающегося сквозь давно немытое оконное стекло. Купца забавляли весело искрящиеся блики, отражающиеся от точно вырезанных граней. Затем он аккуратно завернул дорогое приобретение в цветной фантик от съеденной конфеты и привязал к нему белую нитку с широкой петлею. Прodelав нехитрую работу, направился в чулан. Вскрыв коробку с дешевыми игрушками, переложенными ватой, аккуратно уложил подделанную под новогоднее украшение драгоценность между фигуркой клоуна и серебристым шаром. Закрыв коробку, водрузил ее на место, посчитав, что надежно спрятал бриллиант от воровских жадных глаз: «Никто даже не подумает, что на самом виду я храню целое состояние. На новый 1913 год на елку фитюльку вывешу без всякой опаски. Все-таки умом и хитростью меня Господь не обделил».

Радующийся удачному вложению капитала купец не знал, что до великих потрясений Первой мировой войны оставалось менее года.

...А племянник покойной жены купца Вадим Обухов после поездки в Ригу потерял покой: «Дядюшка-то мой оказался миллионщиком. С легкостью обменял саквояж ассигнаций на бриллиант размером с гимназический мелок. Небось не последнее выложил. А мне, своему единственному родственнику, жалкие гроши и те в долг дает. Да еще на мою Татьяну глаз положил. Хоть и в шутку, а жениться собрался. Танька и вправду хороша. Подняла только постоянными упреками: и шуба у нее драная, и сапожки не модные. Тьфу! Ах, кабы добыть мне ту дорогую безделушку, я бы уж развернулся: как говорится, купил

бы баб деревеньку и любил бы по-маленьку. А что? Мужик я крепкий — справился бы».

От подобных мечтаний становилось теплее на душе. И Обухову все чаще снился искрящийся бездумным весельем бриллиант, умеющий ловко исчезать из глаз, погружаясь в чистую воду.

Но проснувшись, Вадим с разочарованием ощущал тщетность своих надежд на богатство. Конечно, высокое жалованье и мелкие поборы давали ему ощутимый доход. Но азартная натура заставляла проигрывать по-крупному в карты, да и развеселые молодухи требовали немалых расходов. Деньги, вырученные в ходе поездки в Ригу, закончились быстро. И вновь бремя долгов опутало полицейского служащего. О завладении дядюшкиным богатством он мог только мечтать. А в реальной жизни шансов поправить свое финансовое положение он не видел.

Но внезапно перед ним замаячила надежда на значительный, хотя и противозаконный доход. Однажды знакомый филёр Сидорин, работающий по политической части, пригласил его в трактир. После первой стопки водки сразу приступил к делу:

— Я слышал, ты в долгах как в шелках? Хочешь прилично заработать? Но предупрежу сразу. Дело опасное. Если попадемся, то на каторгу вместе поедем.

— А что делать надо?

— Пока скажу одно: это не убийство и не кража. Просто разыграем ловкий спектакль. И начальство само из государственной казны нам крупную премию выдаст. Ну, что скажешь?

— Если так, как говоришь, то я согласен. Дело вдвоем провернем?

— Нет, тут не менее четверых наших полицейских чинов требуется. Есть у меня на примете двое рискованных парней. Жду только твоего согласия. Учти, обратного пути не будет, если посвятим тебя в наши

планы. Да, еще, дело потребует предварительной подготовки и финансовых затрат. Тебе рублей сто внести надо.

— А сколько навар будет?

— Пятьсот рублей минимум.

— Я согласен. Говори, в чем дело.

— Политические допекли власти хуже уголовников. И не бомбисты, а те, что прокламации и газетенки крамольные печатают и в народе смуту распространяют. Циркуляр издан секретный: за каждую разгромленную подпольную типографию крупное вознаграждение положено.

— Ну а к нашему делу какое это имеет отношение?

— Сейчас поймешь, не спеши. На прошлой неделе взяли мы одну такую типографию в заброшенном сарае. Ничего особенного: станок, литеры свинцовые, пачки бумаги и несколько керосиновых ламп. Вот и оцени: все это оборудование немного денег стоит. В любом случае в несколько раз меньше, чем объявленное вознаграждение. Вот я и придумал: мы покупаем станок, обустраиваем подпольную типографию и затем проводим операцию по ее захвату.

— А где же взять задержанных революционеров?

— Вот тут ты мне и нужен. Мы заранее сделаем подкоп. При захвате типографии ты снаружи открываешь стрельбу по облакам и орешь на всю округу: «Стой, полиция!» Но врагам царя и отечества по легенде удастся скрыться. А типография у нас в руках. Мы все в героях и получаем причитающееся нам вознаграждение.

— Ловко! Ну ты, Сидорин, голова! Я с тобою в деле. Когда начнем?

— Завтра. Я в Дорогомилово домишко запериметил. Снял комнату у подслеповатой одинокой старухи. Сутки там покопаясь и начнем оборудование тайно завозить. Даст бог, все удачно обойдется.

На этот раз действительно все прошло удачно. Отстреляв патроны в воздух, Вадим получил солидное вознаграждение. Через

полгода приятели вновь с успехом провернули мошенническую операцию. Потом решили вовремя остановиться. Но их подвели сообщники. Без ведома Сидорина и Обухова из-за глупой жадности они вновь с шумом и гамом «разгромили» очередной рассадник печатной смуты. Ну и попались. На следствии назвали Вадима и Сидорина как своих сообщников. Но им повезло: начальство решило делу не давать большой огласки. Выгнали новоявленных предпринимателей с полицейской службы и заставили возместить ущерб, нанесенный казне. Пришлось Вадиму вновь бросаться в ноги дяде Ивану. Тот на удивление легко раскошелился, высоко оценив смекалку полицейских. Но расписку с неудавшегося коммерсанта все же взял. Про себя подумал: «Этого парня надо держать на твердой привязи. Авось поостережется болтать лишнее о драгоценном камушке, привезенном мною из Риги. Да и держать его надо поближе. Устрою приказчиком в одну из своих лавок. Пусть будет под неусыпным присмотром. Так мне спокойнее будет».

* * *

Через несколько месяцев началась война с германцами, и тяготившийся нудными обязанностями мелкого торговца Вадим отправился на фронт. Вернулся он только через три года, отравленный газами, да еще с простреленными легкими. В исхудавшем, постоянно кашляющем, сутулом с болезненным взглядом субъекте невозможно было узнать прежнего сильного мужика. Явившись с фронта неожиданно, как снег на голову, Вадим застал в собственном доме невысокого смуглого крепыша Григория. Татьяна, ничуть не смутившись, рекомендовала постояльца как своего двоюродного брата Гришку, приехавшего в город в поисках заработка. Заметив подозрение в глазах мужа, пояснила, что все жители в их деревне род-

ственники, давно пережившиеся между собой. Нагловатый Гришка с быстро бегающим беспокойным взглядом, несмотря на уговоры Татьяны, поспешно покинул гостеприимный дом. Конечно, этому здоровью ничего не стоило одним ударом свалить с ног беспомощного инвалида. Но Гришка боялся, что у мужа Татьяны остались дружки в полиции, и он справедливо рассудил, что безопаснее будет съехать на другую квартиру. Время от времени Гришка воровато появлялся у Татьяны, выпрашивая у нее мелкие деньги. Вадим злился на бессовестного попрошайку. Ему самому приходилось неоднократно ходить к дядюшке Ивану Алексеевичу за жалкими подачками. И тот каждый раз, пересчитывая гроши, жаловался на трудные времена и заверял бедного родственника, что тогда в Риге отдал все свои деньги за драгоценный бриллиант и потому щедро помогать Вадиму теперь не в состоянии.

Через полгода в России разразилась революция. Пришедший за очередным подаванием Вадим получил резкий отказ. Иван Алексеевич пояснил:

— Времена ныне тяжелые. Похоже, бежать отсюда надо. Соседи на меня зло смотрят, будто я свое добро за их счет нажил. Да и тебе несдобровать: припомнят твою полицейскую службу и вздернут на столбе без суда и следствия.

— Так давай вместе и сбежим подальше.

— Ну нет. Теперь каждый за себя. Так легче скрыться будет. Да и не доверяю я тебе, Вадим. Работать ты не привык. Да и болезнь тебя гложет заразная. Того и гляди чахотку от тебя подхватишь. Не понимаю, как еще Татьяна с тобой в постель ложится.

— А это уж не твоя забота. Что-то ты часто о моей Татьяне заботу проявляешь. Пора уж остепениться старому козлу.

— Ладно, не ерпенься. Только больше денег не дам. Самому надо

спасаться. А тебе тоже бежать отсюда надо.

— Хорошо, послушаю твоих советов. Только дай хоть немного средств на отъезд. В последний раз прошу.

— Ну, так и быть. Держи пару сотен. И чтобы я тебя больше не видел. Ты мне дальняя родня: седьмая вода на киселе. Помогаю только ради Татьяны. Так и скажи своей крале: Иван Алексеевич только ради нее деньги дал. Все, ступай. Мне еще вещички собрать надо.

Выслушав рассказ мужа, Татьяна всполошилась:

— Слушай, а может быть, и правду у дядюшки главное богатство — камушек драгоценный?

— А тебе что за дело?

— А сам не понимаешь? Нельзя такой шанс уступать. Деду бриллиант ни к чему: он свое отжил. А нам с тобой такая штучка еще ой как пригодится.

— Да как это сделаешь, если не знаем, где камушек у него запрятан?

— У тебя и раньше ума не было, а теперь ты и совсем соображения лишился. Ведь старик, уезжая из Москвы, бриллиант из тайника вытащит и с собой возьмет. Ты его подкараулишь и зарежешь. И уедем вдвоем подальше.

— Ловко ты задумала. Но, потвоему, я это прямо на улице на глазах у прохожих сделаю? К тому же он мужик еще крепкий, а я еле ложку со щами ко рту подношу.

— А Гришка, мой брательник, на что? Его попрошу поучаствовать. Он парень ловкий. Чужих лошадей сызмальства по своей округе уводил бесшумно. Его так в детстве и звали — Цыганенок. А проникнуть в дом дядюшки твоего я помогу. Старый черт давно на меня облизывается. Как стемнеет, так и пойдем. А я сейчас за Гришкой мигом сбегаю.

Глядя вслед поспешившей за своим опасным родственником Татьяне, Вадим подумал: «Зря я согласился на такое рискованное дело. Этот Гришка-



цыган — опасный тип, и мне надо держать ухо востро. Иначе пропаду».

Тревожное предчувствие надвигающейся беды охватило Вадима, но отступать уже было поздно.

...К дому купца подошли, когда стемнело. Пугливо озираясь, убедились, что их никто не заметил, и, стараясь ступать бесшумно, поднялись по каменным ступеням. Вадим и Цыган встали с двух сторон двери, а Татьяна негромко постучала.

Раздались неспешные шаги, и хриплый голос хозяина спросил:

— Кого принесла нелегкая?

— Дядя Ваня, это я, Татьяна. Разговор есть потаенный. Открой, не то беда случится.

— До утра подождать не могла?

— Завтра уже поздно будет. Я еле от Вадьки скрытно к тебе прибежала. Не тяни, открывай давай. Мне еще домой побыстрее возвратиться надо.

После некоторой разминки негромко лязгнул засов, и дверь приоткрылась. Тут же Цыган резким ударом ноги отбросил хозяина в сторону и, навалившись на него всем телом, крепко сжал жертве горло, не давая ему позвать соседей на помощь. Ворвавшиеся следом Татьяна с Вадимом помогли связать старика принесенной с собой веревкой. Посадив пленника на лавку, Цыган ослабил хватку на горле и, позволив хозяину отдышаться, потребовал:

— Отдай бриллиант, дед. Не доводи до греха. Нам чужая кровь не нужна. Возьмем камушек и уйдем. Указывай, где хранишь драгоценность?

Ошеломленный неожиданным нападением, старик немигающее смотрел на Татьяну. Наконец, с трудом двигая онемевшими губами и преодолевая боль в горле, спросил:

— Как ты, Танюшка, решилась на такое? Сколько денег я твоему непутевому Вадиму передал. Да и тебе, пока он германца воевал, помощь посильную оказывал. А вместо благодарности ты вон что учудила. Вадька всю жизнь непутевым

был. А уж от тебя я такой черной неблагодарности не ожидал.

— Хватит меня стыдить. На себя оглянуться нелишне. Сиди на бороду, бес в ребро. Сколько раз меня в постель свою мягкую намеками звал. Отдай нам бриллиант по-хорошему!

— Ишь ты, чего захотела. Я вам бриллиант — а вы мне башку напроць оторвете.

— Это ты так зря подумал. Мы решили прямехонько отсюда из города укатить. Куда — не скажу. До утра тебя связанным оставим. Пока освободишься, мы далеко уже будем. Да и бояться нам особенно некого. Жаловаться тебе, бедолага, похоже, некому. Нет власти в городе. К тому же не любят ныне таких, как ты, миллионщиков. Так что убивать тебя нет резона. Ну говори, где бриллиант прячешь.

— Сладко поешь, девка. Только и я не дурак. Камушек вам не отдам. Я за него всю жизнь капитал по копеечке собирал. А вы, голодранцы, вырученные за бриллиант деньги в одночасье спустите. Недаром ювелир имя ему дал «Подмигивающий призрак». Он многих манит, да не всем в руки с пользой дается.

Цыган с размаху влепил хозяину оглушительную оплеуху:

— Хватит болтать, старик. У нас времени в обрез. На поезд опоздать можем. Я лично тебе не родственник и потому церемониться не стану. Сейчас кляп в глотку засуну и начну ножичком острым кровушку тебе пускать. Авось и заговоришь с нами откровенно.

Цыган схватил висящее на стене полотенце и грубо затолкал его край в рот старика. Затем достал из кармана острый сапожный нож и угрожающе занес его над головой жертвы. Внезапно лицо купца побагровело, глаза помутнели, и он обмяк телом, повалившись боком на пол. Поспешно вытащив кляп изо рта, Вадим наклонился и проверил пульс неподвижно лежащего человека. Медленно

выпрямившись, безнадежно махнул рукою:

— Все, конец! Отдал Богу душу дядюшка. Накрылась наша удача. И камушком не обзавелись, и грех тяжкий на душу взяли.

Татьяна злобно огрызнулась:

— Хватит ныть. Веди себя как мужик, а не баба. Не все еще потеряно. Смотри, в углу чемоданы приготовлены для отъезда. Дядюшка сам говорил тебе, что бежать от революции собрался. А коли так, то и камушек успел из тайника достать. Разденьте его до исподнего. Я бы на месте старика бриллиант на себе прятала.

Не особенно веря в успех, Вадим рванул ворот рубахи дядюшки и обомлел: на шее рядом с серебряным крестиком висел небольшой кожаный мешочек. Дрожащими руками Вадим снял с мертвого дядюшки спрятанный на груди тайничок, развязал узелок и выложил на ладонь прозрачный, похожий на кусочек льда камень.

Татьяна нетерпеливо спросила:

— Ну что?

— Да это тот самый бриллиант. Недаром его «Подмигивающим призраком» прозвали. Смотри, как игриво переливается, подлец, веселыми искорками.

— Ладно, хватит веселиться. Давай сюда бриллиант. Я на себе спрячу. Бабу заподозрят в последнюю очередь. А ты, дурачина, точно потеряешь.

Вадим безропотно передал сокровище жене, и та, не стеснялась брата из родной деревни, широко расстегнула кофточку и через шею накинута на бесстыдно обнаженную грудь кожаный мешочек с бриллиантом. Затем повелительно указала мужу на лежащее на полу тело:

— Развяжите его. Пусть все думают, что старик от сердца задохнулся. Да, еще деньги поищите. Но все не берите. Оставьте часть. Тогда и на грабеж не подумают. Да двигайтесь побыстрее. Не ровен час, нагрянет кто незванный.

Подчиняясь властной женщине, мужчины суетливо начали поиски. Кошель с деньгами нашли под подушкой. Преодолев соблазн, оставили значительную сумму нетронутой. Затем хитроумная Татьяна предложила худощавому Вадиму остаться одному внутри, закрыть дверь на засов, а дом покинуть через широкую форточку. Выйдя на улицу и зайдя за угол, она ласково прижалась всем телом к Цыгану.

— Ну вот и все, Гриша. Драгоценный камушек у нас с тобою во владении. Теперь осталось только избавиться от моего чахоточного придурка. У тебя все готово?

— Не волнуйся, сделаем все в лучшем виде. Тихо, молчи. Вон твой благоверный уже снаружи окна по стеклу скребется.

— Чего стоишь? Иди подсоби ему, а то еще грохнется и ногу сломает. И до дома его не доведем.

Цыган шагнул вперед и подставил крепкие плечи под суетливо ищущие опоры, болтающиеся по воздуху худые ноги приговоренного ими мужа. Спустившись вниз, запыхавшийся от чрезмерного физического напряжения Вадим отрывисто пояснил:

— Еще лет пять назад я бы только голову в эту чертову форточку просунул. А ныне и целиком весь пролез.

— Ничего, муженек. Теперь мы богатые. На курорт поедem. Там здоровье поправишь.

— А с братом твоим как рассчитаемся?

— Нашел о чем беспокоиться. Он свою долю согласен деньгами дядюшки взять. Ведь так, Гришуня?

— Знамо дело. Свои люди — сочтемся. А сейчас надо отсюда побыстрее смыться. Пойдем через палисадник. Там меньше шансов столкнуться со случайными загулявшими прохожими.

До дома добрались благополучно, никого не встретив. Прошли в дальнюю комнату и, задернув шторы, зажгли небольшую свечу. Татьяна сноровисто достала из буфета пузатый графинчик:

— Ну что, мужики, теперь можно и отметить успех. Ради такого случая и я выпью немного. Ты, Вадим, — глава семьи, тебе и говорить, за что пить будем.

Вадим поднял наполовину наполненный граненый стаканчик:

— За бриллиант выпьем. Он нам счастье принесет. Да еще за то, что такое сокровище без крови досталось. Дядюшка-то, как ни крути, а сам помер. Царствие ему небесное. Мы ведь его не убивали?

— Да хватит тебе нюни распускать. Давай пей.

Привычно подчинившись властному окрику жены, Вадим залпом опрокинул в себя мутную жидкость самогона и тут же, захрипев, склонился вперед и тяжело повалился на пол. Через минуту его натужное дыхание окончательно прервалось. Все было кончено. Татьяна аккуратно вылила в раковину оставшееся нетронутым содержимое стаканов Цыгана и своего. Затем повернулась к любовнику:

— Отраву ты знатную где-то достал. Вмиг моего благоверного с ног свалило. Да и немудрено: с фронта никчемным инвалидом явился. А раньше до войны кочергу мог согнуть. Хоронить болезного не будем. Тронемся в путь. Авось в Сибирь революционеры не скоро доберутся. Там под Омском мой дед по матушкиной линии обретается.

— Как скажешь, так и поступим. И в Сибири с богатством жить можно.

Осторожно обойдя лежащее на полу мертвое тело мужа, Татьяна с сообщником вышли в соседнюю комнату. Плотнo прикрыв дверь, легли на широкую супружескую постель. Любовник начал нетерпеливо ласкать тело женщины. После пережитых волнений, наполненной убийствами и воровством ночи Татьяне совсем не хотелось плотских утех. Но, опасаясь раздражения своего опасного сожителя, преодолела себя и уступила его настойчивому желанию. Но во время физической близости ее не оставляла мысль, что совершаемый ею плотский грех значительно отягчает вину за две человеческие смерти. Внезапно перед взором возник переливающийся кроваво-красными искорками, словно пылающий жаркими огоньками бриллиант. Ей на мгновение показалось: в этих мерцающих огоньках таится скрытая угроза ее будущему благополучию. И, стремясь избавиться от тревоги, она усилием воли отключила сознание и всецело отдалась жарким ласкам пылкого любовника.

Продолжение следует.

Надежда ГЛУШКОВА



Здравствуйте, «Юность»!

Мне девятнадцать лет. Пишу с двенадцати стихи и прозу, а сейчас пародии, иногда даже на себя, и юмористические рассказы. Смена жанра произошла год назад, когда мои родители предложили присмотреться к печатным СМИ. Присмотрелась — и, ей-богу, не лыцу, кроме вашей «Юности» да еще с натягом пары-тройки изданий в нашей матушке-России, — простите, ничего достойного нет, тем более газет. О них или никак, или пародийно. Печально и грустно. Вот и решила найти спасение в новом жанре, пройти через смех к высокому слогу. Поможете в пути? Предлагаю к публикации юмористический рассказ и пародии на стихи газетных поэтов — есть такой подвид, по крайней мере, у нас за Байкалом, на мой взгляд, весьма оригинальные особи.



РАЗГОВОР главного редактора районной газеты «УЛЕТНЫЕ ВЕСТИ» с народным поэтом Писугиным

— Здравствуйте, наш уважаемый поэт господин Писугин. Давненько к нам не заглядывали. Читатели соскучились по вашим лирическим стихам, звонят, спрашивают, куда вы запропастились.

— Здравствуйте, Елена Ивановна. Я все в работе, как муза посетит, так и работаю, как конь, ну в смысле как Пегас. Вот накропал:

Я сегодня с утра в ударе,
Сочиняю седьмой сонет,
Потому что как на пожаре
Должен трудиться поэт.

— Какой молодец! Что еще?

— Вот про рыбака:

Муж пошел на рыбалку,
Дома не был пять дней.
Жена об него сломала скалку,
Когда вернулся без окуней.

— Хорошие воспитательные стихи. Что еще?

— Вот про охотника:

Охотник пошел на охоту,
Вернулся в нижнем белье.

Жене сказал: «По болоту
Пришлось возвращаться мне.
Загнал туда дикий зверюга,
Подкрался, пока на поляне я спал».
«Ты где шлялся, подлюга?» —
Спросила жена, увидев фингал.
Мужчина слегка смутился,
Признаться решил жене:
«Я с братом твоим напился,
Пропил все, что было на мне».
Жена на него налетела,
Остатки одежды рвала,
Свежей дичи поесть хотела,
Долго мужа с охоты ждала.

— Ну ничего, поучительные стихи. — Елена поправила прическу. — Пусть мужья знают, что жены у них умные, справедливые, боевые и охотничьими байками их не проведешь. Мой муж тоже охотник, дам ему почитать для профилактики.

Поэт улыбнулся и прочитал антиалкогольные стихи:

Мужчина водки напился
В машину сел, дверцей хлоп.
Через пять минут разбился,
Готовьте дубовый гроб.

— Ну это нам не совсем подходит, — нахмурилась редактор. — Мы газета позитивных новостей, среди наших читателей много пенсионеров, а вы им стихи про гробы.

— Милая Леночка, это же стихи для профилактики негативных явлений в обществе. И среди пенсионеров немало прислужников зеленого змея, прочитают мои стихи — и задумаются. Вот второй вариант тоже наглядно показывает, куда заводит пьяная удаль:

Мужчина водки надрался
Прохожему врезал в лоб.
Прохожий боксер оказался,
Готовьте пьянчуге гроб.

— Ладно, эти стихи я возьму, — не переставая хмуриться, пролепетала редактор. — Однако вы не забывайте, что у нас газета называется «Улетные вести» и мы должны писать позитивные, я бы сказала, теплые вести.

— Да, я помню, Елена, вот мои теплые стихи, — с легкой грустью промолвил поэт.

Красное море, Египет, Хургада,
Теплу и морю безмерно рада,

Лежит на пляже, раздвинув ноги,
Как будто сильно устав с дороги,
Понятно сразу — с России баба,
Уже ведь шарит в трусах араба.

Редактор сочувственно посмотрела на поэта:

— Сами в Египет ездили?

Поэт покачал головой:

— Мне некогда по курортам ездить. Моя жена недавно на Красном море побывала, вот и навеяло. Я по ней сильно скучал и свои переживания выразил в стихах:

Ты теперь далеко, а соседка рядом,
Так и манит бесстыжим взглядом,
И увлекает в свое любовное ложе
Тем, что в два раза тебя моложе.

Елена, теперь уже сгорая от любопытства и глядя прямо в глаза поэту, спросила:

— Ну и как, удалось соседке вас совратить?

Поэт откинул голову назад, поднял правую руку и, размахивая кулаком перед лицом изумленной Елены Ивановны и подражая Маяковскому, продекламировал:

Когда я долго с женой в разлуке —
В постели корчусь в тоске и муке,
Не надо, бабы, ко мне ходить,
Один я буду дрожать и пить.

Ивановна улыбнулась:

— Вы очень хороший поэт и морально устойчивы, что крайне редко среди вашей братии. Я хочу, чтобы вы написали хорошие лирические стихи для нашей газеты. Стихи должны понравиться как молодым, так и более зрелым читателям. Если вы сможете выполнить это задание, то я удвою ваш гонорар.

Поэт раскланялся с редактором и пошел, как он выражался, кропать стихи. Прошла неделя. И поэт принес в редакцию вот такую лирику:

Предвестники любви — прыщи,
К весне они выступают на теле.
Юноша, деву с прыщами ищи,
Люби ее страстно в постели.
Прыщи у ней быстро пройдут,
И в майские первые грозы,
Наверное, вам подойдет
Индийские сложные позы.
Пройдет много зим, много лет,
Любовная страсть поутихнет,
Останется в памяти пары совет,
Как вывести прыщ, если он вдруг возникнет.

Редактор ошалело смотрела на поэта Писугина:

— Нет, определенно я вас не узнаю. Где ваш фирменный поэтический стиль? Где шарм вашей лирики? Вы совместили несовместимое. Какие прыщи? — Редактор смущенно покачала головой: — Нет, это не лирика, это какое-то глумление над светлой юношеской любовью, даже не знаю, к какому стилю в поэзии отнести ваш стих.

Поэт расплылся в улыбке:

— Дорогая Елена Ивановна, все просто — это моя находка, новая форма нравоучительных профилактических стихов, так сказать, популярное изложение актуальных медицинских советов в поэтическом виденье.

Редактор махнула рукой:

— Ладно, возьму, но пока условно: посоветуюсь с редколлегией. Вот что, господин Писугин, вы, наверное, знаете, что скоро нашему селу Улеты 350 лет. Так напишите к празднику хорошие поздравительные стихи.

— Да, я согласен, внесу свою лепту в общее дело. — Поэт поклонился и вышел.

Через неделю на стол редактора легла ода, посвященная юбилею родного села.

В Забайкалье село есть — Улеты.

Нет на селе почти никакой работы,
Зато есть стадо крупнорогатой скотины,
И живут на селе настоящие мужчины.
Они очень любят жен и детей,
Почитают отцов, матерей.
Не ведают грусти, не знают кручины
И водку не пьют без веской причины.
Их уважает муниципальная власть,
И не страшна им любая напасть.
Их боятся пьяницы и скандалисты
И ненавидят сельские гомосексуалисты.
Мужчины занимаются модернизацией
И малой сельской механизацией.
Их жены пляшут в театре народном,
А дети забыли о прошлом голодном.
Вот поэтому наше родное село
До этого юбилея и дожило.

На беду, Елена Ивановна заболела гриппом, и все написанное Писугиным пошло в печать. С тех пор газета «Улетные вести» получила статус самой улетной газеты в стране.

Забайкальский край, Улетовский р-н, с. Арей

Галка ГАЛКИНА



Рискну передать вам для печати, если это возможно, свой рассказ о малоизвестной поэтессе, ознаменовавшей одной из первых эпоху, названную потом эпохой поэзии Серебряного века. Судьба Черубины де Габриаки — одна из сложнейших судеб женщин-поэтесс того времени. Для сведения могу сказать, что являюсь лауреатом Всероссийского конкурса «Пединновация» в номинации «Вдохновение» 2006 года за рассказ «Ангел и демон» и стихотворение. Награждена медалью...

*Курилова Нина Павловна,
Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина*

Галка ГАЛКИНА:

Уважаемая Нина Павловна, спасибо Вам за тщательное и неуклонное исследование потайных уголков русской литературы Серебряного века. Действительно, книги о Черубине де Габриаки выходили столь давно, что многие уже успели позабыть о Елизавете Ивановне Дмитриевой, Гумилеве и Волошине. Кто там застрельщик всей этой кутерьмы с мифом о пленительной испанке или португалке?! Черт его знает!

Стихотворения Черубины издавались аж в 1991 году. Более полное издание произведений вышло в 1999 году в издательстве «Аграф». Последняя книжка о Черубине датируется и вовсе 2006 годом. Так что вовремя вспомнили. Недаром говорится, что новое — хорошо забытое старое.

Доводим до Вашего сведения, Нина Павловна, что и о Полине (Пелагее) Тургеневой, по мужу Брюэр (1842–1919), дочери писателя от белошвейки Авдотьи Ермолаевны Ивановой, тоже все успели позабыть. Сто лет назад о ней вспоминал в своей книге «Тургенев» Борис Зайцев. Разговор о дочери Тургенева состоялся на даче у Фета. Да и еще дуэль между Толстым и Тургеневым по этому случаю чуть было не состоялась. Но это все не важно. Важно, что у Вас есть уникальная возможность поведать об этом тем, кто еще ничего не слышал ни о Тургеневе, ни о Толстом, ни о Пелагее, ни тем более о белошвейке.

ФАЗА МЕСЯЦА:

**Вчера подцепил
твиттер!**

Вершки и корешки (советы дачникам)

- ☺ В июне всех сажать!
- ☺ А в августе все сожрать!
- ☺ Летом ешь горшки, а зимой вершки!
- ☺ Горшки летом обжигают, а зимой собаки лают!
- ☺ Мой редиску и укроп — и быстрее ляжешь в гроб!
- ☺ Палочка кишечная — рассада огуречная!
- ☺ Сей арбузы и хурму, чтобы к осени в тюрьму!
- ☺ Пей рассол и газировку, попадешься «Майкрософту»!
- ☺ Шишки зреют в огороде, дело к выборам в народе!
- ☺ Я проснулся в лопухах, оказался в женихах!

ПЕРЕХОД ИЗ МИЛИЦИИ В ПОЛИЦИЮ



© Фото Ярослава ЛИТВИНЕНКО



Советы одиноким хозяйкам

- ✿ Малосольные грибы выносите из избы!
- ✿ Если к вам пришел Иван, наливай ему стакан!
- ✿ Если к вам пришел Абрам, наливай ему сто грамм!
- ✿ Если к вам пришел Махмуд, прочитай ему Талмуд!
- ✿ В день рождения пастор Шлаг принесет тебе дурилаг!
- ✿ Винегрет, аперитив, редька, хрен, аккредитив!
- ✿ Если ты не одинока, заготовь дрова до срока!
- ✿ Ждешь-пождешь милого ты, а вокруг одни менты!
- ✿ Почитай Хемингуэя, станешь бабушкой скорее!
- ✿ Не читай Тургенева, будет жизнь сиренева!

**SMS'ка, посланная СТРОСС-КАНУ:
И зачем?**